



МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН

ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ ВЕТРА

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН



ДВЕНАДЦАТЬ
РУМБОВ ВЕТРА



УРСУЛА ЛЕ ГУИН



WORLDS OF URSULA LE GUIN

HAINISH CYCLE

**THE WORD FOR WORLD
IS FOREST**

**THE WIND'S TWELVE
QUARTERS**

**«POLARIS» PUBLISHERS
1998**

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

ХАЙНСКИЙ ЦИКЛ

**СЛОВО ДЛЯ «ЛЕСА»
И «МИРА» ОДНО**

**ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ
ВЕТРА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1998**

Миры Урсулы ле Гуин. Двенадцать румбов ветра /
Пер. с англ. — Полярис, 1998. — 383 с.

В эту книгу вошла относящаяся к Хайнскому циклу повесть «Слово для “леса” и “мира” одно», а также рассказы из первого авторского сборника писательницы «Двенадцать румбов ветра».

Произведения, опубликованные в данном издании, охраняются законом об авторском праве. Перепечатка отдельных произведений и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя и переводчика. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

Иллюстрации на обложку и форзац печатаются с разрешения художника Michael Whelan и его агентов: Glassonion Ltd. (США) и Александра Корженевского (Россия).

The Word for World Is Forest
Copyright © 1970 by Ursula K. Le Guin

Слово для «леса» и «мира» одно
© И. Гурова, перевод, 1974

© Издательство «Полярис», оформление,
составление, название серии, 1997

ISBN 5-88132-345-9

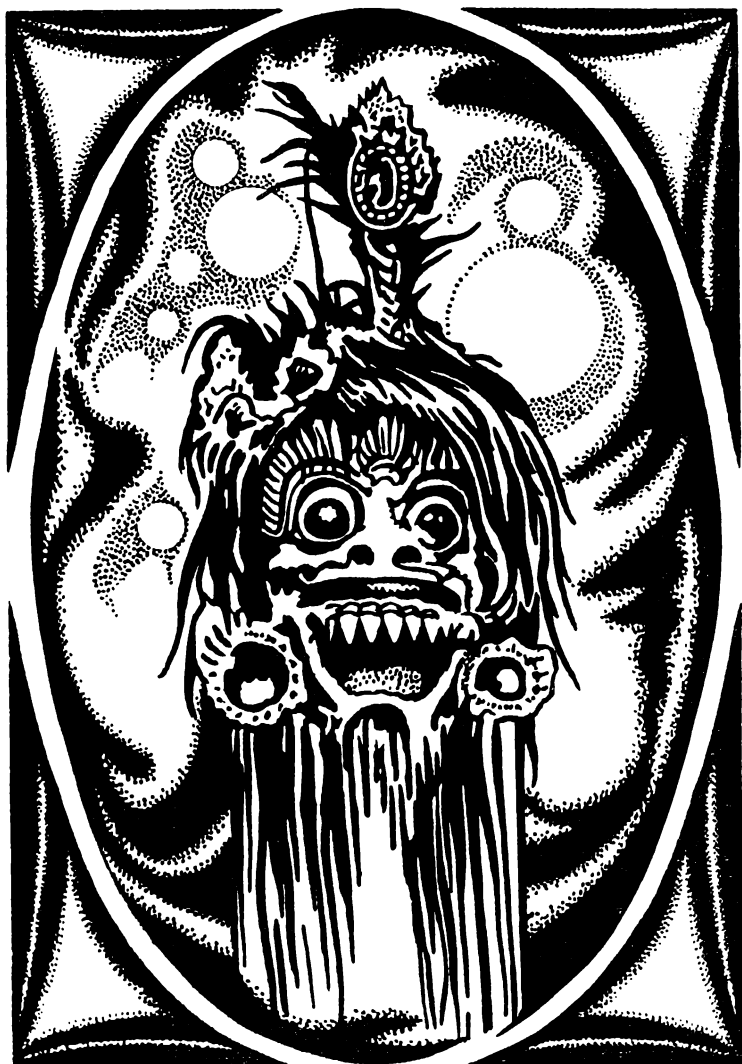
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В очередную книгу многотомного собрания сочинений одной из самых своеобразных и почитаемых писательниц, работающих в жанре научной фантастики, — Урсулы ле Гуин — вошли повесть «Слово для “леса” и “мира” одно» и сборник рассказов «Двенадцать румбов ветра».

Входящая в обширный Хайнский цикл повесть «Слово для “леса” и “мира” одно» хорошо известна российским читателям, став (вместе с «Планетой изгнания») одним из первых крупных произведений писательницы, опубликованных на русском языке. Отчасти именно эта повесть помогла сложиться образу ле Гуин в глазах российских любителей фантастики — возможно, потому, что для раннего периода ее творчества эта книга очень типична. Все основные темы — антропология, столкновение несовместимых культур, разных способов мышления и восприятия действительности — проявлены в этом небольшом произведении с предельной яркостью. А неизбежный результат этого столкновения — войны, в том числе между матриархальным, интровертным обществом атшиян и персонализированным в полковнике Дэвидсоне нетерпимым, самодовольным, тупо ограниченным земным человечеством — во многом предвосхищает последовавшую эволюцию творчества самой писательницы в сторону феминизма и антитехнологизма. Не случайно единственный достойный представитель Земли во всей книге — ученый Любов — нелепо гибнет, не сумев предотвратить катастрофы.

А сборник «Двенадцать румбов ветра» стал не только первым, но и, по мнению многих критиков, лучшим авторским сборником Урсулы ле Гуин, собравшим все ее произведения малой формы с начала писательской карьеры по 1975 год. В этой книге он помещен полностью, за исключением двух рассказов — «Ожерелья Семли», включенного в качестве пролога в роман «Роканнон», и «Короля планеты Зима», опубликованного вместе с романом «Левая рука тьмы», к которому он примыкает тематически.

Некоторые рассказы в сборнике относятся к Хайнскому циклу, как например «Обширней и медлительней империй...» и «За день до революции», или к циклу о Земноморье, как «Правило имен» и «Освобождающее Заклятие», но большая часть стоит особняком. А между тем многие из них по праву относятся к числу лучших ее произведений. Это и знаменитый, ставший хрестоматийным рассказ «Девять жизней», и «Уходящие из Омеласа» — миниатюрный бриллиант в этой коллекции драгоценностей, и первый из опубликованных рассказов ле Гуин «Апрель в Париже», и прелестная «Шкатулка, в которой была Тьма», и другие.



**СЛОВО ДЛЯ «ЛЕСА»
И «МИРА» ОДНО**

Глава 1

В момент пробуждения в мозгу капитана Дэвидсона всплыли два обрывка вчерашнего дня, и несколько минут он лежал в темноте, обдумывая их. Плюс: на корабле прибыли женщины. Просто не верится. Они здесь, в Центрвилле, на расстоянии двадцати семи световых лет от Земли и в четырех часах пути от Лагерь Смиа на вертолете — вторая партия молодых и здоровых колонисток для Нового Таити, двести двенадцать первосортных баб. Ну, может быть, и не совсем первосортных, но все-таки... Минус: сообщение с острова Свалки — гибель посевов, общая эрозия, полный крах. Вереница из двухсот двенадцати пышногрудых соблазнительных фигур исчезла, и перед мысленным взором Дэвидсона возникла совсем другая картина: он увидел, как дождевые струи рушатся на вспаханные поля, как плодородная земля превращается в грязь, а потом в рыжую жижу и потоками сбегает со скал в исхлестанное дождем море. Эрозия началась еще до того, как он уехал со Свалки, чтобы возглавить Лагерь Смиа, а зрительная память у него редкая — что называется, эйдетическая, потому он и видит это так живо, с мельчайшими подробностями. Похоже, умник Кеес прав — на земле, отведенной под фермы, надо оставлять побольше деревьев. И все-таки, если вести хозяйство по-научному, кому нужны на соевой ферме эти чертовы деревья, которые только отнимают землю у людей? В Огайо по-другому: если

тебе нужна кукуруза, так и сажаешь кукурузу, и никаких тебе деревьев и прочей дряни, чтоб только зря место занимать. Но, с другой стороны, Земля — обжитая планета, а о Новом Таити этого не скажешь. Для того он сюда и приехал, чтобы обжить ее. На Свалке теперь одни овраги и камни? Ну и черт с ней. Начнем снова на другом острове, только теперь основательней. Нас не остановишь — мы люди, мужчины! «Ты скоро почувствуешь, что это такое, эх ты, дурацкая, Богом забытая планетишка!» — подумал Дэвидсон и усмехнулся в темноте, потому что любил брать верх над трудностями. Мыслящие люди, подумал он, мужчины... женщины... и снова перед его глазами поплыла вереница стройных фигур, кокетливые улыбки...

— Бен! — взревел он, сел на постели и спустил босые ноги на пол. — Горячая вода, быстро-быстро!

Собственный оглушительный рев окончательно пробудил его. Он потянулся, почесал грудь, надел шорты и вышел на залитую солнцем вырубку, наслаждаясь легкими движениями своего крупного мускулистого, тренированного тела. У Бена, его пискуна, как обычно, закипала в котле вода, а сам он, как обычно, сидел на корточках, уставившись в пустоту. Все они, пискуны, такие — никогда не спят, а только усядутся, замрут и смотрят невесть на что.

— Завтрак. Быстро-быстро! — скомандовал Дэвидсон, беря бритву с дощатого стола, на который пискун положил ее вместе с полотенцем и зеркалом.

Дел сегодня предстояло много, потому что в самую последнюю минуту, перед тем как спустить ноги с кровати, он решил слетать на Центральный и посмотреть женщин. Хоть их и двести двенадцать, но мужчин-то больше двух тысяч, и им недолго оставаться свободными. К тому же, как и в первой партии, почти все они, конечно, «невесты колонистов», а просто подзаработать приехало опять двадцать—тридцать, не больше. Но зато девочки классные, и уж на этот раз он отхватит какую-нибудь штучку позабористее. Дэвидсон ухмыльнулся левым уголком рта, энергично водя жужжащей бритвой по неподвижной правой щеке.

Старый пискун копошился у стола — целый час идиоту надо, чтобы принести завтрак из лагерной кухни!

— Быстро-быстро! — рявкнул Дэвидсон, и шаркающая вялая походка Бена немного ускорилась.

Бен был ростом около метра. Мех у него на спине из зеленого стал почти белым. Совсем старик и глуп даже для пискуна, ну да ничего! Уж он-то умеет с ними обращаться и любого выдрессирует, если понадобится. Только зачем? Пришлите сюда побольше людей, постройте машины, соберите роботов, заведите фермы и города — кому тогда понадобятся пискуны? Ну и тем лучше. Ведь этот мир, Новое Таити, прямо-таки создан для людей. Расчистить его хорошенько, леса повыврубить под поля, покончить с первобытным сумраком, дикарством и невежеством — и будет тут рай, подлинный Эдем. Получше истощенной Земли. И это будет его мир! Ведь кто он такой, Дон Дэвидсон, в сущности говоря? Укротитель миров. Он не хвастун, а просто знает себе цену. Таким уж он родился. Знает, чего хочет, знает, как этого добиться, и всегда добивается.

От завтрака по животу разливалось приятное тепло. И его благодушное настроение не испортилось, даже когда он увидел, что к нему идет толстый, бледный, озабоченный Кеес ван Стен, выпучив маленькие глазки, точно два голубых шарика.

— Дон! — сказал Кеес, не поздоровавшись. — Лесорубы опять охотились за Просеками. В задней комнате клуба прибито восемнадцать пар рогов!

— Покончить с браконьерством еще никому не удавалось, Кеес!

— А вы обязаны покончить. Для того мы тут и подчиняемся законам военного времени, для того управление колонией и поручено армии. Чтобы законы исполнялись неукоснительно.

Ишь ты, умник пузатый! В атаку пошел! Обхохочешься!

— Ну ладно, — невозмутимо сказал Дэвидсон, — покончить с браконьерством я, предположим, могу. Но послушайте, я ведь обязан думать о людях. Для того я и тут, как вы сами сказали. А люди важнее животных. Если немножко противозаконной охоты помогает моим ребятам выдерживать эту поганую жизнь, я зажмурюсь, и дело с концом. Нужно же им как-то поразвлечься.

— У них развлечений хватает! Игры, спорт, коллекционирование, кино, видеозаписи всех крупнейших спортивных состязаний за последние сто лет, алкогольные напитки,

марихуана, галлюциногены, поездки в Центр. Они просто-напросто избалованы, эти ваши герои-первопроходцы. Могли бы «развлекаться» чем-нибудь другим, а не истреблять редчайшее местное животное. Если вы не примете меры, я вынужден буду подать капитану Госсе рапорт о грубейшем нарушении экологической конвенции.

— Валяйте подавайте, Кеес, если считаете нужным, — сказал Дэвидсон, который никогда не терял власти над собой. Не то что бедняга Кеес — просто жалко смотреть, как евро багровеют. — В конце-то концов, это ваша обязанность. Я на вас не обижусь: пусть они там, на Центральном, спорят и решают, кто прав. Беда в том, Кеес, что вы хотите сохранить тут все как есть. Устроить из планеты сплошной заповедник. Чтоб любоваться, чтоб изучать. Вы специал, вам так и положено. Но мы-то — простые ребята, нам нужно дело делать. Земле нужны лесоматериалы, вот так нужны. Мы нашли лес на Новом Таити. И стали лесорубами. Разница между нами одна: для вас Земля — так, в стороне, а для меня она — самое главное.

Кеес покосился на него своими голубыми шариками:

— Вот как? Вы хотите превратить этот мир в подобие Земли? В бетонную пустыню?

— Когда я говорю «Земля», Кеес, я имею в виду людей. Землян. Вас волнуют олени, деревья, фибровник — и отлично. Это ваша область. Но я люблю все рассматривать в перспективе. С самой вершины, а вершиной пока остаются люди. Мы здесь, и, значит, этот мир пойдет нашим путем. Хотите вы или нет, но это факт. Смотрите правде в глаза, Кеес. Вам от этого никуда не деться. Да, кстати, я собираюсь в Центр посмотреть на новых колониستочек. Хотите со мной?

— Нет, благодарю вас, капитан Дэвидсон, — отрезал специал и зашагал к полевой лаборатории.

Совсем взбеленился. И все из-за этих проклятых оленей. Ну, они и верно красавцы, ничего не скажешь! Перед глазами Дэвидсона тотчас всплыл первый олень, которого он увидел здесь, на острове Смиа, — солнечно-рыжий великан, двух метров в холке, в венце ветвистых золотых рогов, гордый и стремительный. Редкостная дичь! На Земле теперь даже в Скалистых горах и в Гималайских парках тебе предлагают выслеживать оленей-роботов, а

настоящих оберегают как зеницу ока. Да и много ли их осталось! О таких, как здесь, охотники могут только мечтать. Вот потому на них и охотятся. Черт, даже дикие пискуны охотятся на них со своими дурацкими хлипкими луками. На оленей охотились и будут охотиться — для того они и существуют. Но слюняю Кеесу этого не понять. В сущности, он неглупый парень, только практичности ему не хватает, твердости. Не понимает, что надо играть на стороне победителей, не то останешься с носом. А побеждает Человек — каждый раз. Человек-Завоеватель.

Дэвидсон широким шагом пошел по поселку, залитому солнечным светом. В теплом воздухе приятно пахло опилками и древесным дымом. Обычный лагерь лесорубов, а выглядит очень аккуратно. За какие-нибудь три земмесеца двести человек привели в порядок приличный участок дикого леса. Лагерь Смита — два купола из коррупласта, сорок бревенчатых хижин, построенных пискунами, лесопильня, печь для сжигания мусора и голубой дым, висящий над бесконечными штабелями бревен и досок, а выше, на холме, — аэродром и большой сборный ангар для вертолетов и машин. Вот и все. Но когда они сюда явились, тут вообще ничего не было. Только деревья — темная, дремучая, непроходимая чащоба, бесконечная, никому не нужная. Медлительная река, еле текущая в туннеле из стволов и ветвей, несколько запрятанных среди деревьев пискуньих нор, солнечные олени, волосатые обезьяны, птицы. И деревья. Корни, стволы, сучья, ветки, листья — листья над головой, листья под ногами, всюду листья, листья, листья, бесчисленные листья на бесчисленных деревьях.

Новое Таити — это мир воды, теплых мелких морей, кое-где омывающих рифы, островки, архипелаги, а на северо-западе дугой в две с половиной тысячи километров протянулись пять Больших островов. И все эти крошки и кусочки суши покрыты деревьями. Океан и лес. Другого выбора на Новом Таити нет: либо вода и солнечный свет, либо сумрак и листья.

Но теперь тут обосновались люди, чтобы покончить с сумраком и превратить лесную чащу в звонкие светлые доски, которые на Земле ценятся дороже золота. В буквальном смысле слова, потому что золото можно добывать из морской воды и из-под антарктического льда, а доски

добывать неоткуда, доски дает только лес. Земля нуждается в древесине, давно уже ставшей предметом первой необходимости и роскошью. И вот инопланетные леса превращаются в древесину. Двести человек с роботопилами и робототрейлерами за три месяца проложили на острове Смита восемь просек шириной по полтора километра. Пни на ближайшей к лагерю просеке уже стали серыми и трухлявыми. Их обработали химикалиями, и к тому времени когда остров Смита начнут заселять настоящие колонисты — фермеры, они рассыплются плодородной золой. Фермерам останется только посеять семена и смотреть, как они прорастают.

Все это один раз уже было проделано. Странно, как подумаешь, но ведь это — явное доказательство, что Новое Таити с самого начала предназначалось для человеческого обитания. Все тут завезено с Земли около миллиона лет назад, и эволюция шла настолько сходными путями, что сразу узнаешь старых знакомых — сосну, каштан, дуб, ель, остролист, яблоню, ясень, оленя, мышь, кошку, белку, обезьяну. Гуманоиды на Хайне-Давенанте, ясное дело, утверждают, будто это они все тут устроили — тогда же, когда колонизировали Землю, но если послушать этих инопланетян, так окажется, что они заселили все планеты в Галактике и изобрели вообще все, начиная с баб и кончая скрепками для бумаг. Теории насчет Атлантиды куда правдоподобнее, и вполне возможно, что тут когда-то была колония атлантов. Но люди вымерли, а на смену им из обезьян развились пискуны — ростом в метр, обросшие зеленым мехом. Как инопланетяне они еще так-сяк, но как люди... Куда им! Недотянули, и все тут. Дать бы им еще миллиончик лет, может, у них что и получилось бы. Но Человек-Завоеватель явился раньше. И эволюция теперь не тащится со скоростью одной случайной мутации в тысячу лет, а мчится, как звездные корабли космофлота землян.

— Э-эй! Капитан!

Дэвидсон обернулся, опоздав лишь на тысячную долю секунды, но и такое снижение реакции его рассердило. У, чертова планета! Золотой солнечный свет, дымка в небе, ветерок, пахнущий прелыми листьями и пылью, — все это убаюкивает тебя прямо на ходу. Размышляешь о завоевателях, о предназначениях, о судьбах и уже еле ноги волочишь, обалдев, точно пискун.

— Привет, Ок, — коротко поздоровался он с десятником.

Черный, жилистый и крепкий, как проволоочный канат, Окнави Набо внешне был полной противоположностью Кеесу, но вид у него был не менее озабоченный.

— Найдется у вас полминуты?

— Конечно. Что тебя грызет, Ок?

— Да мелюзга чертова!

Они прислонились к жердяной изгороди, и Дэвидсон закурил первую сигарету с марихуаной за день. Подсиненные дымом солнечные лучи косо прорезали теплый воздух. Лес за лагерем — антиэрозийная полоса в полкилометра шириной — был полон тех же тихих, неумолчных, шуршащих, шелестящих, жужжащих, звенящих, серебристых звуков, какими по утрам полны все леса. Эта вырубка могла бы находиться в Айдахо 1950 года. Или в Кентукки 1830 года. Или в Галлии 50 года до нашей эры. «Тью-уит», — свистнула в отдалении какая-то пичуга.

— Я бы предпочел избавиться от них, капитан.

— От пискунов? Ты, собственно, что имеешь в виду, Ок?

— Отпустить их, и все. На лесопилке от них все равно никакого проку. Даже свою жратву не отработывают. Они у меня вот где сидят. Не работают, и все тут.

— Надо уметь их заставить! Лагерь-то они построили.

Эбеновое лицо Окнави насупилось.

— Ну, у вас к ним подход есть, не спорю. А у меня нет. — Он помолчал. — Когда я проходил обучение для работы в космосе, читали нам курс практической истории. Так там говорилось, что от рабства никогда толку не было. Экономически невыгодно.

— Верно! Только какое же это рабство, Ок, детка? Рабы ведь люди. Когда коров разводишь, это что — рабство? Нет. А толку очень даже много.

Десятник безразлично кивнул, а потом добавил:

— Это же такая мелюзга! Я самых упрямых пытался голодом пронять, а они сидят себе, ждут голодной смерти и все равно ни черта не делают.

— Ростом они, конечно, не вышли, Ок, только ты на эту удочку не попадайся. Они жутко крепкие и выносливые, а к боли нечувствительнее людей. Вот ты о чем забываешь, Ок. Тебе кажется, что ударить пискуна — это словно ребенка ударить. А на самом деле это как работа ударить, можешь

мне поверить. Послушай, ты ведь наверняка попробовал их самок, значит, заметил, что все они — колоды бесчувственные. Наверное, у них нервы недоразвиты по сравнению с человеком, ну как у рыб. Вот послушай. Когда я еще был на Центральном, до того как меня сюда послали, один прирученный самец вдруг на меня кинулся. Специалы, конечно, говорят, будто они никогда не дерутся, но этот совсем спятил, взбесился. Хорошо еще, что у него не было оружия, не то бы он меня прикончил. И, чтобы он утомился, мне пришлось его почти до смерти измордовать. Все бросался и бросался на меня. Я его под орех разделал, а он даже не почувствовал ничего — просто поразительно. Ну словно жук, которого бьешь каблуком, а он не желает замечать, что уже раздавлен. Вот погляди! — Дэвидсон наклонил коротко остриженную голову и показал бесформенную шишку за ухом. — Чуть меня не оглушил. И ведь я ему уже руку сломал, а из морды сделал клюквенный кисель. Упадет — и опять кинется, упадет — и опять кинется. Дело в том, Ок, что пискуны ленивы, глупы, коварны и не способны чувствовать боль. Их надо держать в кулаке и кулака не разжимать.

— Да не стоят они того, капитан. Мелюзга зеленая! Драться не хотят, работать не хотят, ничего не хотят. Только одно и могут — душу из меня выматывать.

Ругался Окнанави без всякой злобы, но под его добродушным тоном крылась упрямая решимость. Бить пискунов он не будет — слишком уж они маленькие. Это он знал твердо, а теперь это понял и Дэвидсон. Капитан сразу переменял тактику — он умел обращаться со своими подчиненными.

— Послушай, Ок, попробуй вот что. Выбери зачинщиков и скажи, что впрыснешь им галлюциноген. Назови какой хочешь, они все равно в них не разбираются. Зато боятся их до смерти. Только не слишком перегибай палку, и все будет в порядке. Ручаюсь.

— А почему они их боятся? — с любопытством спросил десятник.

— Откуда я знаю? Почему женщины боятся мышей? Здравому смыслу ни у женщин, ни у пискунов искать нечего, Ок! Да, кстати, я сегодня думаю слетать на Центральный, так не приглядеть ли для тебя девочку?

— Нет уж! Лучше до моего отпуска поглядите в другую сторону, — ответил Ок, ухмыльнувшись.

Мимо понуро прошли пискуны, таща длинное толстое бревно для клуба, который строился у реки. Медлительные, неуклюжие, маленькие, они вцепились в бревно, словно муравьи, волочащие мертвую гусеницу. Окнави проводил их взглядом и сказал:

— По правде, капитан, меня от них жуть берет.

Такой крепкий, спокойный парень, как Ок, и на тебе!

— В общем-то я с тобой согласен, Ок, — не стоят они ни возни, ни риска. Если бы тут не болтался этот трепло Любов, а полковник Донг поменьше молился бы на Кодекс, так, не спорю, куда легче было бы просто очищать районы, предназначенные для заселения, вместо того чтобы тянуть волюнку с этим их «использованием добровольного труда». Ведь все равно рано или поздно от пискунов мокрого места не останется, так чего зря откладывать? Таков уж закон природы. Первобытные расы всегда уступают место цивилизованным. Или ассимилируются. Но не ассимилировать же нам кучу зеленых обезьян! И ты верно заметил: у них мозгов хватает как раз на то, чтобы им нельзя было доверять. Ну вроде тех больших обезьян, которые прежде водились в Африке, как они назывались...

— Гориллы?

— Верно. И мы бы прекрасно обошлись тут без пискунов, как прекрасно обходимся без горилл в Африке. Только под ногами путаются. Но полковник Динг-Донг требует: используйте добровольный труд пискунов, вот мы и используем труд пискунов. До поры до времени. Ясно? Ну до вечера, Ок.

— Ясно, капитан.

Дэвидсон зашел в штаб Лагеря Смита, записать, что он берет вертолет. В дощатой четырехметровой кубической комнате штаба, где стояли два стола и водоохладитель, лейтенант Бирно чинил радиотелефон.

— Присмотри, чтобы лагерь не сгорел, Бирно.

— Привезите мне блондиночку, капитан. Размер эдак восемьдесят пять, пятьдесят пять, девяносто.

— Всего-навсего?

— Я предпочитаю поподжаристей. — И Бирно выразительным жестом начертил в воздухе свой идеал.

Все еще ухмыляясь, Дэвидсон поднялся по холму к ангару. С воздуха он снова увидел лагерь — детские кубики,

ленточки троп, длинные просеки с кружочками пней. Все это быстро проваливалось вниз, и впереди уже разворачивалась темная зелень нетронутых лесов большого острова, а дальше, до самого горизонта, простиралась бледная зелень океана. Лагерь Смита казался теперь желтым пятнышком, пылинкой на огромном зеленом ковре.

Вертолет проплыл над проливом Смита, над лесистыми крутыми грядами холмов на севере Центрального острова и в полдень пошел на посадку в Центрвилле. Ну чем не город! Во всяком случае, после трех месяцев в лесу. Настоящие улицы, настоящие дома — ведь его начали строить четыре года назад, сразу же, как началась колонизация планеты. Смотришь и не замечаешь, что, в сущности, это только паршивый поселок первопроходцев, а потом взглянешь на юг — и увидишь над вырубкой и над бетонными площадками сверкающую золотую башню, выше самого высокого здания в Центрвилле. Не такой уж большой космолет, хотя здесь он кажется огромным. Просто челнок, посадочный модуль, корабельная шлюпка, а сам корабль, «Шеклтон», кружит по орбите в полумиллионе километров над планетой. Челнок — это всего лишь намек, всего лишь крупица огромности, мощи, хрустальной точности и величия земной техники, покоряющей звезды.

Вот почему при виде этой частицы родной планеты на глаза Дэвидсона вдруг навернулись слезы. И он не устыдился их. Да, ему дорога Земля, так уж он устроен.

А вскоре, шагая по новым улицам, в конце которых разворачивалась панорама вырубки, он начал улыбаться. Девочки! И сразу видно, что только сейчас прибыли, — на всех длинные юбки в обтяжку, большие туфли вроде ботишков, красные, лиловые или золотые, а блузы золотые или серебряные, все в кружевах. И никаких тебе «грудных иллюминаторов». Значит, мода изменилась, а жаль! Волосы взбиты в пену — наверняка обливают их этим своим клеем, не то рассыпались бы. Редкостное безобразие, но все равно действует, потому что проделывать такое со своими волосами способны только бабы. Дэвидсон подмигнул маленькой грудастой евроафре: вот уж прическа — на голове не умещается! Ответной улыбки он не получил, но удаляющиеся бедра покачивались, яснее слов приглашая: «Иди за мной, иди за мной!» Однако он не принял приглашения. Успеется. Он направился к Центральному

штабу — стандартные самотвердеющие блоки, пластиплаты, сорок кабинетов, десять водоохладителей, подземный арсенал — и доложил о своем прибытии новотаитянскому административному командованию. Перекинулся двумя-тремя словами с ребятами из экипажа модуля, заглянул в Лесное бюро, чтобы оставить заявку на новый полуавтомат для sluщивания коры, и договорился со своим старым приятелем Юю Серенгом встретиться в баре «Луау» в четырнадцать часов по местному времени.

В бар он пришел на час раньше, чтобы подзаправиться перед серьезной выпивкой, и увидел за столиком Любова с двумя типами во флотской форме — какие-нибудь специалы с «Шеклтона», спустились на челноке... Дэвидсон презирал флот и флотских — чистоплюи, прыгают от солнца к солнцу, а всю черную, грязную, опасную работу подкидывают армии. Но все-таки не штатские крысы... А вообще-то, смешно — Любoв чуть не лижется с ребятами в форме. Треплется о чем-то, руками размахивает, как всегда.

Проходя мимо, Дэвидсон хлопнул его по плечу:

— Привет, Радж, дружище! Как делишки? — И прошел дальше. Жалко, конечно, что нельзя остановиться поглядеть, как он скукожится. Смешно, до чего Любoв его ненавидит. Просто завидует, хлюпик интеллигентный, настоящему мужчине: и сам бы рад, да рылом не вышел. А ему на Любoва плевать: такого ненавидеть — только зря время тратить.

Олень жаркое в «Луау» подают — пальчики оближешь! Что бы сказали на старушке Земле, если бы увидели, как один человек уминает кило мяса за один обед? Это вам не соя! А вот и Юю. И конечно, новых девочек подцепил, молодчина. Штучки с перчиком, не коровы-невесты, а законтрактованные подружки. Что ж, и у старикашек в департаменте по развитию колоний бывают просветления!

День был долгий и жаркий.

Он летел назад через пролив Смита на одной высоте с солнцем, заходившим в золотое марево за морем. Развалившись поудобнее, он весело распевал. Показался остров Смита, подернутый легким туманом. Над лагерем висел дым — черная полоса, словно в печь для сжигания мусора

попал мазут. Густой, черт, ничего внизу не разглядишь, даже лесопилки.

И только приземлившись на аэродроме, Дэвидсон увидел обугленный остов реактивного самолета, разбитые вертолеты, черные развалины ангара.

Он снова поднялся в воздух и прошел над поселком так низко, что чуть не зацепил высокий конус печи. Только она и торчала над землей. А больше там ничего не было: лесопильня, котельная, склады, штаб, хижины, казармы, бараки пискунов — все исчезло. Еще дымящиеся черные груды, и больше ничего. Но это был не лесной пожар. Лес вокруг стоял зеленый, как раньше.

Дэвидсон повернул назад к аэродрому, приземлился, выпрыгнул из вертолета и огляделся — не уцелел ли какой-нибудь мотоцикл. Но все мотоциклы превратились в такой же обгоревший железный лом, как и остальные машины среди тлеющих развалин ангара. Черт, ну и вонища!

Он побежал по тропе к поселку. Поравнявшись с тем, что утром еще было радиостанцией, он вдруг опомнился и, даже не замедлив шага, свернул с тропы за уцелевшую стену. Там он остановился и прислушался.

Никого! И полная тишина. Огонь давно погас, и только огромные штабеля бревен еще дымились, рдея под слоем пепла и золы. Длинные кучи углей — все, что осталось от древесины, стоящей дорожке золота. Но над черными скелетами казарм и хижин не поднималось ни струйки дыма. В золе лежали кости...

Дэвидсон скорчился за развалинами радиостанции. Его мозг работал с предельной ясностью и четкостью. Может быть только два объяснения. Во-первых, нападение из другого лагеря. Какой-нибудь офицер на Кинге или Новой Яве спятил и решил стать властителем планеты. Во-вторых, нападение из космоса. Перед его глазами всплыла золотая башня на космодроме Центрального острова. Но если уж «Шеклтон» занялся пиратством, на кой шут ему понадобилось начинать с уничтожения дальнего поселка, вместо того чтобы сразу захватить Центрвилл? Нет, если из космоса, то только инопланетная раса. Никому не известная. А может, таукитяне или хайнцы задумали прибрать к рукам колонии Земли. Недаром он никогда не доверял этим жуликам-гуманоидам. Сюда, наверное, сбросили супер-зажигалку. Ударным силам с реактивными самолетами,

аэрокарами и всякими ядерными штучками ничего не стоит укрыться на острове или атолле в любом месте юго-западной части планеты. Надо вернуться к вертолету и дать сигнал тревоги, а потом произвести разведку, чтобы представить штабу точную оценку ситуации. Он осторожно выпрямился и тут услышал голоса.

Не человеческие. Пискливое негромкое бормотание. Инопланетяне?

Упав на четвереньки за деформированной жаром пластмассовой крышей, которая валялась на земле, точно крыло огромного нетопыря, он напряженно прислушивался.

В нескольких шагах от него по тропе шли четыре пискуна, совсем голые, если не считать широких кожаных поясов, на которых болтались ножи и кисеты. Значит, дикие. Ни шорт, ни кожаных ошейников, которые выдаются ручным пискунам. Рабочие-добровольцы, по-видимому, сгорели в бараках, как и люди.

Они остановились, продолжая бормотать, и Дэвидсон затаил дыхание. Лучше, чтобы они его не заметили. И какого дьявола им тут нужно? А-а! Шпионы и лазутчики врага!

Один показал на юг и повернулся так, что стало видно его морду. Вот, значит, что! Все пискуны выглядят одинаково, но на морде этого он оставил свою подпись. Еще и года не прошло. Тот, что взбесился и кинулся на него тогда на Центральном, — одержимый манией человекоубийства, выкормыш Любова! Он-то что тут делает, черт его дер!

Мозг Дэвидсона работал с полным напряжением. Все ясно! Быстрота реакции ему не изменила — одним стремительным движением он выпрямился, держа пистолет наготове.

— Вы, пискуны! Ни с места! Стоять! Стоять смирно!

Его голос прозвучал как удар хлыста. Четыре зеленые фигурки замерли. Тот, чье лицо было изуродовано, уставился на него (через черные развалины) огромными глазами, пустыми и тусклыми.

— Отвечать! Кто устроил пожар?

Они молчали.

— Отвечать! Быстро-быстро! Не то я сожгу одного, потом еще одного, потом еще одного. Ясно? Кто устроил пожар?

— Лагерь сожгли мы, капитан Дэвидсон, — ответил пискун с Центрального, и его странный мягкий голос напомнил Дэвидсону кого-то, какого-то человека... — Люди все мертвы.

— Вы сожгли? То есть как это — вы?

Почему-то ему не удавалось вспомнить кличку Битой Морды.

— Здесь было двести людей. И девяносто рабов, моих соплеменников. Девятьсот моих соплеменников вышли из леса. Сначала мы убили людей в лесу, где они валили деревья, потом, пока горели дома, мы убили тех, кто был здесь. Я думал, вас тоже убили. Я рад вас видеть, капитан Дэвидсон.

Бред какой-то и, конечно, сплошное вранье. Не могли они перебить всех — Ока, Бирно, ван Стена и остальных! Двести человек! Хоть кто-то должен же был спастись! У пискуну нет ничего, кроме луков и стрел. Да и в любом случае пискуну этого сделать не могли! Пискуны не дерутся, не убивают друг друга, не воюют. Так называемый неагрессивный, врожденно мирный вид. Другими словами, божьи коровки. Их бьют, а они утираются. И уж конечно, двести человек разом они поубивать не способны. Бред какой-то!

Тишина, запах гари в теплом вечернем воздухе, золотом от заходящего солнца, бледно-зеленые лица с устремленными на него неподвижными глазами — все это слагалось в бессмыслицу, в нелепый страшный сон, в кошмар.

— Кто это сделал, кроме вас?

— Девятьсот моих соплеменников, — сказал Битый своим поганым псевдочеловеческим голосом.

— Я не о том. Кто еще? Чьи приказы вы выполняли? Кто сказал вам, что вы должны делать?

— Моя жена.

Дэвидсон уловил внезапное напряжение в позе пискуну, и все-таки прыжок был таким стремительным и непредсказуемым, что он промахнулся и только опалил ему плечо, вместо того чтобы всадить весь заряд между глаз. Пискун повалил его на землю, хотя был вдвое ниже его и вчетверо легче. Но он потерял равновесие, потому что полагался на пистолет и не был готов к нападению. Он схватил пискуну за плечи, худые, крепкие, покрытые густым мехом, попытался отбросить его. Пискун вдруг запел.

Он лежал навзничь, притиснутый к земле, без оружия. Сверху на него смотрели четыре зеленые морды. Битый все еще пел — та же писклявая невнятица, но вроде бы есть какой-то мотив. Остальные трое слушали, скаля в усмешке белые зубы. Он ни разу прежде не видел, как пискуны улыбаются. И никогда не смотрел на них снизу вверх. Всегда сверху вниз. Только сверху. Надо лежать спокойно, вырываться пока нет смысла. Хоть они и коротышки, их — четверо, а Битый забрал его пистолет. Надо выждать, улучшить минуту... Но в горле у него поднималась мучительная тошнота, и он дергался и напрягался против воли. Маленькие руки прижимали его к земле без особых усилий. Маленькие зеленые морды качались над ним, ухмыляясь.

Битый кончил петь. Он нажал коленом на грудь Дэвидсона, сжимая в одной руке нож, а в другой держа пистолет.

— Вы петь не можете, капитан Дэвидсон, верно? Ну так бегите к своему вертолету, летите на Центральный и скажите полковнику, что тут все сожжено, а люди убиты.

Кровь, такая же ярко-алая, как человеческая, смочила шерсть на правом плече пискуна, и нож в зеленых пальцах дрожал. Узкое изуродованное лицо почти прижималось к лицу Дэвидсона, и теперь он увидел, что в угольно-черных глазах прячется странный огонь. Голос пискуна был по-прежнему мягким и тихим.

Державшие его руки разжались.

Он осторожно поднялся с земли. Голова отчаянно кружилась — сильно стукнулся затылком, спасибо Битому! Пискуны отошли. Знают, что руки у него вдвое длиннее. Ну а что толку? Вооружен-то не один Битый. Вон и другой тычет в него пистолетом. Да это же Бен! Его собственный пискун, серый облезлый паршивец — и, как всегда, выглядит идиотом. Да только в руке у него пистолет.

Не так-то просто повернуться спиной к двум навешенным на тебя пистолетам, но Дэвидсон повернулся и зашагал к аэродрому.

Позади него голос громко и визгливо выкрикнул какое-то пискунье слово. Другой завопил:

— Быстро-быстро! — и раздались странные звуки, словно птицы зачирикали.

Наверное, они так смеются. Хлопнул выстрел, и рядом в землю зарылся снаряд. Черт, подлость какая! У самих

пистолеты, а он безоружен! Надо прибавить шаг. В беге не пистунам с ним тягаться. А стрелять они толком не умеют.

— Беги! — донесся издали спокойный голос.

Битая Морда! А кличка у него — Селвер. Они-то звали его Сэмом, пока не вмешался Любовь, не спас его от за-служенной взбучки и не начал с ним цацкаться. Вот тут его и стали звать Селвером. Черт, да что же это? Бред, кошмар.

Дэвидсон бежал. Кровь грохотала у него в ушах. Он бежал сквозь золотую дымку вечера. У тропы валялся труп, а он и не заметил, когда шел туда. Совсем не тронут огнем, словно белый мяч, из которого выпустили воздух. Голубые выпученные глаза... А его, Дэвидсона, они убить не посмели. И больше по нему не стреляли. Еще чего! Где им его убить! А вот и вертолет! Блестит, миленький, как ни в чем не бывало. Одним прыжком он оказался внутри и сразу поднял вертолет в воздух, пока пистуны чего-нибудь не подстроили. Руки дрожат... Ну да, чуть-чуть. Все-таки шок порядочный. Его им не убить!

Он сделал круг над холмом, а потом повернул и стремительно пошел почти над самой землей, высматривая четырех пистунов. Но среди черных куч внизу не было заметно ни малейшего движения.

Сегодня утром тут был лагерь лесорубов. Двести человек. А сейчас тут только четверо пистунов. Не приснилось же ему это! И они не могли исчезнуть. Значит, они там, прячутся... Он начал бить из носового пулемета. Вспарывая обожженную землю, пробивал дыры в листве, хлестал по обгорелым костям и холодным трупам своих людей, по разбитым машинам, по гниющим белесым пням, заходя на все новые и новые круги, пока не кончилась лента и судорожная дробь пулемета не оборвалась.

Руки Дэвидсона больше не дрожали, его тело ощущало легкость умиротворения, и он твердо знал, что не бредит. Теперь надо доставить известия в Центрвилл. Он повернул к проливу. Мало-помалу его лицо принимало обычное невозмутимое выражение. Свалить на него ответственность за катастрофу им не удастся — его ведь там даже не было! Может, они сообразят, что пистуны не случайно дождались, чтобы он улетел. Знали ведь, что у них ничего не выйдет, если он будет на месте и организует оборону. Во всяком случае, хорошо одно: теперь они займутся тем, с чего следовало начать, — очистят планету для человеческо-

го обитания. Даже Любов теперь не сможет помешать полному уничтожению пискунов, раз все подстроил его любимчик! Некоторое время теперь придется посвятить уничтожению этих крыс, и, может быть... может быть, эту работу поручат ему. При этой мысли он чуть было не улыбнулся. Однако сумел сохранить на лице невозмутимость.

Море внизу темнело в сгущающихся сумерках, а впереди вставали прорезанные невидимыми речками холмы Центрального острова — крутые волны многолистного леса, тонущего во мгле.

Глава 2

Оттенки ржавчины и закатов, кроваво-бурые и блекло-зеленые, непрерывно сменяли друг друга в волнах длинных листьев, колышимых ветром. Толстые и узловатые корни бронзовых ив были мшисто-зелеными над ручьем, который, как и ветер, струился медленно, закручиваясь тихими водоворотами, или словно вовсе переставал течь, запертый камнями, корнями, купающимися в воде ветками и опавшими листьями. Ни один луч не падал в лесу свободно, ни один путь не был прямым и открытым. С ветром, водой, солнечным светом и светом звезд здесь всегда смешивались листья и ветви, стволы и корни, прихотливо перепутанные, полные теней. Под ветвями, вокруг стволов, по корням вились тропинки — они нигде не устремлялись вперед, а уступали каждому препятствию, изгибались и ветвились, точно нервы. Почва была не сухая и твердая, а сырая и пружинистая, созданная непрерывным сотрудничеством живых существ с долгой и сложной смертью листьев и деревьев. Это плодородное кладбище вскармливало тридцатиметровые деревья и крохотные грибы, которые росли кругами поперечником в сантиметр. В воздухе веяло сладким и нежным благоуханием, слагавшимся из тысяч запахов. Далее не было нигде — только вверх, в просвете между ветвями, можно было увидеть россыпь звезд. Ничто здесь не было однозначным, сухим, безводным, простым. Здесь не хватало прямого простора. Взгляд не мог охватить всего сразу, и не было ни определенности, ни уверенности. В плакучих листьях брон-

зовых ив переливались оттенки ржавчины и закатов, и невозможно было даже сказать, какого собственно цвета эти листья — красно-бурого, рыжевато-зеленого или чисто-зеленого.

Селвер брел по тропинке вдоль ручья, то и дело спотыкаясь о корни ив. Он увидел старика, ушедшего в сны, и остановился. Старик поглядел на него из-за длинных ивовых листьев и увидел его в своих снах.

— Где мне найти ваш Мужской Дом, владыка-сновидец? Я прошел долгий путь.

Старик сидел не двигаясь. Селвер опустился на корточки между тропинкой и ручьем. Его голова упала на грудь, потому что он был измучен и нуждался во сне. Он шел пять суток.

— Ты в яви снов или в яви мира? — наконец спросил старик.

— В яви мира.

— Ну так пойдем! — Старик поспешно встал и по вьющейся тропке повел Селвера из ивовых зарослей в более сухое сумрачное царство дубов и терновника. — А я было подумал, что ты Бог, — сказал он, держась на шаг впереди. — И мне кажется, я тебя уже видел. Может быть, в снах.

— В яви мира ты меня видеть не мог. Я с Сорноля и здесь никогда раньше не бывал.

— Это селение зовется Кадаст. А я — Коро Мена. Сын Боярышника.

— Меня зовут Селвер. Сын Ясеня.

— Среди нас есть дети Ясеня. И мужчины, и женщины. Дочери твоих брачных кланов — Березы и Остролиста — тоже живут среди нас. А дочерей Яблони у нас нет. Но ведь ты пришел не для того, чтобы искать жену, так?

— Моя жена умерла, — сказал Селвер.

Они подошли к Мужскому Дому на пригорке среди молодых дубов, согнулись и на четвереньках проползли по узкому туннелю во внутреннее помещение, освещенное отблесками огня в очаге. Старик выпрямился, но Селвер бесильно скорчился на полу. Теперь, когда помощь была рядом, его тело, которому он столько времени беспощадно не давал отдыха, отказалось ему повиноваться. Руки и ноги расслабились, веки сомкнулись, и Селвер с благодарным облегчением соскользнул в великую тьму.

Мужчины Дома Кадаста бережно уложили его на скамью, а потом в Дом пришел их целитель и смазал снадобьями

рану у него на плече. Когда наступила ночь, Коро Мена и целитель Торбер остались сидеть у огня. Почти все мужчины удалились в свои жилища к женам, а двое юношей, еще не научившихся уходить в сны, крепко спали на скамьях.

— Не понимаю, откуда у человека могут взяться на лице такие рубцы, — сказал целитель. — И уж совсем не понимаю, чем он мог так поранить плечо. Странная рана!

— А на поясе у него была странная вещь, — сказал Коро Мена. — Я видел ее и не увидел ее.

— Я положил ее под его скамью. Словно бы отшлифованное железо, но не похоже на работу человеческих рук.

— Он сказал, что он с Сорноля.

Некоторое время оба молчали. Коро Мена вдруг почувствовал, что на него наваливается необъяснимый страх, и ушел в сон, чтобы найти объяснение этому страху, — ведь он был стариком и умелым сновидцем. Во сне были великаны, тяжеловесные и страшные. Их сухие чешуйчатые конечности и туловища были завернуты в ткани. Глаза у них были маленькие и светлые, точно оловянные бусины. Позади них ползли огромные непонятные махины, сделанные из отшлифованного железа. Они двигались вперед, и деревья падали перед ними.

Из-за падающих деревьев с громким криком выбежал человек. Рот его был в крови. Тропинка, по которой он бежал, вела к Мужскому Дому Кадаста.

— Почти наверное, — сказал Коро Мена, выходя из сна, — он приплыл по морю прямо с Сорноля, а может быть, пришел с берега Келм-Дева на нашем острове. Путники говорили, что великаны есть и там и там.

— Пойдут они за ним или нет, — сказал Торбер, но он не спрашивал, а взвешивал возможность, и Коро Мена не стал отвечать. — Ты один раз видел великанов, Коро?

— Один раз, — сказал старик.

Он опять ушел в сны. Теперь потому, что он был очень стар и уже не так крепок, как прежде, он часто погружался в сон. Наступило утро, миновал полдень. За стенами Дома девушки ушли в лес на охоту, чирикали дети, переговаривались женщины — словно журчала вода. У входа голос, не такой влажный и журчащий, позвал Коро Мена. Он выполз наружу под лучи заходящего солнца. У входа стояла его сестра. Она с удовольствием вдыхала ароматный ветер, но лицо у нее оставалось суровым.

— Путник проснулся, Коро?

- Пока еще нет. За ним присматривает Торбер.
- Нам надо выслушать его рассказ.
- Наверное, он скоро проснется.

Эбор Дендеп нахмурилась. Старшая Хозяйка Кадаста, она опасалась, что селению грозит опасность, но ей не хотелось беспокоить раненого, и она боялась обидеть сновидцев, настояв на своем праве войти в их Дом.

— Ты бы не мог разбудить его, Коро? — все-таки попросила она. — Что, если... за ним гонятся?

Он не мог управлять чувствами сестры, как управлял собственными, и ее тревога его обожгла.

— Разбужу, если Торбер позволит, — сказал он.

— Постарайся поскорее узнать, какие он несет вести. Жаль, что он не женщина, а то давно бы рассказал все попросту...

Путник очнулся сам. Он лежал в полумраке Дома, и в его лихорадочно блестящих глазах плыли беспорядочные сны болезни. Тем не менее он приподнялся, сел на скамье и заговорил ясно. И пока Коро Мена слушал, ему казалось, что самые его кости сжимаются, стараясь спрятаться от этого страшного рассказа, от этой новизны.

— Когда я жил в Эшрете, на Сорноле, я был Селвером Теле. Ловеки начали рубить там деревья и разрушили мое селение. Я был среди тех, кого они заставили служить себе, — я и моя жена Теле. Один из них надругался над ней, и она умерла. Я бросился на ловека, который убил ее. Он убил бы меня, но другой ловец спас меня и освободил. Я покинул Сорноль, где теперь все селения в опасности, перебрался сюда, на Северный остров, и жил на берегу Келм-Дева, в Красных рощах. Но туда тоже пришли ловеки и начали рубить мир. Они уничтожили селение Пенле, поймали почти сто мужчин и женщин, заперли их в загоне и заставили служить себе. Меня не поймали, и я жил с теми, кто успел уйти из Пенле в болота к северу от Келм-Дева. Иногда по ночам я пробирался к тем, кого ловеки запирали в загоне. И они сказали мне, что там был тот. Тот, которого я хотел убить. Сначала я хотел попробовать еще раз убить его или освободить людей из загона. Но все это время я видел, как падают деревья, как мир рушат и оставляют гнить. Мужчины могли бы спастись, но женщин запирали крепче, и освободить их не удалось бы, а они уже начинали умирать. Я поговорил с людьми, которые прятались в болотах. Нас всех мучил страх и мучил гнев, и нам было не

избавиться от них. А потому после долгих разговоров и долгих снов мы придумали план, пошли в Келм-Дева днем, стрелами и охотничьими копьями убили ловеков, а их селение и их машины сожгли. Мы ничего там не оставили. Но тот утром уехал. Он вернулся один. Я спел над ним и отпустил его.

Селвер замолчал.

— А потом... — прошептал Коро Мена.

— Потом с Сорноля прилетела небесная лодка, и они разыскивали нас в лесу, но никого не нашли. Тогда они подожгли лес, но шел дождь, и огонь скоро погас, не причинив вреда. Люди, спасшиеся из загонов, и почти все другие ушли дальше на север и на восток, к холмам Холли, потому что мы думали, что ловеки начнут нас разыскивать. Я пошел один. Ведь они меня знают, знают мое лицо, и поэтому я боюсь. И боятся те, у кого я укрываюсь.

— Откуда твоя рана? — спросил Торбер.

— Эта? Он выстрелил в меня из их оружия, но я спел над ним и отпустил его.

— Ты в одиночку взял верх над великаном? — спросил Торбер с широкой усмешкой, не решаясь поверить.

— Не в одиночку. С тремя охотниками и с его оружием в руке. Вот с этим.

Торбер испуганно отодвинулся.

Некоторое время все трое молчали. Наконец Коро Мена сказал:

— То, что мы от тебя услышали, — черно, и дорога ведет вниз. В своем Доме ты сновидец?

— Был. Но Дома Эшрета больше нет.

— Это все равно, мы оба говорим древним языком. Под ивами Асты ты первый заговорил со мной и назвал меня владыкой-сновидцем. И это верно. А ты видишь сны, Селвер?

— Теперь редко, — послушно ответил Селвер, опустив изуродованное, воспаленное лицо.

— Наяву?

— Наяву.

— Ты хорошо видишь сны, Селвер?

— Нехорошо.

— Ты держишь свой сон в руках?

— Да.

— Ты плетешь и лепишь, ведешь и следуешь, начинаешь и кончаешь по своей воле?

— Иногда, но не всегда.

— Идешь ли ты дорогой, которой идет твой сон?
— Иногда. А иногда я боюсь.
— Кто не боится? Для тебя еще не все плохо, Селвер.
— Нет, все плохо, — сказал Селвер. — Ничего хорошего не осталось. — И его затрясло.

Торбер дал ему выпить ивового настоя и уложил его. Коро Мена еще не задал вопроса Старшей Хозяйке и теперь, опустившись на колени рядом с больным, неохотно спросил:

— Великаны, те, кого ты называешь ловеками, они пойдут по твоему следу, Селвер?

— Я не оставил следа. Между Келм-Дева и этим местом меня никто не видел, а это шесть дней. Опасность не тут. — Он с трудом приподнялся. — Слушайте, слушайте! Вы не видите опасности. И не можете видеть. Вы не сделали того, что сделал я, вы не видели этого в снах — принести смерть двумстам людям. Меня они выслеживать не будут, но они могут начать выслеживать всех нас. Устраивать на нас облавы, как охотники — на зайцев. Вот в чем опасность. Они могут начать нас убивать. Чтобы перебить всех нас.

— Лежи спокойно...

— Нет, я не брежу. Это и явь и сон. В Келм-Дева было двести ловеков, и они все мертвы. Мы убили их. Мы убили их, словно они не были людьми. Так неужели они не сделают того же? До сих пор они убивали поодиночке, а теперь начнут убивать, как убивают деревья — сотнями, и сотнями, и сотнями.

— Успокойся, — сказал Торбер. — Такое случается в лихорадочных снах, Селвер. В яви мира такого не бывает.

— Мир всегда остается новым, — сказал Коро Мена, — какими бы старыми ни были его корни. Селвер, но эти существа — кто же они? Выглядят они как люди и говорят, как люди, — так разве они не люди?

— Не знаю. Разве люди, если только не безумны, убивают людей? Разве звери убивают себе подобных? Только насекомые. Ловеки убивают нас равнодушно, как мы — змей. Тот, который учил меня, говорил, что они убивают друг друга в ссоре или группами, как дерущиеся муравьи. Этого я не видел. Но я знаю, что они не щадят того, кто просит о жизни. Они наносят удар по склоненной шее? Это я видел! В них живет желание убивать, и потому я счел справедливым предать их смерти.

— И теперь сны всех людей изменятся, — сказал Коро Мена из сумрака. — И никогда уже не будут прежними. Больше я никогда не пройду по той тропе, по которой прошел с тобой вчера из ивовой рощи, по которой ходил всю жизнь. Она изменилась. Ты прошел по ней, и она стала другой. До нынешнего дня то, что мы делали, было правильным, дорога, по которой мы шли, была правильной, и она вела нас домой. Но где теперь наш дом? Ибо ты сделал то, что должен был сделать, но это не было правильным. Ты убил людей! Я их видел пять лет тому назад в Лемганской долине. Они сошли там с небесной лодки. Я спрятался и следил за великанами. Их было шестеро, и я видел, как они говорили, как разглядывали камни и растения, как готовили пищу. Они люди. Но ты жил среди них, Селвер, — скажи мне, они видят сны?

— Как дети — только когда спят.

— И не проходят обучения?

— Нет. Иногда они рассказывают свои сны, целители пытаются лечить с их помощью, но обученных среди них нет, и никто не умеет управлять сновидениями. Любов — тот, который учил меня, — понял, когда я показал ему, как надо видеть сны, но даже он назвал явь мира «реальной», а явь снов «нереальной», словно в этом разница между ними.

— Ты сделал то, что должен был сделать, — после молчания повторил Коро Мена, и в сумраке его глаза встретились с глазами Селвера.

Судорожное напряжение изуродованного лица смягчилось, рваные губы полуоткрылись, и он снова лег, ничего больше не сказав. Вскоре он уснул.

— Он бог, — сказал Коро Мена.

Торбер кивнул почти с облегчением.

— Но он не такой, как другие боги. Не такой, как Преследователь, и не такой, как Друг, у которого нет лица, или Женщина Осинный Лист, которая проходит по лесам сновидений. Он не Привратник и не Змей. Не Флейтист, не Резчик и не Охотник, хотя, как и они, приходит в яви мира. Может быть, последние годы Селвер нам снился, но больше он сниться не будет. Он ушел из яви снов. Он идет в лесу, он идет через лес, где падают листья, где падают деревья, — бог, который знает смерть, бог, который убивает, а сам не возрождается вновь.

Старшая Хозяйка выслушала рассказ Коро Мена, его пророчества и принялась за дело. Она объявила тревогу и

проверила, все ли семьи Кадаста готовы покинуть селение по первому сигналу, — собраны ли припасы на дорогу, сделаны ли носилки для стариков и больных. Она послала молодых разведчиц на юг и восток узнать, что делают ловеки. Она все время держала в селении один вооруженный охотничий отряд, хотя остальные, как обычно, ночью уходили на охоту. А когда Селвер окреп, она потребовала, чтобы он вышел из Мужского Дома и рассказал свою историю — о том, как ловеки убивали и обращали в рабство людей на Сорноле и вырубали леса, как люди Келм-Дева убили ловцов. Она заставила мужчин-сновидцев и женщин, которые не могли понять этого сразу, слушать снова и снова. Наконец они поняли и испугались. Эбор Дендеп была практичной женщиной. Когда Великий Сновидец, ее брат, сказал ей, что Селвер — бог, творец перемены, мост между явью и явью, она поверила и начала действовать. Сновидец должен быть осторожным, должен тщательно убедиться в верности своего вывода. А она должна принять этот вывод и поступить соответственно. Его обязанность — увидеть, что надо сделать. Ее обязанность — присмотреть, чтобы это было сделано.

— Все селения в лесу должны услышать, — сказал Коро Мена. А потому Старшая Хозяйка разослала своих молодых вестниц, и Старшие Хозяйки других селений выслушивали их и рассылали своих вестниц. Рассказ о резне в Келм-Дева и имя Селвера обошли Северный остров и другие земли, передаваясь изустно или письменно — не очень быстро, потому что для передачи вестей у Лесного народа есть только пешие гонцы, но все же достаточно быстро.

Народ, обитавший в Сорока Землях мира, не составлял единого целого. Языков было больше, чем земель, и они распадалась на диалекты — каждое селение говорило на своем. Нравы, обычаи, традиции, ремесла различались множеством деталей, да и физические типы на Пяти Великих Землях были разными. Люди Сорноля отличались высоким ростом, светлым мехом и умели торговать; люди Ризуэла были низкого роста, мех у многих казался почти черным, и они ели обезьян. И так далее, и так далее. Однако климат всюду был почти одинаков, и лес тоже, а море и вовсе было одно. Любознательность, торговля, поиски жены или мужа своего Дерева заставляли людей странствовать от селения к селению, а потому общее сходство объединяло всех, кроме обитателей самых далеких окраин,

полумифических диких островов на крайнем юге и крайнем востоке. Во всех Сорока Землях селениями управляли женщины, и почти в каждом селении был свой Мужской Дом. В его стенах сновидцы говорили на древнем языке, который во всех землях был един. Язык этот редко выучивали женщины или те мужчины, которые оставались охотниками, рыбаками, ткачами, строителями, — те, кто видел лишь малые сны за стенами Дома. Письменность тоже принадлежала древнему языку, а потому, когда Старшие Хозяйки посылали с вестями быстроногих девушек, Дома обменивались письмами, и сновидцы истолковывали их Старым Женщинам, как и все слухи, загадки, мифы и сны. Но за Старыми Женщинами оставалось право верить или не верить.

Селвер находился в маленькой комнатке в Эшсене. Дверь не была заперта, но он знал, что стоит отворить ее, и внутрь войдет что-то плохое. Пока же она остается закрытой, все будет хорошо. Но дело заключалось в том, что дом окружали саженцы: не фруктовых деревьев и не ореховых, он не помнил — каких. Он вышел посмотреть, что это за деревья, а они все валялись на земле, вырванные с корнем, сломанные. Он поднял серебристую веточку, и на сломанном конце выступила капля крови. «Нет, не здесь, нет, Теле, не надо, — сказал он. — Теле, приди ко мне перед своей смертью!» Но она не пришла. Только ее смерть была здесь — сломанная березка, распахнутая дверь. Селвер повернулся, быстро вошел в дом и увидел, что он весь построен над землей, как дома ловеков, — очень высокий, полный света. В конце высокой комнаты — еще одна дверь, а за ней тянулась длинная улица Центра, селения ловеков. У Селвера на поясе висел пистолет. Если придет Дэвидсон, он сможет его застрелить. Он ждал у открытой двери, глядя наружу, на солнечный свет. И Дэвидсон появился — он бежал так быстро, что Селверу не удавалось взять его на прицел. Огромный, он кидался из стороны в сторону на широкой улице, все быстрее, все ближе. Пистолет был очень тяжелый. Селвер выстрелил, но из дула не вырвался огонь. Вне себя от ярости и ужаса он отшвырнул пистолет, а с ним и сновидение.

Его охватили отвращение и тоска. Он плюнул и тяжело вздохнул.

— Плохой сон? — спросила Эбор Дендеп.

— Они все плохи и все одинаковы, — сказал он, но мучительная тревога и тоска немного его отпустили.

Сквозь мелкие листья и тонкие ветки березовой рощи Кадаста нежаркие лучи утреннего солнца падали крошечными бликами и узкими полосками. Старшая Хозяйка сидела у серебристого ствола и плела корзинку из черного папоротника — она любила, чтобы пальцы были заняты работой. Селвер лежал рядом с ней, погруженный в полусон и сновидения. Он жил в Кадасте уже пятнадцать дней, и его рана почти совсем затянулась. Он по-прежнему много спал, но впервые за долгие месяцы вновь начал постоянно видеть сны в яви, не два-три раза днем и ночью, а в истинном пульсирующем ритме сновидчества, с десятью—четырьнадцатью пиками на протяжении суточного цикла. Хотя сны его были плохими, полными ужаса и стыда, он радовался им. Все это время он опасался, что его корни обрублены и он так далеко забрел в мертвый край действия, что никогда не сумеет отыскать пути назад к источникам яви. А теперь он пил из них вновь, хотя вода и была невыносимо горькой.

На краткий миг он снова опрокинул Дэвидсона на золу сожженного поселка, но, вместо того чтобы петь над ним, ударил его камнем по рту. Зубы Дэвидсона разлетелись кусками, и между белыми обломками заструилась кровь.

Это сновидение было полезным, оно давало выход желанию, однако он тут же оборвал его, потому что уходил в него много раз и до того, как встретился с Дэвидсоном на пепелище Келм-Дева, и после. Но этот сон не давал ничего, кроме облегчения. Глоток свежей воды. А ему нужна горькая! Надо вернуться далеко назад, не в Келм-Дева, а на ту длинную страшную улицу в городе пришельцев, который они называют Центр, где он вступил в бой со Смертью и был побежден.

Эбор Дендеп плела свою корзину и напевала. Возраст давно посеребрил шелковистый зеленый пушок на ее худых руках, но они быстро и ловко переплетали стебли папоротника. Она пела песню про то, как девушка собирает папоротник, — песню юности: «Я рву папоротник и не знаю, вернется ли он...» Ее слабый голос звенел, точно цикада. В листьях берез дрожало солнце. Селвер положил голову на руки.

Березовая роща находилась в центре селения Кадаст. Восемь тропок вели от нее, петляя между деревьев. В воздухе чуть пахло дымом. Там, где ветви редели, ближе к южной опушке, видна была печная труба, над которой поднимался дым — словно голубая пряжа разматывалась среди листьев.

Внимательно взглядевшись, можно было заметить между дубами и другими деревьями крыши домов, возвышающиеся над землей на полметра. Может быть, сто, а может быть, двести — пересчитать их было очень трудно. Бревенчатые домики, на три четверти вкопанные в землю, ютились между могучими корнями, точно барсучьи норы. Сверху была настлана кровля из мелких веток, сосновой хвои, камыша и мхов. Такие крыши хорошо хранили тепло, не пропускали воду и были почти невидимы. Лес и восемьсот жителей селения занимались своими обычными делами повсюду вокруг березовой рощи, где сидела Эбор Дендеп и плела корзину из папоротника. «Ти-уит», — звонко свистнула птичка на ветке над ее головой. Человечьего шума было больше обычного, потому что за последние дни в селение пришло много чужих, не меньше пятидесяти человек. Почти все это были молодые мужчины и женщины, и они искали Селвера. Одни пришли из других селений севера, другие вместе с ним убивали в Келм-Дева. Они пришли сюда, следуя за слухами, потому что дальше хотели следовать за ним. Но перекликающиеся там и сям голоса, и болтовня купающихся женщин, и смех детей у ручья не заглушали утреннего хора птиц, жужжания насекомых и неумолчного шума живого леса, частью которого было селение.

По тропинке бежала девушка, молодая охотница, нежно-зеленая, как листва березы.

— Устная весть с южного берега, матушка, — сказала она. — Вестница в Женском Доме.

— Пришли ее сюда, когда она поест, — шепотом сказала Старшая Хозяйка. — Ш-ш-ш, Толбар, разве ты не видишь, что он спит?

Девушка нагнулась, сорвала широкий лист дикого табака и бережно положила его на глаза спящего, к которым, падая все круче, подбирался яркий солнечный луч. Селвер лежал, раскрыв ладони, и его изуродованное, покрытое рубцами лицо было повернуто вверх, с выражением простым и незащитным, — Великий Сновидец, уснувший, точно маленький ребенок. Но Эбор Дендеп смотрела на лицо девушки. В игре трепетных теней оно светилось жалостью, ужасом и благоговением.

Толбар стремительно убежала. Вскоре появились две Старые Женщины и вестница. Они шли гуськом, бесшумно ступая по солнечному узору на тропинке. Эбор Дендеп подняла руку, предупреждая, чтобы они молчали. Вестница

тотчас устало растянулась на земле. Ее зеленый мех с буроватым отливом был пропылен и слипся от пота — она бежала быстро и долго. Старые Женщины сели на солнечной прогалине и замерли, точно два обомшелых серых камня с ясными живыми глазами.

Селвер, борясь с не подчиняющейся ему явью сна, вскрикнул, объятый ужасом, и проснулся.

Он пошел к ручью и напился, а когда вернулся назад, его сопровождали пятеро или шестеро из тех, кто все время ходил за ним. Старшая Хозяйка отложила недоплетенную корзинку и сказала:

— Теперь привет тебе, вестница. Говори.

Вестница встала, поклонилась Эбор Дендеп и объявила свою весть:

— Я из Третата. Мои слова пришли из Сорброн-Дева, а прежде — от мореходов Пролива, а прежде из Бротера на Сорноле. Они для всего Кадаста, но сказать их следует человеку по имени Селвер, который родился от Ясеня в Эшрете. Вот эти слова: «В огромном городе великанов на Сорноле появились новые великаны, и многие из них — великанши. Желтая огненная лодка то улетает, то прилетает в месте, которое звалось Пеа. На Сорноле известно, что Селвер из Эшрета сжег селение великанов в Келм-Дева. Великий Сновидец изгнанников в Бротере видел в сновидении больше великанов, чем деревьев на всех Сорока Землях». Вот слова вести, которую я несу.

Она кончила свою напевную декламацию, и наступило молчание. Неподалеку какая-то птица прощебетала: «Вет-вет?», словно проверяя, как это звучит.

— Явь мира сейчас очень плохая, — сказала одна из Старых Женщин, потирая ревматическое колено.

С большого дуба, отмечавшего северную окраину селения, взлетел серый коршун и, развернув крылья, лениво повис на восходящем потоке теплого утреннего воздуха. Возле каждого селения обязательно было гнездо этих коршунов, исполнявших обязанности мусорщиков.

Через рощу пробежал толстый малыш, за которым гналась сестра, немногим его старше. Оба пищали тоненькими голосами, точно летучие мыши. Мальчик упал и заплакал. Девочка подняла его, вытерла ему слезы большим листом, и, взявшись за руки, они убежали в лес.

— Среди них был один, которого зовут Любов, — сказал Селвер, повернувшись к Старшей Хозяйке. — Я говорил

про него Коро Мена, но не тебе. Когда *тот* убивал меня, Любовь меня спас. Любовь меня вылечил и освободил. Он хотел знать про нас как можно больше, и потому я говорил ему то, о чем он спрашивал, а он говорил мне то, о чем спрашивал я. И один раз я спросил его, как его соплеменники продолжают свой род, если у них так мало женщин. Он сказал, что там, откуда они прилетели, половина его соплеменников — женщины, но мужчины привезут их сюда, только когда приготовят для них место на Сорока Землях.

— Только когда мужчины приготовят место для женщин? Ну, им долго придется ждать! — сказала Эбор Дендеп. — Они похожи на людей из Вязовых Снов, которые идут спиной вперед, вывернув головы. Они делают из леса сухой песок на морском берегу (в их языке не было слова «пустыня») и говорят, будто готовят место для женщин! Лучше бы женщин выслали вперед. Может быть, у них Великие Сны видят женщины, кто знает? Они идут вперед спиной, Селвер. Они безумны.

— Весь народ не может быть безумным.

— Но ты же сказал, что они видят сны, только когда спят, а если хотят видеть их наяву, то принимают отраву, и сны выходят из повиновения, ты же сам говорил! Есть ли безумие больше? Они не отличают яви сна от яви мира, точно младенцы. Может быть, убивая дерево, они думают, что оно вновь оживет!

Селвер покачал головой. Он по-прежнему говорил со Старшей Хозяйкой, словно они с ней были в роще одни — тихим, неуверенным, почти сонным голосом.

— Нет, смерть они понимают хорошо... Конечно, они видят не так, как мы, но о некоторых вещах они знают больше и разбираются в них лучше, чем мы. Любовь понимал почти все, что я ему говорил. Но из того, что он говорил мне, я не понимал очень многого. И не потому, что я плохо знаю их язык. Я его знаю хорошо, а Любовь научился нашему языку. Мы записали их вместе. Но часть того, что он мне говорил, я не пойму никогда. Он сказал, что ловеки не из леса. Он сказал это совершенно ясно. Он сказал, что им нужен лес: деревья взять на древесину, а землю засеять травой. — Голос Селвера, оставаясь негромким, обрел звучность. Люди среди серебристых стволов слушали как завоженные. — И это тоже ясно тем из нас, кто видел, как они вырубают мир. Он говорил, что ловеки — такие же

люди, как мы, что мы в родстве, и, быть может, в таком же близком, как рыжие и серые олени. Он говорил, что они прилетели из такого места, которое больше не лес: деревья там все срубили. У них есть солнце, но это не наше солнце, а наше солнце — звезда. Все это мне не было ясно. Я повторяю его слова, но не знаю, что они означают. Но это неважно. Ясно, что они хотят наш лес для себя. Они вдвое нас выше и гораздо тяжелее, у них есть оружие, которое стреляет много дальше нашего и изрыгает огонь, и есть небесные лодки. А теперь они привезли много женщин, и у них будут дети. Сейчас их здесь две-три тысячи, и почти все они живут на Сорноле. Но если мы прождем поколение или два, их станет вдвое, вчетверо больше. Они убивают мужчин и женщин, они не щадят тех, кто просит о жизни. Они не ищут победы пением. Свои корни они где-то оставили — может быть, в том лесу, откуда они прилетели, в их лесу без деревьев. А потому они принимают отраву, чтобы дать выход своим снам, но от этого только пьянеют или заболевают. Никто не может твердо сказать, люди они или нелюди, в здравом они уме или нет, но это неважно. Их нужно изгнать из леса, потому что они опасны. Если они не уйдут сами, их надо выжечь с Земель, как приходится выжигать гнездо жалящих муравьев в селениях. Если мы будем ждать, выкурят и сожгут нас. Они наступают на нас, как мы — на жалящих муравьев. Я видел, как женщина... Это было, когда они жгли Эшрет, мое селение... Она легла на тропе перед ловеком, прося его о жизни, а он наступил ей на спину, сломал хребет и отшвырнул ногой, как дохлую змею. Я сам это видел. Если ловеки — люди, значит, они не способны или не умеют видеть сны и поступать по-людски. Они мучаются и потому убивают и губят, гонимые внутренними богами, которых пытаются вырвать с корнем, от которых отрекаются, вместо того чтобы дать им свободу. Если они люди, то плохие — они отреклись от собственных богов и боятся увидеть во мраке собственное лицо. Старшая Хозяйка Кадаста, выслушай меня! — Селвер встал и выпрямился. Среди сидящих женщин он казался очень высоким. — Я думаю, для меня настало время вернуться в мою землю, на Сорноль, к тем, кто изгнан, и к тем, кто томится в рабстве. Скажи всем, кому в снах видится горящее селение, чтобы они шли за мной в Бротер.

Он поклонился Эбор Дендеп и пошел по тропинке, ведущей из березовой рощи. Он все еще хромотал, и его плечо

было перевязано, но шаг его был быстрым и легким, а голова гордо откинута, и казалось, что он сильнее и крепче здоровых людей. Юноши и девушки безмолвно пошли следом за ним.

— Кто это? — спросила вестница из Третата, провожая его взглядом.

— Тот, для кого была твоя весть, Селвер из Эшрета, бог среди людей. Тебе когда-нибудь доводилось видеть богов, дочка?

— Когда мне было десять лет, в наше селение приходил Флейтист.

— А, старый Эртель! Да-да. Он был сыном моего Дерева и, как я, родом из Северных долин. Ну, так теперь ты увидела еще одного бога, и более великого. Расскажи о нем в Третате.

— А какой он, этот бог, матушка?

— Новый, — ответила Эбор Дендеп своим сухим старческим голосом. — Сын лесного пожара, брат убитых. Он тот, кто не возрождается. Ну а теперь ступайте отсюда, все ступайте. Узнайте, кто уходит с Селвером, соберите им на дорогу припасы. А меня пока оставьте тут. Меня томят дурные предчувствия, точно глупого старика. Мне надо уйти в сны...

Вечером Коро Мена проводил Селвера до того места среди бронзовых ив, где они встретились в первый раз. За Селвером на юг пошло много людей, больше шестидесяти — редко кому доводилось видеть, чтобы столько людей вместе шли куда-то. Об этом будут говорить все, и потому еще многие и многие присоединятся к ним по дороге к морской переправе на Сорноль. Но на эту ночь Селвер воспользовался своим правом Сновидца быть одному. Остальные догонят его утром, и тогда в гуще людей и поступков у него уже не будет времени для медленного и глубокого течения Великих Сновидений.

— Здесь мы встретились, — сказал старик, останавливаясь под пологом плакучих ветвей и поникших листьев, — и здесь расстаемся. Люди, которые будут потом ходить по нашим тропам, наверное, назовут эту рощу рощей Селвера.

Селвер некоторое время ничего не говорил и стоял неподвижно, как древесный ствол, а серебро колышущихся листьев вокруг него темнело и темнело, потому что на звезды напоззали тучи.

— Ты более уверен во мне, чем я сам, — наконец сказал он. Только голос во мраке.

— Да, Селвер... Меня хорошо научили уходить в сны, а кроме того, я стар. Теперь я почти не ухожу в сны ради себя. Зачем? Что может быть ново для меня? Все, чего мне хотелось от моей жизни, я получил, и даже больше. Я прожил всю мою жизнь. Дни, бесчисленные, как листья леса. Теперь я дуплистое дерево, живы лишь корни. И потому я вижу в снах только то, что видят все. У меня нет ни грез, ни желаний. Я вижу то, что есть. Я вижу плод, зреющий на ветке. Четыре года он зреет, этот плод дерева с глубокими корнями. Четыре года мы все боимся, даже те, кто живет далеко от селений ловеков, кто видел ловеков мельком, спрятавшись, или видел только их летящие лодки, или смотрел на мертвую пустоту, которую они оставляют на месте мира, или всего лишь слышал рассказы об этом. Мы все боимся. Дети просыпаются с плачем и говорят о великанах, женщины не уходят торговать далеко, мужчины в Домах не могут петь. Плод страха зреет. И я вижу, как ты срываешь его. Ты. Все, что мы боялись узнать, ты видел, ты изведal — изгнание, стыд, боль. Крыша и стены мира обрушены, матери умирают в страданиях, дети остаются необученными, непригретыми... В мир пришла новая явь — плохая явь. И ты в муках изведal ее всю. И ушел дальше всех. В дальней дали, у конца черной тропы, растет Дерево, а на нем зреет плод. И ты протягиваешь к нему руку, Селвер, ты срываешь его. А когда человек держит в руке плод этого Дерева, чьи корни уходят глубже, чем корни всего леса, мир изменяется весь. Люди узнают об этом. Они узнают тебя, как узнали мы. Не нужно быть стариком или Великим Сновидцем, чтобы узнать бога. Там, где ты проходишь, пылает огонь, только слепые не видят этого. Но слушай, Селвер, вот что вижу я и чего, быть может, не видят другие, и вот почему я тебя полюбил: я видел тебя в сновидениях до того, как мы встретились здесь. Ты шел по тропе, и позади тебя вырастали юные деревья — дуб и береза, ива и остролист, ель и сосна, ольха, вяз, ясень в белых цветках, все стены и крыши мира, обновленные и вовеки обновляющиеся. А теперь прощай, мой бог и мой сын, и да не коснется тебя опасность. Иди.

Селвер шел, а мрак сгущался все плотнее, и даже его глаза, привыкшие видеть ночью, уже не различали ничего, кроме сгустков и изломов черноты. Начал сеяться дождь.

Он отошел от Кадаста всего на несколько километров, а надо либо зажечь факел, либо остановиться. Он решил остановиться и ощупью нашел удобное место между корнями гигантского каштана. Он сел, прислонившись к кряжистому стволу, который словно еще хранил частицу солнечного тепла. Мелкие дождевые капли, невидимые в темноте, стучали по листьям сверху, падали на его плечи, шею и голову, защищенные густым шелковистым мехом, на землю, на папоротники и кусты вокруг, на все листья в лесу и близко, и далеко. Селвер сидел так же неподвижно и тихо, как и серая сова на суку над ним, но он не спал и широко открытыми глазами вглядывался в шелестящий дождем мрак.

Глава 3

У капитана Раджа Любова болела голова. Боль возникала где-то в мышцах правого плеча и нарастающей волной прокатывалась вверх, разрешаясь громовым ударом над правым ухом. Центр речи расположен в коре левого полушария головного мозга, подумал он, но сказать это вслух не смог бы. У него не было сил ни говорить, ни читать, ни спать, ни думать. Кора — дыра. Мигрень — шагрень, о-о-о! Да, конечно, его еще в университете лечили от головных болей, и потом, когда он проходил в армии обязательный профилактический психотерапевтический курс, но, улетая с Земли, он захватил с собой несколько капсул эрготамина — на всякий случай. И уже принял две, а также анальгетик «ангел-цветик», и транквилизатор, и пищеварительную таблетку, чтобы нейтрализовать действие кофеина, нейтрализующего действие эрготамина, однако сверло по-прежнему вгрызалось в череп изнутри, над правым ухом, под буханье литавр. Ухо, муха, боль, станиоль. Господи помилуй, пойди по мылу... Что делают атшияне, когда у них мигрень? Да не может у них быть мигрени! Они бы еще за неделю сняли напряжение, уйдя в сны. И ты попробуй... попробуй уйти в грезы. Начни, как учил тебя Селвер. Хотя Селвер ничего не знал об электричестве и потому не мог понять принципов энцефалографии, стоило ему услышать об альфа-волнах и о том, когда они возникают, как он сразу сказал: «Ну да — ты ведь об этом?» И на ленте, фиксировавшей то, что происходило в этой крошечной голове, покрытой зеленым мхом, сразу

появился типичный альфа-график. И за полчаса он научил Любова, как включать и отключать альфа-ритмы. В сущности, проще простого. Но не сейчас — сейчас мир слишком давит на нас... о-о-о, над правым ухом бьет, и чутким слухом слышу, как Колесница Времени летит вперед, потому что атшияне сожгли позавчера Лагерь Смита и убили двести человек. Двести семь, если быть точным. Всех до единого, кроме капитана. Неудивительно, что капсулы не могут добраться до источника его головной боли — для этого нужно вернуться на два дня назад, очутиться на острове в трехстах километрах отсюда. За горами, за долами. Пепел, пепел, все рассыпалось пеплом. И в этом пепле — все, что он знал о высокоразумных существах мира, значащегося под номером сорок один. Прах, вздор, хаос неверных сведений и ложных гипотез. Пробыл здесь почти полных пять землет и верил, что атшияне не способны убивать людей — ни его расы, ни своей собственной. Он писал длинные доклады, объясняя, отчего они не способны убивать людей. И ошибся. Как ошибся!

Чего он не сумел увидеть и понять?

Пора было собираться на совещание в штабе. Любова осторожно поднялся на ноги, стараясь не качнуть головой, чтобы ее правая сторона не отвалилась. С медлительной плавностью человека, плывущего под водой, он подошел к столу, плеснул в стакан порционной водки и выпил ее. Водка встряхнула его, рассеяла, привела в нормальное состояние. Ему стало легче. Он вышел, решил, что не вынесет тряски мотоцикла, и зашагал по длинной и пыльной Главной улице Центрвилла к зданию штаба. Поравнявшись с баром «Луау», он с жадностью представил себе еще рюмку водки, но в дверь как раз входил капитан Дэвидсон, и Любова пошел дальше.

Представители с «Шеклтона» уже ждали в конференц-зале. Коммодор Янг, которого он знал, на этот раз захватил с собой с орбиты новых людей. На них не было летной формы, и несколько секунд спустя Любова с некоторой растерянностью сообразил, что это не земляне. Он сразу же подошел познакомиться с ними. Первый, господин Ор, был волосатый таукитянин, темно-серый, коренастый и урюмый. Второй, господин Лепеннон, был высок, белокож и красив, как большинство хайнцев. Здороваясь, оба посмотрели на Любова с живым интересом, а Лепеннон сказал:

— Я только что прочел ваш доклад о сознательном управлении парадоксальным сном у атшиян, профессор Любов.

Это было приятно. И было приятно услышать свой собственный честно заслуженный титул. По-видимому, они прожили несколько лет на Земле и, возможно, были какими-то специалистами по врасу. Но коммодор, представляя их, не сказал, кто они и какое положение занимают.

Зал мало-помалу наполнялся. Пришли все, кто чем-либо руководил в колонии. Вслед за Госсе, главным экологом колонии, вошел капитан Сусун, глава отдела развития природных ресурсов планеты — другими словами, лесоразработок. Его капитанский чин, как и капитанский чин Любова, был данью предрассудкам армейского начальства. Вошел капитан Дэвидсон — стройный и красивый. Его худое сильное лицо дышало суровым спокойствием. У всех дверей встали часовые. Армейские спины были бескомпромиссно выпрямлены. Не заседание, а расследование, это ясно. Кто виноват? «Я виноват», — с отчаянием подумал Любов, но посмотрел через стол на капитана Дона Дэвидсона, посмотрел с безгливостью и презрением.

Коммодор Янг заговорил очень спокойно и тихо:

— Как вам известно, господа, мой корабль сделал остановку тут, на сорок первой планете, только чтобы высадить новых колонистов, а порт назначения «Шеклтона» — восемьдесят восьмая планета, Престно, входящая в хайнскую группу. Однако мы не можем игнорировать нападение на один из ваших дальних лагерей, поскольку оно произошло во время нашего пребывания на орбите. Особенно ввиду некоторых новых событий, о которых при нормальном положении вещей вы были бы извещены несколько позже. Дело в том, что статус сорок первой планеты как земной колонии теперь подлежит пересмотру, а резня в вашем лесном лагере может его ускорить. В любом случае мы с вами должны что-то решить немедленно, так как я не могу долго задерживать здесь свой корабль. В первую очередь надо удостовериться, что относящиеся к делу факты известны всем присутствующим. Рапорт капитана Дэвидсона о событиях в Лагере Смита был записан на пленку, и на корабле мы его все прослушали. И вы здесь тоже? Прекрасно. Если у кого-нибудь из вас есть вопросы к капитану Дэвидсону, задавайте их. У меня вопрос есть. На следующий день, капитан Дэвидсон, вы вернулись в сожженный лагерь на

большом вертолете с восемью солдатами. Получили ли вы разрешение от старшего офицера здесь, в Центре, на этот полет?

Дэвидсон встал:

— Да, получил.

— Были вы уполномочены приземлиться и поджечь лес в окрестностях бывшего лагеря?

— Нет, не был.

— Однако лес вы подожгли?

— Да, поджег. Я хотел выкурить пискунов, которые убили моих людей.

— У меня все. Господин Лепеннон?

Высокий хайнец откашлялся.

— Капитан Дэвидсон, — начал он, — считаете ли вы, что ваши подчиненные в Лагере Смита были в целом всем довольны?

— Да, считаю.

Дэвидсон говорил твердо и прямо. Казалось, его не тревожило положение, в котором он оказался. Конечно, этим флотским и инопланетянам он не подчинен и отчитываться за потерю двухсот человек, а также за самовольно принятые карательные меры должен только перед своим полковником. Однако его полковник присутствует здесь и слушает.

— Они получали хорошее питание и жили в хороших условиях, насколько это возможно во временном лагере? И рабочие часы у них были нормальными?

— Да.

— Дисциплина была исключительно суровой?

— Нет, конечно.

— В таком случае чем вы объясните этот мятеж?

— Я не понял вопроса.

— Если среди них не было никакого недовольства, почему часть ваших подчиненных перебила остальных и подожгла лагерь?

Наступило неловкое молчание.

— Разрешите мне, — сказал Любов. — На землян напали работавшие в лагере местные врасу, атшияне, объединившись со своими лесными соплеменниками. В своем рапорте капитан Дэвидсон называет атшиян «пискунами».

На лице Лепеннона отразились смущение и озабоченность.

— Благодарю вас, профессор Любов. Я неверно понял ситуацию. Мне представлялось, что слово «пискуны» означает

катеорию землян, выполняющих неквалифицированную работу в лесных лагерях. Считая, как и все мы, что атшияне как раса лишены агрессивности, я не мог предположить, что подразумеваются они. Собственно говоря, я даже не знал, что они вообще сотрудничают с вами в лесных лагерях... Но тогда мне тем более непонятно, чем были вызваны это нападение и мятеж?

— Я не знаю.

— Когда капитан сказал, что его подчиненные были всем довольны, подразумевал ли он и аборигенов? — буркнул таукитянин Ор.

Хайнец тотчас спросил у Дэвидсона тем же озабоченным вежливым голосом:

— А жившие в лагере атшияне тоже были всем довольны?

— Насколько мне известно, да.

— В их положении там или в порученной им работе не было ничего необычного?

Любов ощутил, как возросло внутреннее напряжение полковника Донга, его офицеров, а также командира звездолета — словно завернули винт на один оборот. Дэвидсон сохранял невозмутимое спокойствие.

— Ничего.

Любов понял, что на «Шеклтон» отсылались только его научные отчеты, а его протесты и даже предписываемые инструкцией ежегодные оценки «приспособления аборигенов к присутствию колонистов» лежат на дне ящика чьего-то стола здесь, в штабе. Эти двое неземлян ничего не знали об эксплуатации атшиян. Они — но не коммодор Янг: он успел несколько раз побывать на планете и, вероятно, видел законы, в которые запирали пискунов. Да и в любом случае командир корабля, облетающего колонии, не может не знать, как складываются взаимоотношения землян и врасу. Как бы он ни относился к деятельности департамента по развитию колоний, вряд ли что-нибудь могло его удивить. Но таукитянин и хайнец — откуда им знать, что творится на колонизируемых планетах? Разве что случай забрасывал их в такую колонию по пути совсем в другое место. Лепеннон и Ор вообще не собирались спускаться здесь с орбиты. Или, возможно, их не собирались спускать, но, услышав о чрезвычайном происшествии, они настояли на этом. Почему коммодор взял их сюда? По своей воле или по их требованию? Он не сказал, кто они такие, но в

них чувствовалась привычка распоряжаться, от них веяло сухим опьяняющим воздухом власти. Голова у Любова больше не болела, он испытывал бодрящее возбуждение, его лицо горело.

— Капитан Дэвидсон, — сказал он, — у меня есть несколько вопросов, касающихся вашей позавчерашней стычки с четырьмя аборигенами. Вы уверены, что среди них был Сэм, или Селвер Теле?

— Да, кажется.

— Вы знаете, что у него с вами личные счеты?

— Не имею ни малейшего представления.

— Нет? Поскольку его жена умерла у вас на квартире сразу после того, как вы учинили над ней насилие, он считает вас виновником ее смерти. И вы не знали этого? Он уже один раз бросился на вас здесь, в Центрвилле. И вы забыли про это? Ну, как бы то ни было, личная ненависть Селвера к капитану Дэвидсону, возможно, в какой-то мере объясняет это беспрецедентное нападение или отчасти дала ему толчок. Вспышки агрессивного поведения у атшиян вовсе не исключены — ни одно из моих исследований не давало материалов для подобного утверждения. Подростки, еще не овладевшие искусством контролировать сновидения и перепевать противника, часто борются между собой или дерутся на кулаках, причем это отнюдь не всегда дружеские состязания. Но Селвер — взрослый мужчина и сновидец. Тем не менее, когда он в первый раз в одиночку бросился на капитана Дэвидсона, им явно руководило стремление убить. Как, кстати, и капитаном Дэвидсоном. Я был свидетелем их схватки. В то время я счел, что это нападение — исключительный случай, минутное безумие, вызванное горем, тяжелой психической травмой, что оно вряд ли повторится. Я ошибся... Капитан, когда четверо атшиян бросились на вас из засады, как вы указали в своем рапорте, вас в конце концов прижали к земле?

— Да.

— В какой позе?

Спокойное лицо капитана Дэвидсона напряглось, и Любова кольнула невольная жалость. Он хотел запутать Дэвидсона в его собственной лжи и вынудить хотя бы раз сказать правду, но вовсе не унижать его публично. Обвинения в изнасиловании и убийстве только поддерживали внутреннее убеждение Дэвидсона, что он — истинный мужчина, но теперь это лестное представление о себе оказывалось под

угрозой. Любов вынудил его вспомнить, как он, профессиональный солдат, сильный, хладнокровный, бесстрашный, был брошен на землю врагами ростом с шестилетнего ребенка... Во что обошлась Дэвидсону всплывшая в его памяти картина, как он впервые смотрел на зеленых человекон не сверху вниз, а снизу вверх?

— Я лежал на спине.

— Голова у вас была откинута или повернута?

— Не помню.

— Я пытаюсь установить определенный факт, капитан, который помог бы объяснить, почему Селвер вас не убил, хотя у него были личные счеты с вами и незадолго до этого он участвовал в истреблении двухсот человек. Я подумал, что вы могли случайно принять одну из тех поз, которые заставляют атшиянина сразу же оставить своего противника.

— Я не помню.

Любов обвел взглядом сидевших за столом. Все лица выражали любопытство, но некоторые были настороженными.

— Эти умиротворяющие жесты и позы могут опираться на какие-то врожденные инстинкты или представлять собой рудименты реакции бегства, но они получили социальное развитие, усложнились и теперь заучиваются. Для наиболее действенной и совершенной позы покорности надо лечь навзничь, закрыть глаза и повернуть голову так, чтобы подставить противнику ничем не защищенное горло. Я убежден, что ни один атшиянин на этих островах просто физически не способен причинить вред врагу, принявшему эту позу. И прибегнет к тому или иному способу, чтобы дать выход гневу и желанию убить. Когда они вас повалили, капитан, может быть, Селвер запел?

— Что-что?

— Он запел?

— Не помню.

Стена. Непробиваемая. Любов уже хотел пожать плечами и замолчать, но тут таукитянин спросил:

— Что вы имеете в виду, профессор Любов?

Наиболее приятной чертой довольно жесткого таукитянского характера была любознательность, бескорыстное и неутомимое любопытство: таукитяне даже умирали охотно, интересуясь, что будет дальше.

— Видите ли, — ответил Любов, — атшияне заменяют физический поединок ритуальным пением. Это опять-таки широко распространенное в природе явление, и, возможно, оно опирается на какие-то физиологические моменты, хотя у людей трудно предположить «врожденные инстинкты» такого рода. Но как бы то ни было, здесь у всех высших приматов существуют голосовые состязания между двумя самцами — они воют или свистят. В конце концов, доминирующий самец может дать противнику оплеуху, но чаще всего они просто около часа стараются переорать друг друга. Атшияне сами усматривают в этом аналогию со своими певческими состязаниями, которые также бывают только между мужчинами, однако, как они сами отмечают, у них такое состязание не только дает выход агрессивным побуждениям, но и представляет собой вид искусства. Победа остается за более умелым певцом. И я подумал, не пел ли Селвер над капитаном Дэвидсоном, если же пел, то потому ли, что не мог убить, или потому, что предпочел бескровную победу? Эти вопросы неожиданно приобрели большую важность.

— Профессор Любов, — сказал Лепеннон, — насколько эффективны эти приемы для разрядки агрессивности? Они универсальны?

— У взрослых — да. Так говорили все те, у кого я собирал сведения, и мои личные наблюдения полностью это подтверждали... До позавчерашнего дня. Изнасилование, избиение и убийство им практически неизвестны. Конечно, не исключаются несчастные случаи. И тяжелые мании. Но последние — редкость.

— А как они поступают с опасными маньяками?

— Изолируют. В буквальном смысле слова. На уединенных островах.

— Но атшияне не вегетарианцы, они охотятся на животных?

— Да. Мясо принадлежит к основным продуктам их питания.

— Поразительно! — воскликнул Лепеннон, и его белая кожа стала еще блее от волнения. — Человеческое общество с надежным антивоенным тормозом? А какой ценой это достигается, профессор Любов?

— Точного ответа я дать не могу. Пожалуй, ценой отказа от изменений. Их общество статично, устойчиво, однородно.

У них нет истории. Полнейшая гомогенность и ни малейшего прогресса. Можно сказать, что, подобно лесу, дающему им приют, они достигли оптимального равновесия. Но это вовсе не значит, что они лишены способности к адаптации.

— Господа, все это очень интересно, но лишь в довольно узком смысле, и не имеет прямого отношения к тому, что мы пытаемся тут установить.

— Извините, полковник Донг, но, возможно, это и есть объяснение. Итак, профессор Любов?

— Возникает вопрос, не доказывают ли они сейчас эту свою способность. Приспосабливая свое поведение к нам. К колонии землян. На протяжении четырех лет они вели себя с нами так же, как друг с другом. Несмотря на физические различия, они признали в нас членов своего вида, то есть людей. Однако мы вели себя не так, как должны себя вести им подобные. Мы полностью игнорировали систему отношений, права и обязанности, сопряженные с отсутствием насилия. Мы убивали, изгоняли и порабощали людей этой планеты, уничтожали их общины и рубили их леса. Нет ничего удивительного, если они решили, что нас нельзя считать людьми.

— А значит, можно убивать, как животных. Да-да, конечно, — сказал таукитянин, наслаждаясь логичностью этого построения, но лицо Лепеннона застыло, словно высеченное из белого мрамора.

— Порабощали? — переспросил хайнец.

— Капитан Любов излагает свои личные теории и мнения, — поспешно вмешался полковник Донг, — которые, должен сказать прямо, мне представляются ошибочными, и мы с ним уже обсуждали их прежде, но к теме нашего совещания они отношения не имеют. Мы никого не порабощаем. Некоторые аборигены играют полезную роль в наших начинаниях. Добровольный автохтонный* корпус является составной частью всех здешних поселений, кроме временных лагерей. У нас не хватает людей для осуществления наших целей, мы постоянно нуждаемся в рабочих руках и используем всех, кого удастся найти, но отнюдь не в формах, которые подпадали бы под определение рабства. Разумеется, нет.

* Местный; здесь — состоящий из аборигенов. (Примеч. ред.)

Лепеннон хотел что-то сказать, но промолчал, уступая черед таукитянину, однако тот спросил только:

— Какова численность обеих рас?

Ему ответил Госсе:

— Землян в настоящее время здесь находится две тысячи шестисот сорок один человек. Любов и я оцениваем численность местных врасу очень приблизительно в три миллиона.

— Вам следовало бы учесть эти статистические данные, прежде чем вы начали менять местные обычаи! — заметил Ор с неприятным, однако вполне искренним смехом.

— Мы достаточно вооружены и оснащены, чтобы противостоять любым агрессивным действиям со стороны аборигенов, — вмешался полковник. — Однако специалисты первой обзорной экспедиции и наши собственные — и в первую очередь капитан Любов — в полном согласии между собой внушали нам, будто новотаитяне — примитивные, безобидные и миролюбивые существа. Как выяснилось теперь, эти сведения были явно ошибочными...

— Явно! — перебил Ор. — Считаете ли вы, полковник, что люди как вид — примитивные, безобидные и миролюбивые существа? Конечно, нет. Но вы ведь знали, что врасу на этой планете — люди? Точно такие же, как вы, как я или Лепеннон, поскольку все мы восходим к одной хайнской расе?

— Я знаю о существовании такой гипотезы...

— Полковник, это исторический факт!

— Я не обязан признавать это фактом! — огрызнулся старик полковник. — И мне не нравится, когда мне навязывают чужие мнения. Я знаю другой факт: пискуны ростом в метр, они покрыты зеленым мехом, они не спят, и они не люди в том смысле, в каком я понимаю это слово!

— Капитан Дэвидсон, — спросил таукитянин, — по-вашему, местные врасу — люди или нет?

— Не знаю.

— Но вы совершили половой акт с аборигенкой — с женой этого Селвера. Значит, вы считали ее женщиной, а не животным? А остальные? — Он обвел взглядом побагровевшего полковника, нахмурившихся майоров, взбешенных капитанов и растерянных специалистов. Его лицо выразило брезгливое презрение. — Ход ваших мыслей нелогичен, — закончил он.

По его понятиям, это было грубейшее оскорбление.

Командир «Шеклтона» наконец вынырнул из омута общего смущенного молчания:

— Итак, господа, трагические события в Лагере Смита, вне всякого сомнения, тесно связаны с взаимоотношениями, установившимися между колонией и местным населением, а потому их нельзя рассматривать как малозначительный или случайный эпизод. Именно это мы и должны были установить, поскольку в нашем распоряжении есть средство, которое поможет вам выйти из затруднений. Цель нашего полета вовсе не исчерпывается доставкой сюда двух сотен невест, хотя я и знаю, как вы их ждали. На Престно возникли некоторые сложности, и нам поручено доставить тамошнему правительству ансамбль. Другими словами, АМС — аппарат мгновенной связи.

— Что? — воскликнул Серенг, глава инженерной службы.

Все земляне растерянно уставились на коммодора Янга.

— У нас на борту находится ранняя его модель, которая обошлась примерно в годовой доход целой планеты. Но с того момента когда мы покинули Землю, прошло двадцать семь землет, и теперь их научились изготавливать гораздо дешевле. Ими оснащаются все корабли космического флота, и автоматический корабль или корабль с командой, который доставил бы его вам при нормальном положении вещей, уже находится в полете. Точнее говоря, если я ничего не спутал, это корабль с командой, и он должен прибыть сюда через девять и четыре десятых земгода.

— Откуда вы знаете? — спросил кто-то, невольно подыграв коммодору, который ответил с улыбкой:

— Из переговоров по нашему ансамблю. Господин Ор, это изобретение ваших соплятан, так не объясните ли вы его устройство присутствующим?

Таукитянин не смягчился.

— Попытаться объяснить им принцип действия ансамбля бессмысленно, — сказал он. — Назначение же его можно изложить в двух словах: мгновенная передача сведений на любое расстояние. Один его элемент должен находиться на астрономическом теле, имеющем значительную массу, второй — в любой точке космоса. С момента выхода на орбиту «Шеклтон» ежедневно обменивался информацией с Землей, находящейся на расстоянии в двадцать семь световых лет. Для передачи вопроса и получения ответа уже не требуется пятидесяти четырех лет, как при использовании электромагнитных аппаратов. Передача происходит

мгновенно, и разрыва во времени между мирами более не существует.

— Едва мы вошли в пространство-время этой планеты, мы, так сказать, позвонили домой, — мягко продолжал коммодор. — И нам сообщили, что произошло за двадцать семь лет нашего полета. Разрыв во времени по-прежнему существует для материальных тел, но не для связи. Вы, конечно, понимаете, что АМС для нас как космических видов важен не меньше, чем была важна речь на более ранней ступени нашей эволюции. Он тоже создает возможность для возникновения общества.

— Господин Ор и я покинули Землю двадцать семь лет назад в качестве представителей правительств Тау Второй и Хайна, — сказал Лепеннон. Голос его оставался кротким и вежливым, но из него исчезла всякая теплота. — В то время обсуждалось создание союза или лиги цивилизованных миров, которое стало возможным с появлением мгновенной связи. Сейчас Лига Миров существует. Она существует уже восемнадцать лет. Господин Ор и я являемся теперь эмиссарами Совета Лиги и потому обладаем определенными полномочиями и властью, которых не имели, когда улетали с Земли.

Эта троица с космолета твердит о том, будто существует аппарат мгновенной связи, будто существует межзвездное надправительство. Хотите — верьте, хотите — нет. Они сговорились и лгут. Вот какая мысль возникла в мозгу у Любова.

Он взвесил ее и решил, что она достаточно логична, но продиктована безотчетной подозрительностью, психическим защитным механизмом, и отбросил ее. Однако среди штабных, натренированных мыслить по заданным схемам, среди этих специалистов по самозащите найдется немало таких, кто уверует в это подозрение так же безоговорочно, как он его отбросил. Они не могут не прийти к выводу, что человек, вдруг претендующий на совершенно новую форму власти, должен быть или лжецом, или заговорщиком. Они бессильны что-либо изменить в своем мировосприятии, как и он сам, Любов, натренированный сохранять беспристрастность и гибкость мышления, хочет он того или нет.

— Должны ли мы поверить всему... всему этому, только полагаясь на ваше слово? — произнес полковник Донг с достоинством, но жалобно: его мыслительные процессы

протекали недостаточно четко, и ему было ясно, что не следует верить ни Лепеннону, ни Ору, ни Янгу, но тем не менее он поверил им и перепугался.

— Нет, — ответил таукитянин. — С этим покончено. Прежде колониям вроде вашей приходилось полагаться на сведения, доставляемые космолетами, и устаревшую радиоинформацию. Но теперь вы можете сразу получить все необходимые подтверждения. Мы намерены передать вам ансамбль, предназначенный для Престно. Лига уполномочила нас на это — разумеется, через ансамбль. Ваша колония находится в тяжелом положении. В гораздо более тяжелом, чем можно было заключить по вашим рапортам. Ваши рапорты очень неполны — то ли из-за глупого неведения, то ли из-за сознательной цензуры. Однако теперь вы получили ансамбль и можете прямо снести с вашим земным руководством, чтобы запросить инструкции. Ввиду глубоких изменений, которые произошли в организации управления Землей после нашего отлета, я рекомендовал бы вам сделать это безотлагательно. Теперь нет никаких оправданий ни для безоговорочного следования устаревшим инструкциям, ни для невежества, ни для безответственной автономии.

Стоит таукитянину оскорбиться, и он уже не в силах совладать с собой. Господин Ор позволяет себе лишнее, и коммодор Янг должен был бы его одернуть. Но есть ли у него такое право? Какими полномочиями наделен «эmissар Совета Лиги Миров»? Кто здесь главный? Любому вдруг стало страшно, и его виски словно стянул железный обруч. Возвращалась головная боль. Он взглянул на сидящего напротив Лепеннона, на переплетенные длинные белые пальцы его рук, которые спокойно лежали, отражаясь в полированной поверхности стола. Мраморная белизна кожи была скорее неприятна Любому, воспитанному в земных эстетических понятиях, но сила и безмятежность этих рук ему нравилась. У хайнцев цивилизация в крови, думал он, ведь они приобщились к ней так давно. Они вели социально-интеллектуальную жизнь с грацией охотящейся в саду кошки, с неколебимой уверенностью ласточки, летящей через море вслед за летом. Они достигли всего. Им не надо было притворяться или фальшивить. Они были тем, чем были. Никто не укладывался в параметры человека так безупречно. Разве только зеленый народец? Измельчав, переприспособившись,

застыв в своем развитии, пискуны так абсолютно, так честно, безмятежно были тем, чем были...

Бентон, один из офицеров, спросил Лепеннона, находятся ли они на планете в качестве наблюдателей Лиги... (он запнулся) Лиги Миров или уполномочены...

Лепеннон вежливо вывел его из затруднения:

— Мы просто наблюдатели и не имеем полномочий распоряжаться. Вы по-прежнему ответственны только перед Землей.

— Следовательно, ничто в сущности не изменилось! — с облегчением сказал полковник Донг.

— Вы забываете про ансибль, — перебил Ор. — Сразу после совещания я научу вас пользоваться им. И вы сможете проконсультироваться с вашим департаментом.

Заговорил Янг:

— Поскольку решение вашей проблемы не терпит отлагательств, а Земля теперь стала членом Лиги и Колониальный кодекс за последние годы мог значительно измениться, совет господина Ора весьма разумен и своевремен. Мы должны быть очень благодарны господину Ору и господину Лепеннону за их решение предоставить земной колонии ансибль, предназначенный для Престно. Это было их решение. Я же мог только от всего сердца с ними согласиться. Теперь остается еще один вопрос, решить который должен я, опираясь на ваше мнение. Если вы считаете, что колонии угрожают новые нападения все большего числа аборигенов, я могу задержать мой корабль здесь еще недели на две для пополнения вашего оборонительного оружия. Кроме того, я могу эвакуировать женщин. Детей в колонии пока еще нет, не так ли?

— Да, — сказал Госс. — А женщин тут теперь четыреста восемьдесят две.

— Что же, у меня есть место для трехсот восьмидесяти пассажиров. Еще сто как-нибудь разместим. Лишняя масса замедлит возвращение домой примерно на год, но и только. К сожалению, ничего больше я вам предложить не могу. Мы должны лететь дальше, на Престно, ближайшую к вам планету, расстояние до которой, как вы знаете, чуть меньше двух световых лет. На обратном пути к Земле мы опять побываем здесь, но это будет не раньше чем через три с половиной земгода. Вы столько продержитесь?

— Конечно, — сказал полковник, и остальные поддержали его. — Мы предупреждены, и больше нас врасплох не застанут.

— А аборигены? — сказал таукитянин. — Они смогут продержаться еще три с половиной года?

— Да, — сказал полковник.

— Нет, — сказал Любов. Он все это время следил за выражением лица Дэвидсона, и в нем нарастало что-то похожее на панику.

— Полковник? — вежливо осведомился Лепеннон.

— Мы здесь уже четыре года, и аборигены благоденствуют. Места хватает для всех нас с избытком — как вам известно, планета очень мало населена, и ее никогда не открыли бы для колонизации, если бы дело обстояло иначе. Ну а если им снова взбредет в голову напасть, они нас больше врасплох не застанут. Нас неверно информировали относительно характера этих аборигенов, но мы прекрасно вооружены и сумеем защититься, хотя никаких карательных мер мы не планируем. Колониальный кодекс абсолютно запрещает что-либо подобное, и, пока я не узнаю, какие правила ввело новое правительство, мы будем строго соблюдать прежние правила, как всегда их соблюдали, а в них прямо указано на недопустимость широких карательных действий или геноцида. Просьб о помощи мы посылать не будем: в конце-то концов, колония, удаленная от родной планеты на двадцать семь световых лет, должна рассчитывать главным образом на собственные ресурсы и вообще полагаться только на себя, и я не вижу, как АМС может что-либо изменить в этом отношении, поскольку корабли, люди и грузы, как и раньше, перемещаются в космосе со скоростью, всего лишь близкой к световой. Мы будем по-прежнему отправлять на Землю лесоматериалы и сами о себе заботиться. Женщинам никакой опасности не грозит.

— Профессор Любов? — сказал Лепеннон.

— Мы здесь четыре года, и я не уверен, что местная человеческая культура сможет выдержать еще четыре. Что касается общей экологии планеты, полагаю, Госсеподтвердит мои слова, если я скажу, что мы невосстановимо погубили экологические системы на одном Большом острове, нанесли им огромный ущерб здесь, на Сорноле, который можно считать почти материком, и, если лесоразработки будут продолжаться нынешними темпами, еще до конца

десятилетия почти наверное превратим в пустыню все крупные обитаемые острова. Ни штаб колонии, ни Лесное бюро в этом не виноваты: они просто следовали «плану развития», который был составлен на Земле на основании далеко не достаточных сведений о планете, ее экологических системах и аборигенах.

— Мистер Госсе? — произнес вежливый голос.

— Ну, Радж, вы, пожалуй, преувеличиваете. Бесспорно, Свалку — остров, где, вопреки моим рекомендациям, лесоразработки велись слишком интенсивно, — приходится сбросить со счетов. Если на определенной площади лес вырубается свыше определенного процента, фибровник отмирает, а именно корневая система этого растения связывает почву на расчищенной земле, без чего почва превращается в пыль и стремительно уносится ветрами и ливнями. Однако я не могу согласиться с тем, что данные нам установки неверны, — надо лишь строго им следовать. Они опираются на тщательное изучение планеты. И здесь, на Центральном острове, мы, точно следуя плану, добились успеха — эрозия незначительна, а расчищенная земля очень плодородна. Разработка леса вовсе не означает создания пустыни — ну разве что с точки зрения белки. Мы не знаем точно, как экосистемы здешних первобытных лесов приспособятся к новой комбинации леса, степи и пахотной земли, предусмотренной планом развития, но мы знаем, что во многих случаях шансы на адаптацию и выживание очень велики...

— Именно это утверждало экологическое бюро, когда речь шла об Аляске в первый период первого пищевого кризиса, — перебил Любов. Горло у него сжала судорога, и голос звучал пронзительно и хрипло. А он-то надеялся, что Госсе его поддержит! — Сколько ситкинских елей вам довелось увидеть за вашу жизнь, Госсе? Сколько белых сов? Или волков? Или эскимосов? После пятнадцати лет осуществления «программы развития» сохранилось около трех процентов исконных аляскинских видов, как растений, так и животных. А сейчас их число равно нулю. Лесная экология очень хрупка. Если лес гибнет, с ним гибнет и его фауна. А в языке атшихан лес называется тем же словом, которое означает мир, Вселенную. Коммодор Янг, я официально ставлю вас в известность, что, если колонии непосредственная опасность пока не грозит, она грозит всей планете...

— Капитан Любов! — перебил старый полковник. — Офицеры специальных служб не могут обращаться с подобными заявлениями к офицерам других служб, но только к руководству колонии, которое одно правомочно их рассматривать, и я не потерплю дальнейших попыток давать рекомендации без предварительного согласования.

Любов, застигнутый врасплох собственной вспышкой, извинился и попытался принять спокойный вид. Если бы он не потерял контроля над собой! Если бы у него не сорвался голос! Если бы у него хватило выдержки... А полковник тем временем продолжал:

— Нам представляется, что вы допустили серьезные ошибки в оценке миролюбия и отсутствия агрессивности у здешних аборигенов, и мы не предвидели и не предотвратили страшную трагедию в Лагере Смита именно потому, что положились на ваше мнение, как мнение специалиста, капитан Любов. Поэтому я думаю, что нам придется подождать, пока другие специалисты по врасу не смогут изучить их глубже, поскольку факты свидетельствуют, что ваши заключения содержали существеннейшие ошибки.

Любов принял это молча. Пусть Янг и инопланетяне посмотрят, как они сваливают вину друг на друга. Тем лучше! Чем больше они будут препираться, тем вероятнее, что эти эмиссары проведут инспекцию, возьмут их под контроль. И ведь он действительно виноват, он действительно ошибся! «К черту самолюбие, лишь бы уберечь лесных людей!» — подумал Любов и с такой силой ощутил всю глубину своего унижения и самопожертвования, что у него на глаза навернулись слезы.

Тут он заметил, что Дэвидсон внимательно на него поглядывает.

Он выпрямился, лицо у него горело, в висках стучала кровь. Он не станет терпеть насмешек этой скотины Дэвидсона. Неужели Ор и Лепеннон не видят, что такое Дэвидсон и какой он здесь пользуется властью, тогда как его, Любова, власть — одна фикция, исчерпывающаяся правом «давать рекомендации»? Если все ограничится установкой этого их сверхрадио, трагедия в Лагере Смита почти наверняка станет предлогом для систематического истребления аборигенов. С помощью бактериологических средств, скорее всего. Через три с половиной года «Шеклтон» вернется на Новое Таити и найдет тут процветающую колонию и никаких трудностей с пискунами. Абсолютно никаких.

Эпидемия — такая жалость? Мы приняли все меры, требуемые Колониальным кодексом, но, вероятно, произошла мутация — ни малейшей резистентности, но тем не менее мы сумели спасти часть их, перевезя на Новофолклендские острова в южном полушарии, где они прекрасно себя чувствуют — все шестьдесят два аборигена.

Совещание закончилось. Любов встал и перегнулся через стол к Лепеннону.

— Сообщите Лиге, что необходимо спасти леса, лесных людей, — сказал он еле слышно, потому что судорога сжимала его горло. — Вы должны это сделать, должны!

Хайнец посмотрел ему в глаза. Его взгляд был ласковым, сдержанным, бездонным. Он ничего не ответил.

Глава 4

Рассказать кому-нибудь — не поверят! Они все свихнулись. Эта проклятая планета им всем мозги набекрень сдвинула, одурманила, вот они и дрыхнут наяву, не хуже пискунов. Да если бы ему самому еще раз прокрутили то, чего он насмотрелся на этом «совещании» и на инструктаже после, он бы не поверил. Командир корабля Звездного флота лижет пятки двум гуманоидам? Инженеры и техники визжат и пускают слюни из-за какого-то дурацкого радио, а волосатый таукитянин измывается над ними и бахвалится, словно земная наука давным-давно не предсказала появление АМС? Гуманоиды идейки-то свистнули, использовали и назвали свою штуковину ансиблем, чтобы никто не сообразил, что это всего-навсего АМС. Но хуже всего было это их совещание, когда псих Любов орал всякую чушь, а полковник Донг не заткнул ему пасть, позволил оскорблять и Дэвидсона, и весь штаб, и всю колонию, а эти две инопланетные морды сидят и ухмыляются — плюгавая серая макака и долговязая бледная немочь, сидят и потешаются над людьми!

Хуже некуда. Но и когда «Шеклтон» улетел, лучше не стало. Ну ладно, пусть его отправили на Новую Яву в распоряжение майора Мухамеда, он не в претензии. Полковник должен был наложить на него дисциплинарное взыскание. В душе-то старик Динг-Донг наверняка одобряет, что он прошелся с огоньком по острову Смита и дал урок

пискунам, но сделал он это по собственной инициативе, а дисциплина есть дисциплина, и полковник обязан был призвать его к порядку. Что поделаешь, играть надо по правилам. Но вот какое отношение к правилам имеет то, что вякает их телевизор-переросток, который они называют ансамблем? Этот их новый идол в штаб-квартире, на который они не намолятся?

Инструкции из Карачи, от департамента развития колоний. «Не допускать контактов между землянами и атшиянами, кроме тех, инициаторами которых будут атшияне». Проще говоря, с этих пор от пискуньих нор держись подальше, а рабочую силу ищи где хочешь! «Использование добровольного труда не рекомендуется, использование принудительного труда запрещается». Опять двадцать пять! А как тогда вести лесоразработки, об этом они подумали? Нужны Земле эти бревна и доски или нет? Небось все еще шлют робогрузовозы на Новое Таити по четыре в год и каждый везет на Землю первоклассные пиломатериалы на тридцать миллионов неодоляров. Естественно, департаменту эти миллиончики очень даже кстати. Там сидят деловые люди. И инструкции идут не от них, это и дураку ясно.

«Колониальный статус сорок первой планеты пересматривается». Новым Таити ее уже больше не называют, скажите пожалуйста! «До вынесения окончательного решения колонисты должны соблюдать предельную осторожность в отношениях с местными обитателями... Использование какого бы то ни было оружия, кроме мелкокалиберных пистолетов, предназначенных для самозащиты, категорически запрещается». Прямо как на Земле, только там и пистолеты давно запрещены. Но за каким, спрашивается, чертом человек пролетел расстояние в двадцать семь световых лет, если на неосвоенной планете у него отбирают и автоматы, и огненный студень, и бомбы-лягушки? Нет-нет! Сидите себе, посиживайте, пай-мальчики, а пискуны пусть спокойно плюют тебе в лицо, и распевают над тобой песни, и втыкают тебе нож в брюхо, и жгут твой лагерь! Но ты и пальцем не тронь милых зеленых малюток. И думать не смей!

«Всемерно рекомендуется политика воздержания от контактов, какие бы то ни было агрессивные или карательные действия строго запрещаются».

Вот она, суть всех этих «ансиблеграмм», и любой дурак сообразил бы, что шлет их не колониальный департамент. Не могли же они там настолько измениться за тридцать лет! Это все были практичные люди, они трезво смотрели на вещи и знали, какова жизнь на неосвоенных планетах. Всякому, кто не спятил от геошока, должно быть ясно, что это фальшивки. Может, они прямо заложены в аппарат — набор ответов на наиболее вероятные вопросы и выдает их аналитическое устройство. Инженеры, правда, вякают, что они бы такое сразу обнаружили. Может, и так. Тогда, значит, эта штука и в самом деле дает мгновенную связь с другой планетой, да только не с Землей. Вот это уж точно! Во второй передатчик ответы вкладывают не люди, а инопланетяне, гуманоиды. Скорее всего таукитяне: аппарат сконструировали они и вообще соображать, подлецы, умеют. Как раз из тех, кто наверняка замышляет прибрать к рукам всю Галактику. Хайнцы, конечно, с ними стакнулись: розовые слюни в ансиблеграммах так и отдают хайнцами. Какая их конечная цель — отгадать, сидя здесь, непорочно. Может, рассчитывают ослабить Землю, втянув ее в эту аферу с Лигой Миров. Ну а что они затеяли тут, на Новом Таити, понять легко: предоставят пискунам разделаться с людьми, и концы в воду. Свяжут по рукам и ногам ансиблевыми фальшивками, и пусть их режут все кому не лень. Гуманоиды помогают гуманоидам — крысы помогают крысам.

А полковник Донг все это кушает. И намерен выполнять приказы. Так прямо и заявил: «Я намерен выполнять приказы Земли, а вы, Дон, вы, черт побери, будете выполнять мои приказы, а на Новой Яве — приказы майора Мухамеда». Дурак он старый, Динг-Донг, но Дэвидсон ему нравится, а он — Дэвидсону. Какие там еще приказы, когда надо спасти человечество от заговора гуманоидов! Но старика все-таки жаль! Дурак, зато мужественный и верный долгу. Не прирожденный предатель, не то что Любов — ханжа, нытик, язык без костей. Вот пусть пискуны его первым и прикончат, умника Раджа Любова, прихвостня гуманоидов.

Некоторые люди, особенно среди азиев и хиндазиев, так и рождаются предателями. Не все, конечно, но некоторые. А некоторые люди рождаются спасителями. Ну так уж они устроены, и никакой особой заслуги тут нет — как в евроафрском происхождении или в крепком телосложении. Он

так на это и смотрит. Если в его силах будет спасти мужчин и женщин Нового Таити, он их спасет, а если нет — он, во всяком случае, сделает, что сможет, и говорить больше не о чем.

А да — женщины! Это, конечно, обидно. Вывезли с Новой Явы всех до единой и больше из Центрвилла не шлют никого. «Пока еще опасно», — ничего умнее в штабе не придумали! А каково ребятам в трех дальних лагерях, это они учитывают? Пискуний не тронь, баб всех забрали в Центрвилл — на что они, собственно, рассчитывают? Ясное дело, ребята озлятся. Ну, да долго это не протянется. Такая идиотская ситуация стабильной быть не может. Если теперь, после отлета «Шеклтона», они не вернутся понемножку в прежнюю колею, капитану Д. Дэвидсону придется легонько их подтолкнуть. Ладно, он готов потрудиться сверх положенного, лишь бы все пришло в норму.

В то утро когда он улетал с Центрального, они отпустили всех рабочих пискунов — иди гуляй! Закатали благородную речугу на ломаном наречии, открыли ворота загона и выпустили всех ручных пискунов — всех до единого: носильщиков, землекопов, поваров, мусорщиков, домашних слуг и служанок, ну всю ораву. И хоть бы один остался! А ведь некоторые служили у своих хозяев с самого основания колонии, четыре земгода! Но они о верности и понятия не имеют! Собака там или шимпанзе хозяйина бы не бросили. А эти еще и до собак не развились, остались на одном уровне с крысами и змеями: умишка только на то и хватает, чтобы обернуться и тяпнуть тебя, едва выпустишь их из клетки. Динг-Донг совсем спятил — выпустил пискунов прямо рядом с городом. Надо было свезти их всех на Свалку: пусть бы передохли там с голоду. Но эти два гуманоида и их говорящий ящик здорово напугали Донга. И если бы дикие пискуны на Центральном задумали устроить резню, как в Лагере Смита, у них теперь хоть отбавляй полезных помощников, которые знают город, знают порядки в нем, знают, где находится арсенал, где выставляются часовые и все прочее. Ну, если Центрвилл спалят, пусть там в штабе сами себе «спасибо» скажут. Собственно говоря, ничего другого они и не заслуживают. За то, что позволили предателям задурить себе голову, за то, что послушали гуманоидов и пренебрег-

ли советами людей, которые знают, что такое пискуны на самом деле.

Никто из штабных молодчиков не слетал, как он, в лагерь, не поглядел на золу, на разбитые машины, на обгоревшие трупы. А труп Ока — там, где они перебили команду лесорубов... У него из обоих глаз торчали стрелы, будто какое-то жуткое насекомое высунуло усики и нюхает воздух. А, черт! Так и мерещится, так и мерещится!

Хоть одно хорошо: что бы там ни требовали фальшивки, а у ребят на Центральном будет для защиты кое-что получше «мелкокалиберных пистолетов». У них есть огнеметы и автоматы. Шестнадцать малых вертолетов оснащены пулеметами, и с них удобно бросать банки с огненным студнем. А пять больших вертолетов несут полное боевое вооружение. Ну, да оно им и не понадобится. Достаточно подняться на малом вертолете над расчищенными районами, отыскать там ораву пискунов с их чертовыми луками и стрелами да забросать банками со студнем, а потом любоваться сверху, как они мечутся и горят. Вот это дело! Представляешь себе их, и в животе теплеет, словно о бабе думаешь или вспоминаешь, как этот пискун, Сэм, бросился на тебя, а ты ему в четыре удара всю морду разворотил. А все эйдетическая память да воображение поярче, чем у некоторых, — никакой его заслуги тут нет, просто так уж он устроен.

По правде сказать, мужчина только тогда по-настоящему и мужчина, когда он переспал с бабой или убил другого мужчину. Конечно, это он не сам придумал, а в какой-то старинной книжке вычитал, но что правда, то правда. Вот почему ему нравится рисовать в воображении такие картины. Хотя, конечно, пискуны — и не люди вовсе.

Новой Явой назывался самый южный из пяти Больших островов, расположенный лишь чуть севернее экватора. Климат там был более жаркий, чем на Центральном и на острове Смита, где температура круглый год держалась приятно умеренная. Более жаркий и гораздо более влажный. В период дождей на Новом Таити они выпадали повсюду, но на Северных островах с неба тихо сеялись мельчайшие капли, и ты не ощущал ни сырости, ни холода. А здесь дождь лил как из ведра и на остров постоянно обрушивались тропические бури, когда не то что работать, а носа на улицу высунуть невозможно. Только надежная

крыша спасает от дождя — ну и лес. До того он тут густ, проклятый, что никакой ураган его не берет. Конечно, со всех листьев капает вода, и оглянуться не успеешь, как ты уже насквозь мокрый, но если зайти в лес поглубже, то и в самый разгар бури даже ветерка не почувствуешь, а чуть выйдешь на опушку — блям! Ветер собьет тебя с ног, облепит жидкой, рыжей глиной, в которую ливень превратил всю расчищенную землю, и ты опрометью бросаешься назад, в лес, где темно, душно и ничего не стоит заблудиться.

Ну и здешний командующий, майор Мухамед — сукин сын, законник! Все только по инструкции; просеки шириной точно в километр, чуть бревна вывезут — сажай фибровник, отпуск на Центральный получай строго по расписанию, галлюциногены выдаются ограниченно, употребление их в служебные часы карается, и так далее, и тому подобное. Только одно в нем хорошо: не бегаешь по каждому поводу радировать в Центр. Новая Ява — его лагерь, и он командует им на свой лад. Приказы из штаб-квартиры он получать ох как не любит. Выполнять-то он их выполняет: пискунов отпустил и все оружие, кроме детских пукалок, сразу запер, едва пришло распоряжение. Но предпочитает обходиться без приказов, а уж без советов и подавно — и от Центра, и от кого другого. Из этих, из ханжей: всегда уверен, что он прав. Самая главная его слабость.

Когда Дэвидсон служил в штабе, ему иногда приходилось заглядывать в личные дела офицеров. Его редкостная память хранила все подобные сведения, и он, например, вспомнил, что коэффициент умственного развития у Мухамеда равнялся 107, а его собственный, между прочим, — 118. Разница в 11 пунктов, но, конечно, старику Му он этого сказать не может, а сам Му в жизни не расчухает, и заставить его слушать нет никакой возможности. Воображает, будто во всем разбирается лучше Дэвидсона, вот так-то.

Собственно говоря, они все здесь поначалу были колючие. Никто на Новой Яве ничего толком про бойню в Лагере Смита не знал — слышали только, что тамошний командующий за час до нападения улетел на Центральный, а потому единственный из всех остался в живых. Ну если так на это поглядеть, действительно, выходит скверно. И можно

понять, почему они сперва на него косились, словно он несчастье приносит, а то и вовсе как на иуду. Но когда узнали его поближе, переменили мнение. Поняли, что он не дезертир и не предатель, а наоборот, всего себя отдает, чтобы уберечь колонию на Новом Таити от предательства. И поняли, что сделать планету безопасной для земного образа жизни можно, только избавившись от пискунов.

Втолковать все это лесорубам было не так уж и трудно. Они этих зеленых крыс никогда особенно не обожали: весь день заставляй их работать да еще всю ночь сторожи! Ну а теперь они поняли, что пискуны — твари не просто пакостные, но и опасные. Когда он рассказал им, что увидел на острове Смита, когда объяснил, как два гуманоида на корабле космолота обдурили штабных, когда втолковал им, что уничтожение землян на Новом Таити — всего лишь малая часть заговора инопланетян против Земли, когда он напомнил им бесстрастные неумолимые цифры (две с половиной тысячи человек против трех миллионов пискунов), вот тогда они по-настоящему поверили в него.

Даже здешний представитель экологического контроля на его стороне. Не то что бедняга Кеес, который злился, что ребята стреляют оленей, а потом сам получил заряд в живот от подлых пискунов.

Этот, Атранда, ненавидит пискунов всем нутром. Можно сказать, помешался на них, точно геошок получил или что похуже. До того боится, как бы пискуны не напали на лагерь, что ведет себя хуже всякой бабы. Но хорошо, что можно рассчитывать на местного специалиста.

Начальника лагеря убеждать смысла нет: сразу видно, что Мухамеда не обломаешь. Косный тип. И настроен против него — из-за того, что произошло в Лагере Смита. Чуть не прямо сказал, что не считает его надежным офицером.

Сукин сын, ханжа, но что он ввел тут такую строгую дисциплину, это хорошо. Вымуштрованных людей, привыкших выполнять приказы, легче прибрать к рукам, чем распущенных умников, и легче превратить в боевой отряд для оборонительных и наступательных действий, когда он возьмет на себя командование. А взять на себя командование придется: Му — неплохой начальник лагеря лесорубов, но солдат никудышный.

Дэвидсон постарался заручиться поддержкой кое-кого из лучших лесорубов и младших офицеров, покрепче привязать их к себе. Он не торопился. Когда он убедился, что им можно по-настоящему доверять, десять человек забрались в полные военных игрушек подвалы клуба, которые старик Му держал под замком, унесли оттуда кое-что, а в воскресенье отправились в лес поиграть.

Дэвидсон еще за несколько недель до этого отыскал там селение пискунов, но поберег удовольствие для своих ребят. Он бы и один справился, только так было лучше. Это сплавливает людей, связывает их узами истинного товарищества. Они просто вошли туда среди бела дня, всех схваченных пискунов вымазали огненным студнем и сожгли, а потом облили крыши нор керосином и зажарили остальных. Тех, кто пытался выбраться, мазали студнем. Вот тут-то и был самый смак: ждать у крысиных нор, пока крысы не полезут наружу, дать им минутку — пусть думают, будто спаслись, а потом подпалить снизу, чтобы горели как факелы. Зеленая шерсть трещала — обхохочешься.

Вообще-то говоря, это было немногим сложнее, чем охотиться на настоящих крыс — чуть ли не единственных диких неохраняемых животных, сохранившихся на матушке-Земле, и все-таки интереснее: пискуны ведь куда крупнее, и к тому же знаешь, что они могут на тебя кинуться, хотя на этот раз сопротивляться никто и не пробовал. А некоторые, вместо того чтобы бежать, даже ложились на спину и закрывали глаза. Прямо тошнит! Ребята тоже так подумали, а одного и вправду стошнило, когда он сжег такого лежащего.

И хоть отпусков ни у кого давно не было, ребята ни одной самки в живых не оставили. Заранее все обговорили и решили, что это уж слишком смахивает на извращение. Пусть у них и есть сходство с женщинами, но они нелюди, и лучше просто полюбоваться, как они горят, а самому остаться чистым. Они все с этим согласились, и никто от своего решения не отступил.

А в лагере ни один не проговорился: даже закадычным друзьям не похвастал. Надежные ребята! Мухамед про эту воскресную экскурсию ничего не узнал. Ну и пусть думает, что его подчиненные все как один пай-мальчики, валят себе лес, а пискунов за километр обходят. Вот так-то.

И не надо ему ничего знать, пока не придет решительный день.

Потому что пискуны нападут. Обязательно. Где-нибудь. Может, тут, а может, на какой-нибудь из лагерей на Кинге или на Центральном. Дэвидсон знал это твердо. Единственный офицер во всей колонии, который знал это с самого начала. Никакой его заслути, просто он знал, что прав. Остальные ему не верили — никто, кроме здешних ребят, которых у него было время убедить. Но и все прочие рано или поздно убедятся, что он не ошибся.

И он не ошибся.

Глава 5

Столкнувшись лицом к лицу с Селвером, он испытал настоящий шок. И в вертолете на обратном пути в Центрвилл из селения среди холмов Любов пытался понять, почему это случилось, пытался проанализировать, какой нерв вдруг сдал. Ведь, как правило, случайная встреча с другом ужаса не вызывает.

Не так-то легко было добиться, чтобы Старшая Хозяйка его пригласила. Все лето он вел исследования в Тунтаре. Он нашел там немало отличных помощников, которые охотно и подробно отвечали на его вопросы, наладил хорошие отношения с Мужским Домом, а Старшая Хозяйка позволяла ему не только беспрепятственно наблюдать жизнь общины, но и принимать в ней участие. Добиться от нее приглашения через посредство бывших рабов, которые оставались в окрестностях Центрвилла, удалось не скоро, но в конце концов она согласилась, так что он отправился туда «по инициативе атшиян», как предписывали новые инструкции. Собственно, если бы он их нарушил, полковник особенно возражать не стал бы, но этого требовала его совесть. А Донг очень хотел, чтобы он отправился туда. Его тревожила «пискунья угроза», и он поручил Любому оценить ситуацию, «посмотреть, как они реагируют на нас теперь, когда мы совершенно не вмешиваемся в их жизнь». Он явно надеялся получить успокоительные сведения, но Любов не мог решить, успокоит ли его доклад полковника Донга или нет.

В радиусе двадцати километров вокруг Центрвилла лес был вырублен полностью и пни все уже сгнили. Теперь это была унылая плоская равнина, заросшая фибровником, который под дождем выглядел лохматым и серым. Под защитой его волосатых листьев набирали силу ростки сумаха, карликовых осин и разного кустарника, чтобы потом, в свою очередь, защищать ростки деревьев. Если эту равнину не трогать, на ней в здешнем мягком дождливом климате за тридцать лет поднимется новый лес, который через сто лет станет таким же могучим, как прежний. Если ее не трогать...

Внезапно внизу снова возник лес — в пространстве, а не во времени: бесконечная разнообразная зелень листьев укрывала волны холмов Северного Сорноля.

Как и большинство землян на Земле, Любов никогда в жизни не гулял под дикими деревьями, никогда не видел леса, а только парки и городские скверы. В первые месяцы на Атши лес угнетал его, вызывал тревожную неуверенность — этот бесконечный трехмерный лабиринт стволов, ветвей и листьев, окутанный вечным буровато-зеленым сумраком, вызывал у него ощущение удушья. Бесчисленное множество соперничающих жизней, которые, толкая друг друга, устремлялись вширь и вверх к свету, тишина, слагавшаяся из мириад еле слышных, ничего не значащих звуков, абсолютное растительное равнодушие к присутствию разума — все это тяготило его, и, подобно остальным землянам, он предпочитал расчистки или открытый морской берег. Но мало-помалу лес начал ему нравиться. Госс поддразнивал его, называл господином Гиббоном. Любов и правда чем-то напоминал гиббона: круглое смуглое лицо, длинные руки, преждевременно поседевшие волосы. Только гиббоны давно вымерли. Но нравился ему лес или нет, как специалист по врасу он обязан был уходить туда в поисках врасу. И теперь, четыре года спустя, он чувствовал себя среди деревьев как дома, больше того, — пожалуй, нигде ему не было так легко и спокойно.

Теперь ему нравились и названия, которые атшияне давали своим островам и селениям, звучные двусложные слова: Сорноль, Тунтар, Эшрет, Эшсен (на его месте вырос Центрвилл), Эндтор, Абтан, а главное — Атши, слово, обозначавшее и «лес», и «мир». Точно так же слово «земля» на земных языках обозначало и почву, и планету — два смысла

и единый смысл. Но для атшиян почва, земля не была тем, куда возвращаются умершие и чем живут живые, — основой их мира была не земля, а лес. Землянин был прахом, красной глиной. Атшиянин был веткой и корнем. Они не вырезали своих изображений из камня — только из дерева.

Он посадил вертолет на полянке севернее Тунтара и направился туда, минуя Женский Дом. Его обдало острыми запахами атшийского селения — древесный дым, копченая рыба, ароматические травы, пот другой расы. Воздух подземного жилища, куда землянин мог заползти лишь с трудом, представлял собой невероятную смесь углекислого газа и разнообразной вони. Любовь провел немало упоительно интеллектуальных часов, скорчившись в три погибели и задыхаясь в смрадном полумраке Мужского Дома Тунтара. Но на этот раз вряд ли стоило надеяться, что его пригласят туда.

Разумеется, тунтарцы знают о том, что произошло в Лагере Смита полтора месяца назад. И конечно, узнали об этом почти немедленно — вести облетают острова с поразительной быстротой, хотя и не настолько быстро, чтобы можно было всерьез говорить о «таинственной телепатической силе», в которую так охотно верят лесорубы. Знают они и о том, что тысяча двести рабов в Центрвилле были освобождены вскоре после резни в Лагере Смита, и Любовь согласился с опасениями полковника Донга, что аборигены сочтут второе событие следствием первого. Это действительно, как выразился полковник Донг, «могло создать неверное впечатление». Но что за важность! Важно другое — рабов освободили. Исправить причиненное зло было невозможно, но оно хотя бы осталось в прошлом. Можно начать заново: аборигенов не будет больше угнетать тягостное недоумение, почему ловеки обходятся с людьми как с животными, а он освободится от жестокой необходимости подыскивать никого не убеждающие объяснения и от грызущего ощущения непоправимой вины.

Зная, как они ценят откровенность и прямоту, когда дело касается чего-либо страшного или неприятного, он ждал, что тунтарцы будут обсуждать с ним случившееся — торжествуя или виновато, радуясь или растерянно. Но никто не говорил с ним об этом. С ним вообще почти никто не говорил.

Он прилетел в Тунтар под вечер, что в земном городе соответствовало бы утренней заре. Вопреки убеждению колонистов, которые, как это часто бывает, предпочитали выдумки реальным фактам, атшияне спали, и спали по-настоящему, но физиологический спад у них наступал днем, между полуднем и четырьмя часами, а не между двумя и пятью часами ночи, как у землян. Кроме того, в их суточном цикле было два пика повышения температуры и повышенной жизнедеятельности — в рассветных и в вечерних сумерках. Большинство взрослых спало по пять-шесть часов в сутки, но с перерывами, а опытные сновидцы обходились двумя часами сна. Вот почему люди, считавшие краткие периоды как обычного, так и парадоксального сна всего лишь ленью, утверждали, будто аборигены вообще никогда не спят. Думать так было гораздо проще, чем разбираться, что происходит на самом деле. И в эту пору Тунтар только-только оживлялся после предвечерней дремоты.

Любов заметил, что среди встречаемых он многих видит впервые. Они оглядывались на него, но ни один к нему не подошел. Это были просто тени, мелькавшие на других тропинках в полутьме под могучими дубами. Наконец он увидел знакомое лицо — по тропинке навстречу ему шла Шеррар, двоюродная сестра Старшей Хозяйки, бестолковая старушонка, которая в селении ничего не значила. Она вежливо с ним поздоровалась, но не смогла — или не захотела — внятно ответить на его расспросы о Старшей Хозяйке и двух его обычных собеседниках: Эгате, хранителе сада, и Тубабе, Сновидце. Старшая Хозяйка сейчас очень занята, и про какого Эгата он спрашивает? Наверное, про Гебана? Ну а Тубаб, может, тут, а может, и не тут. Она буквально вцепилась в Любова, и никто больше к нему не подходил. Всю дорогу через поля и рощи Тунтара она ковыляла рядом с ним, все время на что-то жалуясь, а когда они приблизились к Мужскому Дому, сказала:

— Там все заняты.

— Ушли в сны?

— Откуда мне знать? Иди-ка, Любов, иди посмотри... — Она знала, что он всегда просит что-нибудь ему показать, но не могла придумать, чем бы его заинтересовать, чтобы увести отсюда. — Иди посмотри сети для рыбы, — закончила она неуверенно.

Проходившая мимо девушка, одна из молодых охотниц, посмотрела на него — это был хмурый взгляд, полный

враждебности. Так на него еще никто из атшиян не смотрел, кроме разве что малышей, испугавшихся его роста и безволосого лица. Но девушка не была испугана.

— Ну хорошо, пойдем, — сказал он Шеррар.

Иного выхода, кроме мягкости и уступчивости, у него нет, решил он. Если у атшиян действительно вдруг возникло чувство групповой враждебности, он должен смириться с этим и просто попытаться показать им, что он по-прежнему их верный и надежный друг.

Но как могли столь мгновенно измениться их мироощущение, их мышление, которые так долго оставались стабильными? И почему? В Лагере Смита воздействие было прямым и нестерпимым: жестокость Дэвидсона способна вынудить к сопротивлению даже атшиян. Но это селение, Тунтар, земляне никогда не трогали, его обитателей не уводили в рабство, их лес не выжигали и не рубили. Правда, здесь бывал он, Любов, — антропологу редко удается не бросить собственную тень на картину, которую он рисует, — но с тех пор прошло больше двух месяцев. Они знают, что случилось в Лагере Смита, у них поселились беженцы, бывшие рабы, которые, конечно, рассказывают о том, чего они натерпелись от землян. Но могут ли известия из дальних мест, слухи и рассказы с такой силой воздействовать на тех, кто узнает о случившемся только из вторых рук, чтобы самая сущность их натуры радикально изменилась? Ведь отсутствие агрессивности заложено в атшиянах очень глубоко: и в их культуре, и в структуре их общества, и в их подсознании, которое они называют «явью снов», и, может быть, даже в физиологии. То, что зверской жестокостью можно спровоцировать атшиянина на попытку убить, он знает: он был свидетелем этого — один раз. Что столь же невыносимая жестокость может оказать такое же воздействие на разрушенную общину, он вынужден поверить — это произошло в Лагере Смита. Но чтобы рассказы и слухи, пусть даже самые страшные и ошеломляющие, могли возмутить нормальную общину атшиян до такой степени, что они начали действовать наперекор своим обычаям и мировоззрению, полностью отступив от привычного образа жизни, — в это он поверить не способен. Это психологически несостоятельно. Тут недостает какого-то фактора, о котором он ничего не знает.

В ту секунду когда Любов поравнялся со входом в Мужской Дом, оттуда появился старый Тубаб, а за ним — Селвер.

Селвер выбрался из входного отверстия, выпрямился и на мгновение зажмурился от приглушенного листвою, затуманенного дождем дневного света. Он поднял голову, и взгляд его темных глаз встретился со взглядом Любова. Не было сказано ни слова. Любова пронизал страх.

И теперь, в вертолете, на обратном пути, анализируя причину шока, он спрашивал себя: «Откуда этот испуг? Почему Селвер вызвал у меня страх? Безотчетная интуиция или всего лишь ложная аналогия? И то и другое равно иррационально».

Между ними ничего не изменилось. То, что Селвер сделал в Лагере Смита, можно оправдать. Да и в любом случае это ничего не меняло. Дружба между ними слишком глубока, чтобы ее могли разрушить сомнения. Они так увлеченно работали вместе, учили друг друга своему языку — и не только в буквальном смысле. Они разговаривали с абсолютной откровенностью и доверием. А его любовь к Селверу подкреплялась еще и благодарностью, которую испытывает спасший к тому, чью жизнь ему выпала честь спасти.

Собственно говоря, до этой минуты он не отдавал себе отчета, как дорог ему Селвер и как много значит для него эта дружба. Но был ли его страх страхом за себя — опасением, что Селвер, познавший расовую ненависть, отвернется от него, отвергнет его дружбу, что для Селвера он будет уже не «ты», а «один из них»?

Этот первый взгляд длился очень долго, а потом Селвер медленно подошел к Любому и приветливо протянул к нему руки.

У лесных людей прикосновение служило одним из главных средств общения. У землян прикосновение в первую очередь ассоциируется с угрозой, с агрессивными намерениями, а все остальное практически сводится к формальному рукопожатию или ласкам, подразумевающим тесную близость. У атшихян же существовала сложнейшая гамма прикосновений, несущих коммуникативный смысл. Ласка, как сигнал и ободрение, была для них так же необходима, как для матери и ребенка или для влюбленных, но она заключала в себе социальный элемент, а не просто воплощала материнскую или сексуальную любовь. Ласковые прикосновения входили в систему языка, были упорядочены и формализованы, но при этом могли бесконечно варьироваться. «Они все время лапаются!» — презрительно

морились те колонисты, которые привыкли любую человеческую близость сводить только к эротизму, грабя самих себя, потому что такое восприятие обедняет и отравляет любое духовное наслаждение, любое проявление человеческих чувств: слепой гаденький Купидон торжествует победу над великой матерью всех морей и звезд, всех листьев на всех деревьях, всех человеческих движений — над Венерой-Родительницей...

И Селвер, протянув руки, сначала потряс руку Любова по обычаю землян, а потом поглаживающим движением прижал ладони к его локтям. Он был почти вдвое ниже Любова, что затрудняло жесты и придавало им неуклюжесть, но в прикосновении этих маленьких, хрупких, одетых зеленым мехом рук не было ничего робкого или детского. Наоборот, оно ободряло и успокаивало. И Любков очень ему обрадовался.

— Селвер, как удачно, что ты здесь! Мне необходимо поговорить с тобой.

— Я сейчас не могу, Любков.

Его голос был мягким и ласковым, но надежда Любова на то, что их дружба осталась прежней, сразу рухнула. Селвер изменился. Он изменился радикально — от самого корня.

— Можно я прилечу еще раз, чтобы поговорить с тобой, Селвер? — настойчиво сказал Любков. — Для меня это очень важно...

— Я сегодня уйду отсюда, — ответил Селвер еще мягче, но отнял ладони от локтей Любова и отвел глаза.

Этот жест в буквальном смысле слова обрывал разговор. Вежливость требовала, чтобы Любков тоже отвернулся. Но это значило бы остаться в пустоте. Старый Тубаб даже не поглядел в его сторону, селение не пожелало его заметить. И вот теперь — Селвер, который был его другом.

— Селвер, эти убийства в Келм-Дева... может быть, ты думаешь, что они встали между нами? Но это не так. Может быть даже, они нас сблизили. А твои соплеменники все освобождены, и, значит, эта несправедливость тоже нас больше не разделяет. Но если она стоит между нами, как всегда стояла, так я же... я все тот же, каким был раньше, Селвер.

Атшиянин словно не услышал. Его лицо с большими глубоко посаженными глазами, сильное, изуродованное шрамами, в маске шелковистой короткой шерсти, которая

совершенно точно следовала его контурам и все же смазывала их, это лицо хмуро и упрямо отворачивалось от Любова. Вдруг Селвер оглянулся, словно против воли:

— Любовь, тебе не надо было сюда прилетать. И уезжай из Центра не позже чем через две ночи. Я не знаю, какой ты. Лучше бы мне было никогда тебя не встречать.

И он ушел, шагая упруго и грациозно, словно длинноногая кошка, мелькнул зеленым проблеском среди темных дубов Тунтара и исчез. Тубаб медленно пошел за ним следом, так и не взглянув на Любова. Дождь легкой пылью беззвучно сеялся на дубовые листья, на узкие тропки, ведущие к Мужскому Дому и к речке. Только внимательно вслушиваясь, можно было уловить музыку дождя, слишком многоголосую, чтобы ее воспринять, — единый бесконечный аккорд, извлекаемый из струн всего леса.

— Селвер-то бог, — сказала старая Шеррар. — А теперь иди посмотри сети.

Любов отклонил ее приглашение. Остаться было бы невежливо и недипломатично, да и во всяком случае слишком для него тяжело.

Он пытался убедить себя, что Селвер отвернулся не от него — Любова, но от землянина. Но это не составляло никакой разницы и не могло служить утешением.

Он всегда испытывал неприятное удивление, вновь и вновь убеждаясь, насколько он раним и какую боль испытывает от того, что ему причиняют боль. Он стыдился такой подростковой чувствительности — пора бы уж стать более толстокожим.

Он простился со старушкой, чей зеленый мех сверкал и серебрился дождевой пылью, и она с облегчением вздохнула. Нажимая на стартер, он невольно улыбнулся при виде того, как она ковыляет к деревьям, подпрыгивая от спешки, словно лягушонок, ускользнувший от змеи.

Качество — это важное свойство, но не менее важно и количество — соотношение размеров. У нормального взрослого тот, кто много меньше его, может вызвать высокомерие, презрительную снисходительность, нежность, желание защитить и опекать или желание дразнить и мучить, но любая из этих реакций будет нести в себе элемент отношения взрослого к ребенку, а не к другому взрослому. Если к тому же такой малыш покрыт мягким мехом, возникает реакция, которую Любовь мысленно назвал «реакцией на плюшевого мишку». А из-за ласковых прикосновений,

входивших в систему общения атшиян, она была вполне естественной, хотя по сути неоправданной. И, наконец, неизбежная «реакция на непохожесть» — подсознательное отталкивание от людей, которые выглядят непривычно.

Но помимо всего этого, атшияне, как и земляне, порой попросту выглядели смешно. Некоторые действительно немного смахивали на лягушек, сов, мохнатых гусениц. Шеррар была не первой старушкой, спина которой вызывала у Любова улыбку...

«В том-то и беда колонии, — думал он, взлетая и глядя, как Тунтар и его облетевшие плодовые сады тонут в море дубов. — У нас нет старух. Да и стариков тоже, если не считать Донга, но и ему не больше шестидесяти. А ведь старухи — явление особое: они говорят то, что думают. Атшиянами управляют старухи — в той мере, в какой у них вообще существует управление. Интеллектуальная сфера принадлежит мужчинам, сфера практической деятельности — женщинам, а этика рождается из взаимодействия этих двух сфер. В этом есть своя прелесть, и такое устройство себя оправдывает — во всяком случае у них. Вот бы департамент догадался вместе с этими пышногрудыми соблазнительными девицами прислать еще двух-трех бабушек! Например, та девочка, с которой я ужинал позавчера: как любовница очаровательна и вообще очень мила, но — Боже мой! — она ведь еще лет сорок не скажет мужчине ничего дельного и интересного...»

И все это время за мыслями о старых женщинах и о молодых женщинах пряталось потрясение, интуитивная догадка, никак не желавшая всплыть на поверхность.

Надо выяснить это для себя до возвращения в штаб.

Селвер... Так что же Селвер?

Да, он, конечно, видит, что Селвер — ключевая фигура. Но почему? Потому ли, что близко его знает, или потому, что в его личности кроется особая сила, которую он, Любов, не оценил — во всяком случае сознательно?

Нет, неправда. Он очень скоро понял исключительность Селвера. Тогда Селвер был Сэмом, слугой трех офицеров, живших вместе во временке. Бентон еще хвастал, какой у них хороший пискун и как отлично они его выдрессировали.

Многие атшияне, и особенно сновидцы из Мужских Домов, не могли приспособить свою двойную систему сна к земной. Если для нормального сна они вынуждены были

использовать ночь, это нарушало ритм парадоксального сна, двадцатиминутный цикл которого, определявший их жизнь и днем и ночью, никак не укладывался в земной рабочий день. Стоит научиться видеть сны наяву, уравнивая свою психику не на одном только узком лезвии разума, но на двойной опоре разума и сновидений, стоит обрести такую способность, и она остается у вас навсегда: разучиться уже невозможно, как невозможно разучиться мыслить. А потому очень многие обращенные в рабство мужчины утрачивали ясность сознания, тупели, замыкались в себе, даже впадали в кататоническое состояние. Женщины, растерянные, удрученные, проникались вялым и угрюмым безразличием, которое обычно для тех, кто внезапно лишился свободы. Легче приспосабливались мужчины, так и не ставшие сновидцами или ставшие ими недавно. Они усердно трудились на лесоразработках или из них выходили умелые слуги. К этим последним относился Сэм — добросовестный безликий слуга, повар, прачка, дворецкий, а заодно и козел отпущения для трех своих хозяев. Он научился быть невидимым и неслышимым. Любовь забрал Сэма к себе для получения этнологических сведений и благодаря странному внутреннему сходству между ними сразу же завоевал его доверие. Сэм оказался идеальным источником этнологической информации: он был глубоко осведомлен в обычаях своего народа, понимал их внутренний смысл и легко находил пути, чтобы истолковать их, наставить в них Любова, перекидывая мост между двумя языками, между двумя культурами, между двумя видами рода «человек».

Любов уже два года странствовал, изучал, расспрашивал, наблюдал, но так и не сумел найти ключа к психологии атшиян. Он даже не знал, где искать замок. Он изучал систему сна атшиян и не мог нащупать никакой системы. Он присоединял бесчисленные электроды к бесчисленным пушистым зеленым головам и не находил ни малейшего смысла в привычных бегущих линиях — в кривых, зубцах, альфах, дельтах и тэтах, которые запечатлевались на графиках. Только благодаря Селверу он наконец понял смысл атшийского слова «сновидение», означавшего, кроме того, «корень», и получил таким образом из его рук ключ к вратам в царство лесных людей. Именно на энцефалограмме Селвера он впервые осознанно рассматривал необычные импульсы мозга, «уходящего в сон». Эту фазу нельзя было назвать ни сном, ни бодрствованием, и со снами землян

она сопоставлялась примерно так же, как Парфенон с глинобитной хижинкой — суть одна, но совсем иная сложность, качество и соразмерность.

Ну так что же? Что же еще?

Селвер легко мог бы уйти в лес. Но он оставался — сначала как слуга, а потом (благодаря одной из немногих привилегий, которые давало Любому его положение специалиста) как научный ассистент — что, впрочем, не мешало запереть его на ночь вместе с остальными пискунами в загоне («помещении для добровольно завербованных автотонных рабочих»). «Давай я увезу тебя в Тунтар, и мы будем продолжать наши занятия там, — предложил Любому, когда в третий раз говорил с Селвером. — Ну для чего тебе оставаться здесь?» Селвер ответил: «Здесь моя жена Теле». Любому попытался добиться ее освобождения, но она работала в штабной кухне, а командовавшие там сержанты ревниво относились ко всякому вмешательству «начальничков» и «специалов». Любому приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы они не выместили свою злость на атшиянке. И Теле, и Селвер, казалось, готовы были терпеливо ждать часа, когда они сумеют вместе бежать или вместе получают свободу. Пискуны разного пола содержались в разных половинах загона, полностью изолированных друг от друга (почему — никто толком объяснить не мог), и муж с женой виделись редко. Любому, который жил один, иногда удавалось устраивать им свидание у себя в коттедже на северной окраине поселка. Когда Теле возвращалась после одного такого свидания в штаб, она попала на глаза Дэвидсону и, по-видимому, привлекла его внимание хрупкостью и пугливой грациозностью. Вечером он требовал ее в свой коттедж и изнасиловал.

Возможно, ее убила физическая травма, а может быть, она оборвала свою жизнь силой самовнушения — на это бывали способны и некоторые земляне. В любом случае ее убил Дэвидсон. Подобные убийства случались и раньше. Но так, как поступил Селвер на второй день после ее смерти, не поступал еще ни один атшиянин.

Любому застал только самый конец. Он снова вспомнил крики, вспомнил, как опрометью бежал по Главной улице под палящим солнцем, вспомнил пыль, плотное людское кольцо... Драка длилась минут пять — долгое время, если дерутся насмерть. Когда Любому подбежал к ним, Селвер, ослепленный собственной кровью, был уже игрушкой в ру-

ках Дэвидсона, но все-таки он встал и снова бросился на капитана — не в яростном безумии, но с холодным бесстрашием полного отчаяния. Он падал и вставал. И, напуганный этим страшным упорством, обезумел от ярости Дэвидсон — швырнув Селвера на землю ударом в скулу, он шагнул вперед и поднял ногу в тяжелом ботинке, чтобы раздробить ему голову. И вот в эту секунду в круг ворвался Любов. Он остановил Дэвидсона — человек десять, с интересом наблюдавшие за дракой, успели устать от этого избиения и поддерживали Любова. С тех пор он возненавидел Дэвидсона, а Дэвидсон возненавидел его, потому что он встал между убийцей и смертью убийцы.

Ибо убийство — это всегда самоубийство, но, в отличие от всех тех, кто *кончает* жизнь самоубийством, убийца всегда стремится убивать себя снова, и снова, и снова.

Любов подхватил Селвера на руки, почти не чувствуя его веса. Изуродованное лицо прижалось к его плечу, и кровь промочила рубашку насквозь. Он унес Селвера к себе в коттедж, перебинтовал его сломанную руку, обработал, как умел, раны на лице, уложил в собственную постель и ночь за ночью пытался разговаривать с ним, пытался разрушить стену горя и стыда, которой тот окружил себя. Конечно, все это было прямым нарушением правил и инструкций.

О правилах и инструкциях никто ему не напоминал. Зачем? Он и так знал, что в глазах офицеров колонии окончательно теряет всякое право на уважение.

До этого случая он старался не восстанавливать против себя штаб и протестовал только против явных жестокостей по отношению к аборигенам, стараясь убеждать, а не требовать, чтобы не утратить хотя бы той жалкой власти и влияния, какие были сопряжены с его должностью. Воспрепятствовать эксплуатации атшиян он не мог. Положение было гораздо хуже, чем он представлял себе, отправляясь сюда, когда в его распоряжении были только теоретические сведения. И от него зависело так мало! Его доклады департаменту и комиссии по соблюдению Колониального кодекса могли — после пятидесяти четырех лет пути туда и обратно — возыметь какое-то действие. Земля даже могла решить, что открытие Атши для колонизации было ошибкой. И уж лучше через пятьдесят четыре года, чем никогда! А если он восстановит против себя здешнее начальство, его доклады будут пропускать только частично или вовсе не пропускать, и тогда уж надежды не останется никакой.

Но теперь гнев заставил его забыть про тактику осторожности. К черту их всех, раз, по их мнению, заботясь о своем друге, он оскорбляет матушку-Землю и предает колонию! Если к нему прилипнет клочок Пискуний Приспешник, ему станет еще труднее защищать атшиян, но он был не в силах поставить теоретическую общую пользу выше спасения Селвера, который без него неминуемо погиб бы. Ценой предательства друга нельзя спасти никого. Дэвидсон, которого вмешательство Любова и синяки, полученные от Селвера, ввергли в совершенно необъяснимую ярость, твердил всем и каждому, что еще прикончит взбесившегося пискуна, и, несомненно, при первом удобном случае привел бы свою угрозу в исполнение. И Любков в течение двух недель не отходил от Селвера ни на минуту, а потом на вертолете увез его на западное побережье, в селение Бротер, где жили его родичи.

За помощь рабу в победе никаких наказаний предусмотрено не было, поскольку атшияне были рабами не по имени, а лишь на деле — назывались же они Рабочим корпусом аборигенов-добровольцев. Любков не получил даже устного выговора, однако с этого времени кадровые офицеры окончательно перестали ему доверять, и даже его коллеги из специальных служб — ксенобиолог, координаторы сельского и лесного хозяйства, экологи — разными способами дали ему понять, что он вел себя неразумно, по-донкихотски или как последний идиот. «Неужели вы рассчитывали, что будут одни розы?» — раздраженно спросил Госсей. «Нет, я не думал, что тут будут розы», — отрезал он тогда, а Госсей продолжал: «Не понимаю специалистов по врасу, которые по своей воле едут служить на планеты, открытые для колонизации! Вы же знаете, что народность, которую вы собираетесь изучать, будет ассимилирована, а возможно, и полностью уничтожена. Это объективная реальность. Такова человеческая природа, и уж вы-то должны знать, что изменить ее вам не под силу. Так зачем же ставить себя перед необходимостью наблюдать этот процесс? Любовь к самоистязанию?» А он крикнул: «Я не знаю, что вы называете человеческой природой! Может быть, именно она требует описывать то, что мы уничтожаем. И разве экологу много легче?» Госсей пропустил это мимо ушей. «Ну ладно, составляйте свои описания. Но держитесь в стороне. Зоолог, изучающий крысиное общество, не вмешивается и не спасает своих любимцев, если они подвергаются нападению!» И вот

тут он сорвался. Этого он стерпеть не мог. «Да, конечно, — ответил он. — Крыса может быть любимицей, но не другом. А Селвер — мой друг. Если на то пошло, он — единственный человек на планете, которого я считаю своим другом!» Это глубоко обидело беднягу Госсе, которому нравилось играть роль опекуна и наставника, и никому никакой пользы не принесло. Тем не менее это была истина. А в истине обретаешь свободу... «Я люблю Селвера, я уважаю его, я спас его, я страдал вместе с ним, я боюсь его. Селвер — мой друг».

А Селвер-то — бог!

Зеленая старушонка произнесла эти слова так, словно говорила о чем-то общеизвестном, так, как сказала бы, что такой-то — охотник. «Селвер — ша'аб». Но что, собственно, значит «ша'аб»? Многие слова женской речи, повседневного языка атшиян, были заимствованы из мужской речи — языка, одинакового во всех общинах, и эти слова часто не только бывали двухсложными, но и имели двойной смысл. Точно у монет — орел и решка. «Ша'аб» значит «бог», или «дух-покровитель», или «могучее существо». Однако у него есть и совсем другое значение, но какое же?

К этому времени Любов уже успел вернуться в свой коттедж, и ему достаточно было снять с полки словарь, который они с Селвером составили ценой четырех месяцев изнурительной, но удивительно дружной работы. Ну да, конечно: «ша'аб» — переводчик.

Слишком уж укладывается в схему слишком уж противоположный смысл.

Связаны ли эти два значения? Двойной смысл подобных слов довольно часто имел внутреннюю связь, однако не настолько часто, чтобы это можно было считать правилом. Но если бог — переводчик, что же он переводит? Селвер действительно оказался талантливым толмачом, но этот дар нашел применение только благодаря тому, что на планете появился язык, чужой для ее обитателей, — обстоятельство новое и непредвиденное. Может быть, ша'аб переводит язык сновидений и философии, мужскую речь на повседневный язык? Но это делают все сновидцы. Или же он — тот, кто способен перенести в реальную жизнь пережитое в сновидении? Тот, кто служит соединительным звеном между явью снов и явью мира? Атшияне считают их двумя равноправными реальностями, но связь между ними, хотя и решающе важная, остается неясной. Звено — тот, кто

способен облекать в слова образы подсознания. «Говорить» на этом языке означает действовать. Сделать что-то новое. Изменить что-то или измениться самому — радикально, от корня. Ибо корень — это сновидение.

И такой переводчик — бог. Селвер добавил к речи своих соплеменников новое слово. Он совершил новое действие. Это слово, это действие — убийство. Только богу дано провести такого пришельца, как Смерть, по мосту между явью и явью.

Но научился ли он убивать себе подобных в снах горя и гнева или его научило увиденное наяву поведение чужаков? Говорил ли он на своем языке или на языке капитана Дэвидсона? То, что словно бы коренилось в его собственных страданиях и выражало перемену в его собственном существе, на самом деле могло быть заразой, чумой с другой планеты и, возможно, несло его соплеменникам не обновление, а гибель.

Вопрос «Что я мог бы сделать?» был внутренне чужд Раджу Любову. Он всегда избегал вмешиваться в дела других людей — этого требовали и его характер, и каноны его профессии. Как специалист он должен был установить, что именно эти люди делают, а дальше — пусть как сами знают. Он предпочитал, чтобы просвещали его, а не просвещать самому, предпочитал искать факты, а не Истину с большой буквы. Но даже и тот, кто полностью лишен миссионерских склонностей, если только он не делает вид, будто полностью лишен и эмоций, порой вынужден выбирать между действием и бездействием. Вопрос «Что делают они?» внезапно превращается в «Что делаем мы?», а затем в «Что должен делать я?»

Он знал, что для него настала минута такого выбора, хотя и не отдавал себе ясного отчета в том, почему ему предложен выбор и какой именно.

Теперь он больше ничем не мог содействовать спасению атшихан: Лепеннон, Ор и ансамбль уже сделали гораздо больше, чем успел бы сделать он за всю свою жизнь. Инструкции, поступавшие с Земли по ансамблю, были абсолютно четкими, и полковник Донг строго их придерживался, хотя руководители лесоразработок и настаивали, что выполнять их не следует. Он был честным и добросовестным офицером, а кроме того, «Шеклтон» вернется и проверит, как выполняются приказы. С появлением ансамбля, этой «та-

china ex machina»*, прежней уютной колониальной автономии пришел конец. Теперь донесения на Землю обрели реальное значение, и человек нес ответственность за свои поступки еще при жизни. Отсрочки в пятьдесят четыре года больше не существовало. Колониальный кодекс утратил статичность. Лига Миров может в любой момент принять решение, и колония будет ограничена одним островом, или будет запрещена рубка деревьев, или будет поощряться истребление аборигенов — как знать? Директивные указания Земли пока еще не позволяли догадаться, как функционирует Лига и какой будет ее политика. Донга тревожил избыток возможностей, но Любовь ему радовался. В разнообразии заключена жизнь, а где есть жизнь, там есть и надежда — таким было его кредо, бесспорно весьма скромное.

Колонисты оставили атшиян в покое, а те оставили в покое колонистов. Вполне терпимое положение вещей, и нарушать его без нужды не стоит. А нарушить его, пожалуй, может только страх.

Атшияне, конечно, не доверяют колонистам, прошлое по-прежнему их возмущает, но страха они как будто испытывать не должны. Ну а паника в Центрвилле, вызванная резней на острове Смита, улеглась, и с тех пор не случилось ничего, что могло бы вновь ее возбудить. Со стороны атшиян больше не было ни одного проявления враждебности, а так как после освобождения рабов все пискуны ушли в леса, прекратилось и постоянное подсознательное воздействие ксенофобии. И колонисты мало-помалу расслабились.

Если сообщить, что в Тунтаре он видел Селвера, это неминуемо встревожит Донга и прочих. Они могут даже попытаться захватить его и предать суду. Колониальный кодекс запрещает привлекать члена одного планетарного сообщества к ответственности по законам другой планеты, однако военный суд такими тонкостями не интересуется. Они вполне способны судить Селвера, признать его виновным и расстрелять. В качестве свидетеля с Новой Явы привезут Дэвидсона. «Ну нет! — подумал Любовь, засовывая словарь на место. — Ну нет!» — и перестал об этом думать. Так он сделал свой выбор, даже не заметив этого.

* Буквально «машина из машины» — перифразировка латинского выражения «*deus ex machina*» — «бог из машины», означающего внезапное и чудодейственное разрешение всех трудностей. (Примеч. пер.)

На следующий день он представил краткий отчет о своей поездке: обстановка в Тунтаре нормальная, его беспрепятственно допустили туда, ему никто не угрожал. Это был весьма успокоительный отчет, и самый неточный в жизни Любова. В нем не упоминалось ни о чем действительно существенном — ни о том, что Старшая Хозяйка к нему не вышла, а Тубаб с ним не поздоровался, ни о появлении там большого числа чужих, ни о выражении лица молодой охотницы, ни о присутствии Селвера... Бесспорно, это последнее он утаил, но в остальном отчет точно следовал фактам, решил Любов. Он опустил только субъективные впечатления, как и полагается ученому. Пока он писал отчет, голова у него раскалывалась от боли, а когда он представил его в штаб, боль стала невыносимой.

Ночью ему без конца что-то снилось, но утром он не мог вспомнить ни одного сна. На вторую ночь после возвращения из Тунтара, проснувшись от истерических воплей сирены и грохота взрывов, он наконец взглянул правде в глаза: он — единственный человек в Центрвилле, который ожидал этого, он — предатель.

Но даже и теперь он не был до конца уверен, что атши-яне действительно напали. Просто в ночном мраке творилось что-то ужасное.

Его коттедж был цел и невредим — возможно, потому, что окружен деревьями, подумал он, выбегая наружу. Центр города горел. Даже бетонный куб штаба внутри весь пылал, точно литейная печь. А там — ансибль, бесценное связующее звено. Пожары полыхали и в той стороне, где находился вертолетный ангар, и на космодроме. Откуда у них взрывчатка? Каким образом сразу вспыхнуло столько пожаров? Все деревянные дома по обеим сторонам Главной улицы горели. Рев огня нарастал, становился все страшнее. Любов побежал туда. Под ногами была вода. От пожарных насосов? И тут же он сообразил, что лопнула водопроводная труба, проложенная до реки Мененд, и вода растекается по земле, пока жуткое воющее пламя пожирает дома. Как они сумели? Куда делась охрана? На космодроме всегда дежурит охрана в джипах... Выстрелы, залпы, автоматная очередь... Вокруг повсюду мелькали маленькие фигуры, но он бежал среди них и почти их не замечал. Поравнявшись с гостиницей, он увидел в дверях девушку. Позади нее плясали огненные языки, но путь на улицу был свободен. И все же она стояла, не двигаясь. Он окликнул ее, потом кинулся

через двор, оторвал ее руки от косяка, в который она на-
мертво вцепилась, и потащил за собой, повторяя негромко
и ласково:

— Иди же, девочка! Ну иди же!

Она наконец послушалась, но слишком поздно. Стена
верхнего этажа, озаренная изнутри огнем, не выдержала
напора рушащейся крыши и медленно наклонилась вперед.
Угли, головни, пылающие стропила вылетели наружу, точ-
но шрапнель. Падающая балка задела Любова горящим
концом и сбила с ног. Он лежал ничком в багровеющем
озере грязи и не видел, как маленькая зеленая охотница
прыгнула на девушку, опрокинула на спину, перерезала
горло. Он ничего не видел.

Глава 6

В эту ночь не была пропета ни одна песня. Только крики и молчание. Когда запылали небесные лодки, Селвер ощутил радость и на глазах у него выступили слезы, но слов не было. Он молча отвернулся, сжимая тяжелый огнемёт, и повел свой отряд назад в город.

Все отряды с запада и с севера вели бывшие рабы, вроде него, — те, кому приходилось служить ловекам в Центре, так что они знали там все дороги и жилища.

В этих отрядах почти никто прежде не видел седений ловеков, а многие и самих ловеков никогда не видели. Они пришли потому, что их вел Селвер, потому, что их гнали плохие сны, и только Селвер знал, как с этими снами совладать. Сотни и сотни мужчин и женщин ждали в глубокой тишине вокруг города, пока бывшие рабы по двое и по трое делали то, что нужно было сделать сначала — разбили главную водопроводную трубу, перерезали провода, которые несли свет от электростанции, проникли в арсенал и унесли оттуда все необходимое. Первые враги, часовые, были убиты быстро и бесшумно, в темноте, с помощью обычного охотничьего оружия — петли, ножа, лука. Динамит, украденный еще вечером из лесного лагеря в пятнадцати километрах к югу, был заложен в арсенале под штабом, дома облиты огненным веществом и подожжены. Тут завывала сирена, забушевал огонь, и ночь исчезла вместе с тишиной. С грохотом, точно от грома и валящихся деревьев, стреляли в основном ловеки — оружием, захваченным в

арсенале, пользовались только бывшие рабы, а остальные предпочли собственные копыя, ножи и луки. Но весь этот шум утонул в оглушительном реве, когда рухнули стены штаба и ангары с небесными лодками. Это взорвался динамит, который заложили и запалили Резван и те, кому пришлось работать в лагерях лесорубов.

В селении в эту ночь было около тысячи семисот ловеков, из них пятьсот самок, так как, по слухам, ловеки свезли сюда всех своих самок. Потому-то Селвер и остальные и решили начать, хотя еще не все люди, которые хотели быть с ними, успели добраться до Сорноля. Почти пять тысяч мужчин и женщин пришли через леса в Эндтор на Общую Встречу, а оттуда — в это место, в эту ночь.

Пожары полыхали все сильнее, и воздух стал тяжелым от запаха гари и крови.

Рот Селвера пересох, в горле саднило, он не мог выговорить ни слова и мечтал о глотке воды. Он вел свой отряд по средней тропе селения ловеков, один из них кинулся ему навстречу — в дымном багровом сумраке он казался огромным. Селвер поднял огнемет и оттянул защелку в ту самую секунду, когда ловец поскользнулся в жидкой грязи и рухнул на колени. Но из огнемета не вырвалась шипящая струя пламени — оно все было истрачено на небесные лодки, стоявшие в стороне от ангаров. Селвер уронил тяжелый баллон. Ловец был без оружия, и он был самцом. Селвер попытался сказать: «Не трогайте его, пусть бежит», но у него не хватило голоса, и двое охотников из Абтанских Полян прыгнули вперед, подняв длинные ножи. Большие безволосые руки взметнулись вверх и вяло опустились. Огромный труп бесформенной грудой преградил им дорогу. Тут, где прежде был центр селения, валялось много других мертвецов. По-прежнему с треском рушились горящие стены, ревел огонь, но остальные звуки затихли.

Селвер с трудом разомкнул губы и хрипло испустил клич сбора, завершающий охоту. Те, кто был с ним, подхватили клич громко и пронзительно. Вдали и вблизи в мутной, смрадной, пронизанной огненными всполохами ночной мгле раздались ответные крики. Вместо того чтобы увести своих людей из селения, Селвер сделал им знак уходить, а сам сошел на полосу грязи между тропой и жилищем, которое сгорело и обрушилось. Он перешагнул через мертвую лавочку и нагнулся над ловеком, прижатым к земле

обугленным бревном. В темноте было трудно разглядеть уткнувшееся в грязь лицо.

Это было несправедливо, ненужно! Почему, когда вокруг столько других мертвецов, ему понадобилось нагнуться над этим? И ведь в темноте он мог бы его не узнать! Селвер повернулся и пошел вслед за своим отрядом, потом бросился назад, приподнял бревно со спины Любова, напрягая все силы, сдвинул его, упал на колени и подсунул ладонь под тяжелую голову. Казалось, что так Любому удобнее лежать, — земля уже не касалась его лица. И Селвер, не вставая с колен, застыл в неподвижности.

Он не спал четверо суток, а в сны не уходил еще дольше — он не помнил, насколько дольше. С тех пор как он ушел из Бротера с теми, кто последовал за ним из Кадаста, он дни и ночи напролет действовал, говорил, обходил селения, составлял планы. В каждом селении он говорил с лесными людьми, объяснял им новое, звал из яви снов в явь мира, готовил то, что произошло в эту ночь, — говорил, без конца говорил и слушал, как говорят другие. И ни минуты молчания, ни минуты одиночества. Они слушали, они слышали и последовали за ним по новой тропе. Они взяли в руки огонь, которого всегда боялись, взяли в свои руки власть над плохими снами и выпустили на врагов смерть, которой всегда страшились. Все было сделано так, как он говорил. Все произошло так, как он сказал. Мужские Дома и жилища ловеков сожжены, их небесные лодки сожжены или разбиты, их оружие украдено или уничтожено, и все их самки перебиты. Пожары догорали, пропахший дымом ночной мрак стал смоляным. Селвер уже ничего не видел вокруг и посмотрел на восток, не занимается ли заря. Стоя на коленях в жидкой грязи среди мертвецов, он думал: «Это сон, плохой сон. Я думал повести его, но он повел меня».

И во сне он почувствовал, что губы Любова шевельнулись, задела его ладонь. Селвер посмотрел вниз и увидел, что глаза мертвого открылись. В них отразилось гаснущее зарево пожаров. Потом он назвал Селвера по имени.

— Любов, зачем ты остался тут? Я ведь говорил тебе, чтобы ты на эту ночь улетел из города, — так сказал во сне Селвер. Или даже крикнул, словно сердясь на Любова.

— Тебя взяли в плен? — спросил Любов еле слышно, не приподняв головы, но таким обычным голосом, что Селверу на миг стало ясно: это не явь сна, а явь мира, лесная ночь. — Или меня?

— Не тебя и не меня, нас обоих — откуда мне знать? Все машины и аппараты сожжены. Все женщины убиты. Мужчинам мы давали убежать, если они хотели бежать. Я сказал, чтобы твой дом не поджигали, и книги будут целы. Любовь, почему ты не такой, как остальные?

— Я такой же, как они. Я человек. Как каждый из них. Как ты.

— Нет. Ты не похож...

— Я такой, как они. И ты такой. Послушай, Селвер. Остановись. Не надо больше убивать других людей. Ты должен вернуться... к своим... к собственным корням.

— Когда твоих соплеменников здесь больше не будет, плохой сон кончится.

— Теперь же... — сказал Любовь и попытался приподнять голову, но у него был перебит позвоночник. Он поглядел снизу вверх на Селвера и открыл рот, чтобы заговорить. Его взгляд скользнул в сторону и устался в другую явь, а губы остались открытыми и безмолвными. Дыхание присвистнуло у него в горле.

Они звали Селвера по имени, много далеких голосов, звали снова и снова.

— Я не могу остаться с тобой, Любовь, — плача, сказал Селвер, не услышал ответа, встал и попробовал убежать. Но сквозь темноту сна он смог двигаться только медленно-медленно, словно по пояс в воде. Впереди шел Дух Ясеня, выше Любова, выше всех других ловеков, высокий, как дерево, — шел и не поворачивал к нему белой маски. На ходу Селвер разговаривал с Любовом.

— Мы пойдем назад, — сказал он. — Я пойду назад. Теперь же. Мы пойдем назад теперь же, обещаю тебе, Любовь!

Но его друг, такой добрый, тот, кто спас его жизнь и предал его сон, Любовь ничего не ответил. Он шел где-то во мраке совсем рядом, невидимый и неслышимый, как смерть.

Группа тунтарцев наткнулась в темноте на Селвера — он брел, спотыкаясь, плакал и что-то говорил, весь во власти сна. Они увели его с собой в Эндтор.

Там два дня и две ночи лежал он, беспомощный и безумный, в наспех сооруженном Мужском Доме — шалаше на речном берегу. За ним ухаживали старики, а люди все приходили и приходили в Эндтор и снова уходили, возвращались на Место Эшсена, которое одно время называлось Центром, хоронили своих убитых и убитых ловеков — своих было более трехсот, тех больше семисот. Около пятисот

ловеков было заперто в бараках загона, который не сожгли, потому что он стоял пустой и в стороне. Примерно стольким же ловекам удалось убежать: часть добралась до лагерей лесорубов на юге, которые нападению не подверглись, остальные притаились в лесу или в Вырубленных Землях, и там их продолжали разыскивать. Некоторых убивали, потому что многие молодые охотники и охотницы все еще слышали только голос Селвера, зовущий: «Убивайте их!» Другие отогнали от себя Ночь Убивания, словно кошмар, словно плохой сон, который нужно понять, чтобы он больше никогда не повторился. И, обнаружив в чаще измученного жаждой, ослабевшего ловека, они были не в силах его убить. И, может быть, он убивал их. Некоторые ловеки собирались вместе. Такие группы из десяти—двадцати ловеков были вооружены топорами для рубки деревьев и пистолетами, хотя зарядов у них почти не было. Их выслеживали, окружали большими отрядами, а потом захватывали, связывали и уводили назад в Эшсен. За два-три дня их переловили всех, потому что эта область Сорноля кишела лесными людьми: ни один старик не помнил, чтобы столько народу собиралось когда-нибудь в одном месте — даже вполосину, даже в десять раз меньше. И люди все еще продолжали приходить из дальних селений, с других островов. А некоторые ушли домой. Захваченных ловеков запирали с остальными в загоне, хотя они там уже еле помещались, а жилища были для них слишком низки и тесны. Их поили, два раза в день задавали им корм, а вокруг день и ночь несли стражу двести вооруженных охотников.

Под вечер после Ночи Эшсена с востока, треща, прилетела небесная лодка и пошла вниз, словно собираясь сесть, а потом взмыла вверх, точно хищная птица, промахнувшись по добыче, и начала кружить над разрушенным причалом небесных лодок, над дымящимися развалинами, над Вырубленными Землями. Резван проследил, чтобы все радио были разбиты, и, возможно, небесную лодку с Кушиля или Ризуэла, где находились три небольших селения ловеков, заставило прилететь сюда именно молчание этих радио. Пленные в загоне выбежали из бараков и что-то кричали лодке всякий раз, когда она, треща, пролетала над ними, и она сбросила в загон что-то на маленьком парашюте, а потом ушла вверх и ее треск замер.

Теперь на Атши остались всего четыре такие крылатые лодки: три на Кушиле и одна на Ризуэле — все маленькие,

поднимающие только четырех ловеков, но с пулеметами и огнеметами, а потому Резван и остальные очень из-за них тревожились, пока Селвер лежал, недостижимый для них, бродя по загадочным тропам другой яви.

В явь мира он вернулся только на третий день — исхудавший, оцепеневший, голодный, безмолвный. Он искупался в реке и поел, а потом выслушал Резвана, Старшую Хозяйку из Берре и остальных, кто был избран руководителями. Они рассказали ему, что происходило в мире, пока он был в снах. Выслушав всех, он обвел их взглядом, и они снова увидели, что он — бог. После Ночи Эшсена многих, точно болезнь, поразили страх и отвращение, и их охватило сомнение. Их сны были тревожными, полными крови и огня, а весь день их окружали незнакомые люди, сотнями, тысячами сошедшие сюда из всех лесов: они собрались тут, не зная друг друга, точно коршуны у падали, и им казалось, что пришел конец всему, что уже никогда ничто не будет прежним, не будет хорошим. Но в присутствии Селвера они вспомнили, ради чего произошло то, что произошло, их смутнение улеглось, и они ждали его слов.

— Время убивать прошло, — сказал он. — Надо, чтобы об этом узнали все. — Он снова обвел их взглядом. — Мне надо поговорить с теми, кто заперт в загоне. Кто у них старший?

— Индюк, Плосконогий, Мокроглазый, — ответил Резван, бывший раб.

— Значит, Индюк жив? Это хорошо. Помоги мне встать, Грета, у меня вместо костей утри...

Походив немного, он почувствовал себя крепче и час спустя отправился с ними в Эшсен, до которого было два часа ходьбы.

Когда они подошли к загону, Резван влез на лестницу, приставленную к стене, и закричал на ломаном языке, которым ловеки объяснялись с рабами:

— Донг, ходи к воротам, быстро-быстро!

В проходах между приземистыми бетонными бараками бродили несколько ловеков. Они закричали на него и начали швыряться земляными комьями. Он пригнулся и стал ждать. Старый полковник не появился, но из барака, хро-мая, вышел Госсес, которого они называли Мокроглазым, и крикнул Резвану:

— Полковник Донг болен, он не может выйти!

— Какой-то болен?

— Болезнь живота. От воды. Что тебе нало?

— Говори-говори! — Резван посмотрел вниз на Селвера и перешел на свой язык. — Владыка-бог, Индюк прячется. С Мокроглазым ты будешь говорить?

— Буду.

— Гос-по-дин Госсе, к калитке! Быстро-быстро!

Калитку приоткрыли ровно настолько, чтобы Госсе сумел протиснуться в узкую щель. Он остался стоять перед ней совсем один, глядя на Селвера и на тех, кто пришел с Селвером, и стараясь не наступать на ногу, поврежденную в Ночь Эшсена. Одет он был в рваную пижаму, выпачканную в грязи и намоченную дождем. Седеющие волосы свисали над ушами и падали на лоб неряшливыми прядями. Хотя он был вдвое выше своих тюремщиков, он старался выпрямиться еще больше и глядел на них твердо, с гневной тоской.

— Что вам надо?

— Нам необходимо поговорить, господин Госсе, — сказал Селвер, которого Любовь научил нормальной человеческой речи. — Я Селвер, сын Ясеня из Эшрета. Друг Любова.

— Да, я тебя знаю. О чем ты хочешь говорить?

— О том, что убивать больше никого не будут, если это обещают ваши люди и мои люди. Вас выпустят, если вы соберете здесь ваших людей из лагерей лесорубов на юге Сорноля, на Кушиле и на Ризуэле и все останетесь тут. Вы можете жить здесь, где лес убит и где растет ваша трава с зернами. Рубить деревья вы больше не должны.

Лицо Госсе оживилось.

— Лагерь вы не тронули?

— Нет.

Госсе промолчал. Селвер несколько секунд следил за его лицом, а потом продолжал:

— Я думаю, в мире ваших людей осталось меньше двух тысяч. Ваших женщин не осталось ни одной. В тех лагерях есть ваше оружие, и вы можете убить многих из нас. Но у нас тоже есть оружие, и нас столько, что всех вы убить не сможете. Я думаю, вы сами это знаете и поэтому не попросили, чтобы небесные лодки привезли вам огнеметы, не попытались перебить часовых и бежать. Это было бы бесполезно: нас ведь правда очень много. Будет гораздо лучше, если вы обменяетесь с нами обещанием: тогда вы сможете спокойно дожидаться, чтобы прилетела одна из ваших боль-

ших лодок, и покинуть на ней мир. Если не ошибаюсь, это будет через три года.

— Да, через три местных года... Откуда ты это знаешь?

— У рабов есть уши, господин Госсе.

Только теперь Госсе посмотрел прямо на него. Потом отвел глаза, передернул плечами, переступил с больной ноги. Снова посмотрел на Селвера и снова отвел глаза.

— Мы уже обещали не причинять вреда никому из ваших людей. Вот почему рабочих распустили по домам. Но это не помогло. Вы не стали слушать...

— Обещали вы не нам.

— Как мы можем заключать какие бы то ни было соглашения или договоры с теми, у кого нет правительства, нет никакой центральной власти?

— Я не знаю. По-моему, вы не понимаете, что такое обещание. То, о котором вы говорите, было скоро нарушено.

— То есть как? Кем? Когда?

— На Ризуэле... на Новой Яве. Четырнадцать дней назад. Ловеки из лагеря в Ризуэле сожгли селение и убили всех, кто там жил.

— Это ложь! Мы все время поддерживали радиосвязь с Новой Явой до самого нападения. Никто не убивал аборигенов ни там, ни где-либо еще!

— Вы говорите ту правду, которую знаете вы, — сказал Селвер. — А я — правду, которую знаю я. Я готов поверить, что вы не знаете об убийствах на Ризуэле, но вы должны поверить моим словам, что убийства были. Остается одно: обещание должно быть дано нам и вместе с нами, и оно не должно быть нарушено. Вам, конечно, надо обсудить все это с полковником Донгом и остальными.

Госсе сделал шаг к калитке, но тут же обернулся и сказал хриплым басом:

— Кто ты такой, Селвер? Ты... это ты организовал нападение? Ты вел своих?

— Да, я.

— Значит, вся эта кровь на твоих руках, — сказал Госсе и с внезапной беспощадной злобой добавил: — И кровь Любова тоже. Он ведь тоже убит. Твой «друг» Любов мертв.

Селвер не понял этого идиоматического выражения. Убийству он научился, но за словами «кровь на твоих руках» для него ничего не стояло. Когда на мгновение его взгляд встретился с белесым ненавидящим взглядом Госсе,

он почувствовал страх. Тошнотную боль, смертный холод. И зажмурился, чтобы отогнать их от себя. Наконец он сказал:

— Любав — мой друг, и потому он не мертв.

— Вы — дети, — с ненавистью сказал Госсе. — Дети, ди-кари. Вы не воспринимаете реальности. Но это не сон, это реальность! Вы убили Любав. Он мертв. Вы убили женщин — женщин! — жгли их заживо, резали, как животных!

— Значит, нам надо было оставить их жить? — сказал Селвер с такой же яростью, как Госсе, но негромко и чуть напевно. — Чтобы вы плодились в трупe мира, как мухи? И уничтожили нас? Мы убили их, чтобы вы не могли дать потомства. Мне известно, что такое «реалист», господин Госсе. Мы говорили с Любавом о таких словах. Реалист — это человек, который знает и мир, и свои сны. А вы — сумасшедшие. На тысячу человек у вас не найдется ни одного, кто умел бы видеть сны так, как их надо видеть. Даже Любав не умел, а он был самым лучшим из вас. Вы спите, вы просыпаетесь и забываете свои сны, потом снова спите и снова просыпаетесь, — и так с рождения до смерти. И вы думаете, что это — существование, жизнь, реальность! Вы не дети, вы взрослые, но вы сумасшедшие. И потому нам пришлось вас убить, пока вы и нас не сделали сумасшедшими. А теперь идите и поговорите о реальности с другими сумасшедшими. Поговорите долго и хорошо!

Часовые открыли калитку, угрожая копьями сгрудившимся за ней ловекам. Госсе вошел в загон — его широкие плечи сгорбились, словно под дождем.

Селвер чувствовал себя бесконечно усталым. Старшая Хозяйка из Берре и еще одна женщина помогали ему идти — он положил руки им на плечи, чтобы не упасть. Греда, молодой охотник, родич его Деревы, начал шутить с ним. Он отвечал, смеялся. Казалось, они бредут назад в Эндтор уже несколько дней.

От усталости он не мог есть, только выпил немного горячего варева и лег у Мужского костра. Эндтор был не селением, а временным лагерем на берегу большой реки, куда приходили ловить рыбу из всех селений, которых было много в окрестных лесах, пока не появились ловеки. Мужского Дома там не построили. Два очага из черного камня и травянистый косогор над рекой, где удобно ставить палатки из шкур и камышовых плетенок, — вот и весь Энд-

тор. Река Мененд, Старшая река Сорноля, без умолку говорила там и в яви мира, и в яви сна.

У костра сидело много стариков. Одних он знал хорошо: они были из Бротера, из Тунтара и из его родного сожженного Эшрета, а других он вовсе не знал, хотя по их глазам и движениям, по их голосам понял, что все это — Владыки-Сновидцы. Пожалуй, столько сновидцев еще никогда не собиралось в одном месте. Он вытянулся во всю длину, подложил ладонь под подбородок и, глядя в огонь, сказал:

— Я назвал ловеков сумасшедшими. Не сумасшедший ли я сам?

— Ты не разбираешь, где одна явь, а где другая, — ответил старый Тубаб, подбрасывая в костер сосновый сук, — потому что ты слишком долго не видел снов и не уходил в сны. А за это приходится расплачиваться тоже очень долго.

— Яды, которые глотают ловеки, действуют примерно так же, как воздержание от сна и от снов, — заметил Хебен, который был рабом в Центрвилле и в Лагере Смита. — Ловеки глотают отраву, чтобы уходить в сны. После того как они ее проглотят, лица у них становятся как у сновидцев. Но они не умеют ни вызывать снов, ни управлять ими, ни плести и лепить, ни выходить из снов. Я видел, как сны подчиняли их, вели за собой. Они ничего не знают о том, что внутри их. Вот и человек, много дней не уходивший в сны, становится таким же. Будь он мудрейшим в своем Доме, все равно он еще долго потом будет иногда становиться сумасшедшим. Он будет подчинен, будет рабом. Он не будет понимать себя.

Глубокий старец, говоривший, как уроженец Южного Сорноля, положил руку на плечо Селвера и, ласково его поглаживая, сказал:

— Пой, наш молодой бог, это принесет тебе облегчение.

— Не могу. Спой для меня.

Старик запел, остальные начали ему подтягивать. Их пронзительные жиденькие голоса, почти лишенные мелодичности, шелестели, точно ветер в камышах Эндтора. Они пели одну из песен Ясеня об изящных резных листьях — как осенью они становятся желтыми, а ягоды краснеют, а потом первый ночной иней серебрит их.

Селвер слушал песню Ясеня, и рядом с ним лежал Любов. Лежа он не казался таким чудовищно высоким и широкоплечим. Позади него на фоне звезд чернели развалины выжженного огнем дома. «Я такой же, как ты», — сказал

он, не глядя на Селвера, тем голосом сна, который пытается обнажить собственную неправду. Сердце Селвера давила тоска, он горевал по своему другу. «У меня болит голова», — сказал Любов обычным голосом и потер шею, как всегда ее тер, и Селвер протянул руку, чтобы коснуться его и утешить. Но в яви мира он был тенью и отблесками огня, а старики пели песню Ясеня — о белых цветках на черных ветках среди резных листьев.

На следующий день ловеки, запертые в загоне, послали за Селвером. Он пришел в Эшсен после полудня и встретился с ними в стороне от загона, под развесистым дубом — лесные люди чувствовали себя неуверенно под бескрайним открытым небом. Эшсен был дубовой рощей, и этот дуб — самый большой из немногих, которые колонисты сохранили, — стоял на косогоре за коттеджем Любова, одним из немногих пощаженных огнем. С Селвером под дуб пришли Резван, Старшая Хозяйка из Берре, Грета из Кадаста и еще девять человек, пожелавших участвовать в переговорах. Их охранял отряд лучников на случай, если ловеки тайком принесут оружие. Но лучники укрылись за кустами и среди развалин вокруг, чтобы ловеки не подумали, что им угрожают. С Госсе и полковником Донгом пришли трое ловеков, которые назывались «офицерами», и еще двое из лесных лагерей. При виде одного из них — Бентона — бывшие рабы стиснули зубы. Бентон имел обыкновение наказывать «ленивых пискунов», подвергая их стерилизации на глазах у остальных.

Полковник исхудал, его кожа, обычно желтовато-коричневая, казалась грязно-серой. Значит, он действительно болен.

— Начать необходимо с того... — сказал он, когда они расположились под дубом (ловеки остались стоять, а лесные люди опустились на корточки или сели на мягкий влажный ковер из прелых дубовых листьев). — Начать необходимо с того, чтобы вы в рабочем порядке определили суть ваших условий и какие они содержат гарантии безопасности для моих подчиненных.

Воцарилось молчание.

— Вы ведь понимаете наш язык? Если не все, то хоть некоторые?

— Да... Но вашего вопроса я не понял, господин Донг.

— Потрудитесь называть меня полковником Донгом!

— В таком случае потрудитесь называть меня полковником Селвером! — В голосе Селвера появилась напевность. Он вскочил на ноги, готовый к состязанию, и в его голове ручьями заструились мотивы.

Однако старый ловец продолжал стоять, огромный, грузный, сердитый, и не собирался принимать вызова.

— Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления от низкорослых гуманоидов, — сказал он. Но губы его дрожали. Он был стар, растерян, унижен.

И предвкушение радости победы угасло в Селвере. В мире больше не оставалось радости, в нем была только смерть. Он снова сел.

— У меня не было намерения оскорбить вас, полковник Донг, — сказал он безучастно. — Не будете ли вы так добры повторить ваш вопрос?

— Я хочу выслушать ваши условия, а затем вы выслушаете наши, и больше ничего.

Селвер повторил то, о чем накануне говорил с Госсе.

Донг слушал с явным нетерпением.

— Да-да. Но вам не известно, что в нашем распоряжении уже три дня есть действующий радиоприемник.

Селвер знал об этом: Резван немедленно проверил, не оружие ли сбросил на парашюте вертолет. Часовые сообщили, что это было радио, и он позволил, чтобы оно осталось у ловцов. Теперь Селвер просто кивнул.

— Мы поддерживаем постоянную связь с двумя лагерями на острове Кинга и с лагерем на Новой Яве, — продолжал полковник. — И если бы мы решили прорваться на свободу, то могли бы без труда это осуществить. Вертолеты доставили бы нам оружие и прикрывали бы наше отступление. Нам достаточно одного огнемета, чтобы проложить себе выход за ограду, а в случае нужды вертолеты могли бы сбросить тяжелые бомбы. Вы, впрочем, ни разу не видели их в действии.

— Если вы прорветесь за ограду, куда вы пойдете дальше?

— Будем придерживаться сути и не затемнять ее побочными или ложными факторами, а суть сводится к тому, что в нашем распоряжении, хотя вы, бесспорно, далеко превосходите нас численностью, остаются четыре лагерных вертолета, которые вам уже не удастся сжечь, потому что теперь их бдительно охраняют круглые сутки, а также достаточное число огнеметов. Таково реальное положение вещей:

особого преимущества нет ни у вас, ни у нас, и мы можем вести переговоры с позиций обоюдного равенства. Разумеется, это временная ситуация. Мы уполномочены в случае необходимости принимать оборонительные полицейские меры, чтобы предотвратить разрастание войны. Кроме того, мы опираемся на огневую мощь Межзвездного флота Земли, который способен разнести в пыль всю вашу планету. Но вам этого не понять, а потому я скажу проще: в настоящий момент мы готовы вести с вами переговоры на основе полного равенства.

У Селвера не хватало терпения слушать его. Он знал, что эта раздражительность — симптом тяжелого душевного состояния, но был не в силах ее сдержать.

— Так говорите же!

— Ну, во-первых, я хочу со всей ясностью указать, что, получив передатчик, мы сразу же предупредили людей в лагерях, чтобы они не доставляли нам оружия и не предпринимали никаких попыток вывезти нас на вертолетах или освободить и тем более не допускали никаких ответных действий...

— Это было разумно. Что дальше?

Полковник Донг начал было гневную отповедь, но тут же смолк, и лицо у него совсем побелело.

— Я хотел бы сесть...

Мимо кучки ловеков Селвер поднялся по косогору, вошел в пустой двухкомнатный коттедж и взял складной стул, стоявший у письменного стола. Перед тем как покинуть окутанную тишиной комнату, он наклонился и прижался щекой к исцарапанной деревянной крышке стола, за которым всегда сидел Любов, когда работал с ним или один. Бумаги Любова еще лежали там. Селвер слегка их погладил. Потом спустился к дубу и поставил стул на влажную от дождя землю. Старый полковник сел, кусая губы и щуря от боли миндалевидные глаза.

— Господин Госсе, может быть, вы будете говорить за полковника? — сказал Селвер. — Он плохо себя чувствует.

— Говорить буду я, — объявил Бентон, выступая вперед, но Донг покачал головой и хрипло пробормотал:

— Пусть Госсе.

Теперь, когда полковник сам не говорил, а только слушал, дело пошло быстрее. Ловеки принимают условия Селвера. Когда будут даны взаимные обещания поддерживать мир, они отзовут остальных своих людей и будут жить все в

одном месте — на расчистке в центре Сорноля, в хорошо орошаемом районе, занимающем площадь около четырех с половиной тысяч квадратных километров. Они обязуются не заходить в леса, лесные люди обязуются не заходить на Вырубленные Земли.

Спор завязался из-за четырех оставшихся вертолетов. Ловеки утверждали, что они им нужны, чтобы перевезти своих людей с других островов на Сорноль. Но машины могли брать только по четыре человека, а каждый полет продолжался несколько часов. Селвер подумал, что пешком ловеки доберутся до Сорноля гораздо быстрее, и предложил перевезти их через проливы на лодках, но оказалось, что ловеки никогда далеко пешком не ходят. Ну хорошо: они могут использовать вертолеты для «операции вывоза», как они выражаются. После этого они их сломают. Сердитый отказ. Свои машины они оберегали ревнивее, чем самих себя. Селвер уступил: они могут оставить вертолеты, если будут летать на них только над Вырубленными Землями и если все оружие будет с них снято и уничтожено. Тут они заспорили, но друг с другом, а Селвер ждал и время от времени повторял свои окончательные условия, потому что в этом он не считал возможным уступить.

— Ну какая разница, Бентон? — дрожащим от слабости и гнева голосом сказал наконец старый полковник. — Неужели вы не понимаете, что использовать это проклятое оружие мы все равно не сможем? Туземцев три миллиона, и они рассеяны по всем этим лесным островам — ни городов, ни важных коммуникаций, ни центрального руководства. Уничтожить с помощью бомб систему партизанского типа невозможно — это было доказано еще в двадцатом веке, когда тот полуостров, откуда я родом, более тридцати лет успешно отражал притязания колониальных держав. А до возвращения корабля у нас вообще нет никакой возможности доказать наше превосходство. Если мы сохраним мелкокалиберное оружие для охоты и обороны, то без остального как-нибудь обойдемся!

Он был их Старший, и в конце концов его мнение взяло верх, как это было бы и в Мужском Доме. Бентон рассердился. Госсе заговорил было о том, что произойдет, если перемирие будет нарушено, но Селвер его перебил:

— Это то, что может быть, а мы еще не кончили с тем, что есть. Ваш Большой Корабль должен вернуться через три года, то есть через три с половиной года по вашему

счету. До этого времени вы тут свободны. Вам будет не очень тяжело. Из Центрвилла мы больше ничего не возьмем, кроме работ Любова, которые я хочу сохранить. У вас остались почти все ваши орудия для рубки деревьев и копания, а если вам мало, то на вашей территории находятся железные рудники Пельделя. Все это, по-моему, ясно. Остается узнать одно: когда Корабль вернется, как они решат поступить с вами и с нами?

— Мы не знаем, — ответил Госсе, а Донг пояснил:

— Если бы вы не разломали в первую очередь ансибль-передатчик, мы могли бы получить такую информацию и, разумеется, наши сообщения повлияли бы на окончательное решение касательно статуса этой колонии, каковое мы и начали бы проводить в жизнь еще до возвращения корабля с Престно. Но из-за вашего бессмысленного вандализма, из-за вашего невежества в отношении ваших же интересов у нас не осталось даже радиопередатчика с радиусом действия больше нескольких сотен километров.

— Что такое ансибль? — Это слово, уже несколько раз повторявшееся во время переговоров, было для Селвера новым.

— АМС, — угрюмо ответил полковник.

— Нечто вроде радио, — высокомерно сказал Госсе. — Он позволяет нам осуществлять мгновенную связь с нашей планетой.

— Без задержки в двадцать семь лет?

Госсе уставился на Селвера:

— Верно. Совершенно верно. Ты многому научился от Любова, а?

— Что есть, то есть, — вмешался Бентон. — Любовский зелененький дружок! Разнюхал все, что мог, и даже сверх того. Например, что надо взорвать в первую очередь, где выставляются часовые, и как пробраться в арсенал. Они наверняка поддерживали связь до последней минуты перед нападением.

Госсе неуверенно нахмурился:

— Радж погиб. Все это сейчас не имеет значения, Бентон. Нам необходимо установить...

— Вы, кажется, намекаете, Бентон, что капитан Любова вел подрывную деятельность и предал колонию? — яростно сказал Донг и прижал ладони к животу. — Среди моих людей не было ни шпионов, ни предателей, они были специ-

ально отобраны на Земле, и я всегда знаю тех, с кем должен работать.

— Я не намекаю, полковник. Я прямо говорю, что пискунов подстрекал Любов и что, если бы с прибытием сюда корабля Земфлота инструкции не были изменены, ничего подобного произойти не могло бы!

Госсе и Донг заговорили разом.

— Вы все очень большие, — сказал Селвер, встал и отряхнулся, потому что влажные бурые листья прилипали к его пушистому короткому меху, точно к шелку. — Мне очень жаль, что мы вынуждены запираť вас в загоне. Это плохое место для душевного здоровья. Пожалуйста, поскорее доставьте сюда остальных ваших людей. Потом, после того как большое оружие будет уничтожено и мы обменяемся обещаниями, вы получите полную свободу. Когда я сегодня уйду отсюда, ворота загона будут открыты. Что-нибудь еще?

Ни один из них не ответил. Они молча смотрели на него сверху вниз. Семь больших людей со светлой или коричневой безволосой кожей, одетые в ткани, темноглазые, с урюмыми лицами, и двенадцать маленьких людей, зеленых или коричневатозеленых, с большими глазами сумеречных существ и лицами сновидцев, а между обеими группами — Селвер, переводчик, слабый, изуродованный, держащий все их судьбы в своих пустых руках. На бурую землю, чуть шурша, падал дождь.

— Тогда прощайте, — сказал Селвер и увел своих людей.

— А они не такие уж глупые, — сказала Старшая Хозяйка из Берре, когда они с Селвером шли назад в Эндтор. — Я думала, такие великаны обязательно должны быть глупыми, но они увидели, что ты — бог, я это поняла по их лицам под конец разговора. А как ты хорошо лопочешь по-ихнему! И они очень безобразные. Неужели у них даже младенцы без шерсти?

— Надеюсь, этого мы никогда не узнаем.

— Бр-р! Только представить, что кормишь такого младенца. Словно дать грудь рыбе!

— Они все сумасшедшие, — удрученно сказал старый Тубаб. — Любов, когда прилетал в Тунтар, таким не был. Он ничего не знал, но он был разумен. А эти... Они спорят, и презируют своего старика, и ненавидят друг друга. Вот так! — И он сморщил опущенное серым мехом лицо, чтобы показать, как выглядели земляне, чьих слов он, разумеется,

не понимал. — А ты им это и сказал, Селвер? Что они сумасшедшие?

— Я сказал им, что они больны. Но ведь они были побеждены, им было больно, они были заперты в этой каменной клетке. После такого кто угодно мог заболеть и нуждаться в исцелении.

— А исцелить их некому, — сказала Старшая Хозяйка из Верре. — Все их женщины убиты. Им, конечно, плохо. Но какие же они безобразные! Огромные голые пауки — вот кто они такие! Фу!

— Они люди, люди, такие же, как мы. Люди! — сказал Селвер, и голос у него стал тонким и режущим, как лезвие ножа.

— Милый мой владыка бог, я же знаю это! Просто они с виду похожи на пауков, — сказала старуха, поглаживая его по щеке. — Вот что, люди, Селвер совсем измучился, расхаживая из Эндтора в Эшсен и обратно. Давайте сядем и передохнем.

— Только не здесь! — сказал Селвер. Они все еще были на Вырубленных Землях, среди пней и травянистых косогоров, под бескрайним голым небом. — Вот вернемся под деревья. — Он споткнулся, и те, кто не были богами, поддержали его и помогли ему идти дальше.

Диктофон майора Мухамеда пришелся Дэвидсону очень кстати. Кто-то ведь должен запечатлеть события на Новом Таити — историю того, как трусливо и подло была отдана на гибель земная колония. Пусть корабли, когда они прилетят с Земли, узнают истинную правду. Пусть будущие поколения узнают, на какое предательство, малодушие и глупость способны люди — но также и на какую беззаветную доблесть в самых отчаянных обстоятельствах. В свободные минуты (да, всего лишь минуты с тех пор, как ему пришлось взять на себя командование) он записал всю историю бойни в Лагере Смита и довел изложение событий до нынешней ситуации на Новой Яве. И на Кинге, и на Центральном тоже — в той мере, в какой удавалось извлекать крупинцы фактов из тех истерических посланий, которыми штаб кормил его с Центрального вместо четкой и надежной информации.

Полностью о том, что на самом деле произошло в Центровилле, никто никогда знать не будет, кроме пискунов, потому что люди там всячески пытаются замаскировать свое предательство и ошибки. Но общая картина все-таки достаточно ясна. Организованную шайку пискунов, которых привел Селвер, впустили в арсенал и в ангары, снабдили динамитом, гранатами, автоматами и огнеметами и науськали уничтожить город, а людей перебить. Здание штаба было взорвано первым — вот вам и доказательство, что действовали изнутри. Само собой, Любов участвовал в заговоре, и его зелененькие дружки, конечно, показали, на

какую благодарность они способны, — перерезали ему глотку наравне с прочими. То есть Госсе и Бентон утверждали, будто утром после бойни видели его труп. Но только можно ли им там верить? Хочешь — не хочешь, а дело ясное: каждый человек, который уцелел на Центральном после этой ночи, — уже предатель. Предатель своей расы.

Вот они клянутся, будто женщины убиты все. Плохо, конечно, но куда хуже, что верить этому нельзя. Пискунам ничего не стоило увести пленных в леса, а поймать перепуганную девчонку на окраине горящего города легче легкого. И уж зеленая нечисть, само собой, не упустила бы случая захватить женщин, чтобы поизмываться над ними всласть, верно? Одному Богу известно, сколько еще женщин томятся в пискуньих норах, в этих вонючих подземных ямах, связанные, беспомощные, а поганые волосатые мартышки щупают их, лапают, подвергают всяким надругательствам! Даже подумать невозможно! Но, черт побери, иногда приходится думать и о том, о чем думать невозможно!

Вертолет с Кинга сбросил пленникам в Центре радиопередатчик на следующий же день после бойни, и Мухамед записывал все свои переговоры со штабом. Самым невыносимым был разговор с полковником Донгом. Проигрывая запись первый раз, он не выдержал, сорвал ее с катушки и сжег. Зря, конечно. Надо было сохранить ее как доказательство полнейшей негодности командования и на Центральном, и на Новой Яве. Но кто бы выдержал — с такой горячей кровью, как у него! Он просто не мог сидеть и слушать, как полковник и майор обсуждают полную капитуляцию, сдаются на милость пискунов, соглашаются не принимать ответных мер, не защищаться, соглашаются уничтожить все боевое оружие и как-нибудь устроиться на клочке земли, отведенном для них пискунами, — в резервации, дарованной великодушными победителями, пакостными зелеными тварями! Поверить невозможно! В буквальном смысле слова невозможно.

Не исключено, что старички Динг-Донг и Му не имели предательских намерений, а просто спятили, пали духом. Все эта проклятая планета! Надо быть по-настоящему сильной личностью, чтобы не поддаться ей. Что-то в здешнем воздухе — может, пыльца этих чертовых деревьев — действует вроде наркотика, так что обычные люди перестают отдавать себе отчет в окружающем и балдеют, точно писку-

ны. Ну а при таком численном превосходстве пискунам ничего не стоит с ними справиться.

Жаль, конечно, что Мухамеда пришлось убрать, но он ни за что не принял бы его планов, тут сомнений быть не может. Всякий согласился бы, кто прослушал бы эту невероятную запись. А потому лучше было пристрелить его. Во всяком случае, теперь он чист и его имя не покроется позором, как имена Донга и всех офицеров, которые остались в живых на Центральном.

Последнее время Донг к передатчику что-то не подходит, все больше Юю Серенг из инженерного отдела. Прежде они с Юю частенько проводили свободное время вместе, и он его даже другом считал, но теперь больше никому доверять нельзя. А кроме того, Юю тоже из азиев. Как подумаешь, странно получается, что их столько уцелело после Центрвиллской бойни. Из тех, с кем он разговаривал, не азий только Госссе. Здесь на Яве пятьдесят пять верных ребят, оставшихся после реорганизации, почти все евроафры, вроде него самого, ну еще афры и афроазии, но чистых азиев — ни одного! Что ни говори, а кровь — она скаывается. Если у тебя в жилах нет настоящей крови, как ни крути, человек ты неполноценный. Конечно, он все равно спасет желтомордых подонков на Центральном, но это объясняет, почему они поджали хвосты в трудную минуту.

— Да пойми же наконец, Дон, в какое положение ты всех нас ставишь! — сказал Юю своим глухим голосом. — Мы заключили с пискунами перемирие по всем правилам. Кроме того, у нас есть прямой приказ Земли не трогать врасу и не наносить ответного удара. И как, черт побери, мы бы нанесли его? Даже теперь, когда остров Кинга и лагерь на юге Центрального полностью эвакуированы, нас тут все-таки меньше двух тысяч, а у тебя на Яве всего человек шестьдесят пять, верно? Неужели ты всерьез веришь, Дон, что две тысячи человек способны справиться с тремя миллионами разумных врагов?

— Юю, да на это и пятидесяти человек хватит! Были бы желание, уменье и оружие.

— Бред! Но в любом случае, Дон, мы заключили перемирие. И если оно будет нарушено, нам конец. Только благодаря ему мы и держимся. Может быть, когда они вернутся с Престно и увидят, что произошло, они решат покончить с пискунами. Этого мы не знаем. А пока похоже, что пискуны намерены соблюдать перемирие — в конце-то

концов, это они его предложили! — а нам ничего другого не остается. Их столько, что они нас голыми руками могут уничтожить, как произошло в Центрвилле. Они туда тысячами нагрянули. Неужели ты этого не можешь понять, Дон?

— Послушай, Юю, я, конечно, понимаю. Если вы боитесь использовать ваши три вертолета, так отправьте их сюда с ребятами, которые думают так же, как мы здесь, на Новой Яве. Раз уж мне придется в одиночку вас освобождать, то лишние вертолеты не помешают.

— Ты нас не освободишь, ты нас погубишь, идиот чертов! Отошли свой вертолет на Центральный немедленно! Это приказ полковника лично тебе, как исполняющему обязанности начальника лагеря. Используй его для переброски своих людей. Понадобится не больше двенадцати полетов, и вы свободно уложите в четыре здешних дневных периода. А теперь выполняй приказ!

Щелк — и выключил приемник. Побоялся с ним спорить!

Но ведь с них станется послать свои три вертолета на Новую Яву, чтобы разбомбить или сжечь лагерь, поскольку формально он не подчиняется приказу, а старик Донг не терпит самостоятельности! Достаточно вспомнить, как он уже с ним разделался за пустяковые карательные меры на Смите. Не простил ему инициативы! Старик Динг-Донг, как большинство офицеров, любит безоговорочное послушание. Беда только в том, что такие в конце концов сами становятся послушными...

И тут Дэвидсон испытал подлинное душевное потрясение, вдруг сообразив, что вертолетов ему опасаться нечего. Донг, Серенг, Госс, даже Бентон струсят послать их! Пискуны приказали, чтобы люди не смели пользоваться вертолетами за пределами своей резиденции, и они подчинились!

Черт! Его чуть наизнанку не вывернуло. Пора действовать! Они и так уже почти две недели прождали неведомо чего! Оборону лагеря он наладил: частокол укрепили и довели до такой высоты, что ни одна зеленая мартышка через него не перелезет, а Эйби — молодец мальчишка! — изготовил полсотни отличных мин и заложил их в стометровом поясе вокруг лагеря. Теперь настало время показать пискунам, что на Новой Яве они имеют дело с настоящими людьми, с настоящими мужчинами, а не со стадом овец,

как на Центральном. Он поднял вертолет и провел отряд пехоты к пискуным норам на юг от лагеря. Он научился распознавать такие места с воздуха по плодовым садам и по скоплениям деревьев определенных видов, хотя и не высаженных аккуратными рядами, как у людей. Просто жуть брала, сколько тут обнаружилось таких мест, едва он нашел способ определять их с воздуха. Лес кишмя кишел этой пакостью. Карательный отряд выжег к черту эти норы, а когда он с парой ребят летел обратно, то обнаружил еще норы — меньше чем в четырех километрах от лагеря! И на них, чтобы четко и ясно поставить свою подпись — пусть читает, кто захочет, — он сбросил бомбочку. Простенькую зажигалочку, но и от нее зеленый мех клочьями полетел. В лесу она оставила здоровую прореху, и края прорехи были охвачены огнем.

Собственно говоря, это и есть его оружие для массированного ответного удара. Лесные пожары. Хватит одного рейда на одном вертолете с зажигалочками и огненным студнем, чтобы выжечь целый остров. Придется, правда, подождать месяц-другой, до конца сезона дождей. А какой сжечь — Кинга, Смита или Центральный? Начать, пожалуй, стоит с Кинга — так, маленькое предупреждение, поскольку людей там больше нет. А потом Центральный, если они и дальше будут брыкаться.

— Что вы затеяли? — донесся голос из приемника, и Дэвидсон ухмыльнулся: ну словно старуха верещит, которую малость пощекотали. — Вы отдадите себе отчет в том, что делаете, Дэвидсон?!

— Ага!

— Вы что, рассчитываете запугать пискунов?

На этот раз не Юю. Должно быть, умник Госсе, а может, и не он, но какая разница? Все они только и умеют блеять, овцы поганые.

— Вот именно, — ответил он с мягкой такой иронией.

— По-вашему, если вы будете жечь их поселки, они сдадутся на вашу милость — все три миллиона? Так?

— Может, и так.

— Послушайте, Дэвидсон, — сказал передатчик, и в нем что-то захрипело, зашелестело. Ну да, понятно, пользуются аварийной аппаратурой, потому что большой передатчик сгорел вместе с их хваленым ансамблем, туда ему и дорога! — Послушайте, Дэвидсон, не могли бы мы поговорить с кем-нибудь еще?

— Нет, тут все по горло заняты. Да, кстати, живется нам тут неплохо, но не мешало бы разжиться сладеньким — фруктовыми коктейлями, персиками, ну и прочей ерундой. Кое-кому из ребят очень этого не хватает. Кроме того, мы не получили в срок марихуану, потому что вы там прошляпили город. Так если я пошлю вертолет, не сможете ли уделить нам ящик-другой сластей и травки?

Молчание, а потом:

— Хорошо. Высылайте вертолет.

— Чудненько. Уложите ящики в сетку, и ребята ее подцепят, чтобы не приземляться, — сказал он и ухмыльнулся.

Из Центра что-то залопотали, и вдруг прорезался голос старика Донга. В первый раз полковник сам к нему обратился. Пыхтит, старая перечница, и еле пищит, сквозь по-мехи и не разобрать толком, что он там бормочет.

— Слушайте, капитан, я хочу знать, отдаете ли вы себе отчет, на какие меры вы толкаете меня своими действиями на Новой Яве, если вы и впредь не будете выполнять мои приказы? Я пытаюсь говорить с вами как с разумным и лояльным офицером. Для обеспечения безопасности моих подчиненных здесь, на Центральном острове, я буду вынужден поставить аборигенов в известность, что мы слагаем с себя всякую ответственность за ваши действия.

— Совершенно справедливо, господин полковник.

— Я пытаюсь объяснить вам, что мы вынуждены будем сообщить им о своем бессилии воспрепятствовать нарушениям перемирия на Новой Яве. У вас там шестьдесят шесть человек, и они нужны мне здесь, чтобы мы могли сохранить колонию до возвращения «Шеклтона». Ваши действия — это самоубийство, а за жизнь тех, кто находится там с вами, отвечаю я.

— Нет, господин полковник, не вы, а я. Так что успокойтесь. Но только, когда джунгли вспыхнут, быстренько переберитесь на серединку Вырубки. Мы вовсе не хотим поджарить вас заодно с пискунами.

— Слушайте, Дэвидсон! Я приказываю вам немедленно передать командование лейтенанту Темба и явиться ко мне сюда, — сказал далекий писклявый голос, и Дэвидсон неожиданно для себя выключил приемник. Его мутило.

Совсем спятили: все еще играют в солдатики и не желают взглянуть правде в глаза! Но, с другой стороны, мало кто способен бескомпромиссно принять действительность, если дела идут скверно.

И, конечно, после того как он разорил десяток-другой нор, местные пискуны только затаились. Он с самого начала знал, что разговор с ними должен быть короткий: нагони на них страху, и потом не давай спуску. Тогда они прекрасно разберутся, кто тут главный, и подожмут хвосты раз и навсегда. Теперь в радиусе тридцати километров от лагеря все норы были вроде бы покинуты, но он все равно каждые два-три дня посылал отряды выжигать их.

А у ребят начали сдавать нервишки. До сих пор он не давал им сидеть сложа руки — из оставшихся в живых отборных пятидесяти пяти человек сорок восемь были лесорубами, так и пусть занимаются привычным делом, валят лес. Но они знали, что прибывающие с земли робогрузовозы уже не смогут спуститься на планету и будут вертеться на орбите в ожидании сигнала, который нечем подать. А что за радость валить лес неизвестно для чего? Это ведь нелегкая работа. Лучше уж просто его сжигать. Он разбил своих людей на взводы, и они отработывали способы поджога. Пока еще лили дожди и толком у них ничего не получалось, но все-таки они не кисли зря. Эх, были бы у него те три вертолета! Вот тогда бы дела пошли по-настоящему. Он взвешивал мысль о рейде на Центр, чтобы освободить вертолеты, но пока не говорил про это даже Эйби и Темба, самым надежным из всех. Кое-кто из ребят побоится участвовать в вооруженном налете на собственный штаб. Они все еще к месту и не к месту повторяют: «Вот когда мы вернемся к остальным...» И не знают, что эти «остальные» бросили их, предали, продались пискунам, лишь бы спасти свою шкуру. Этого он им не сказал — они могли бы и не выдержать.

Просто в один прекрасный день он, Эйби, Темба и еще кто-нибудь из надежных парней отправятся через пролив, а там трое спрыгнут с автоматами, захватят по вертолету и отправятся домой — тру-ля-ля, тру-ля-ля, и отправятся домой. С четырьмя отличными взбивалками для яиц. Не взобешь яиц — омлета не сделаешь!

Дэвидсон громко захохотал в темноте своего коттеджа.

Может, он и не будет особенно торопиться с этим планом: слишком уж приятно его обдумывать.

Прошло еще две недели, и они покончили со всеми крысиными норами на расстоянии дня пути от лагеря: лес теперь стоял чистенький и аккуратный. Никаких поганых тварей, никаких дымков над вершинами деревьев. Никто

не прыгает перед тобой из кустов и не плюхается на спину с закрытыми глазами — еще дави их! Никаких тебе зеленых мартышек. Чашоба деревьев и десяток пожарищ. Только вот ребята, того гляди, на стенку полезут. Пора отправляться за вертолетами.

И как-то вечером он сообщил свой план Эйби, Темба и Поусту.

Они с минуту молчали, а потом Эйби спросил:

— А как с горючим, капитан?

— Горючего хватит.

— На один вертолет. А четыре за неделю весь запас сожгут.

— То есть как? Что же, у нас для нашего только месячный запас остался?

Эйби кивнул.

— Ну, значит, нужно будет заодно захватить и горючее.

— А каким образом?

— Вот вы это и обмозгуйте.

Сидят и глядят на тебя ошалело. Просто зло берет. Все за них делай! Конечно, он прирожденный руководитель, но ему нравятся парни, которые и сами умеют соображать!

— Ну-ка, Эйби, это по твоей части, — сказал он и вышел покурить.

Никакого терпения не хватит, до того все хвосты поджигают. Не могут посмотреть в глаза фактам, и все тут.

С марихуаной у них стало туговато, и он уже два дня как ни одной сигареты не выкурил. Ну, да ему это нипочем. Небо было затянуто тучами, сырая, теплая мгла пахла весной. Мимо прошел Джинини, скользя, точно конькобежец или даже гусеничный робот, потом таким же неторопливым скольльзящим движением повернулся к крыльцу коттеджа и уставился на Дэвидсона в смутном свете, падавшем из открытой двери. Джинини, широкоплечий великан, работал на роботопиле.

— Источник моей энергии подключен к Великому Генератору, и отключить меня невозможно, — сказал он ровным голосом, не сводя глаз с Дэвидсона.

— Марш в казарму, отсыпаться! — скомандовал Дэвидсон тем резким, как удар хлыста, голосом, которого еще никто никогда не ослушался, и секунду спустя Джинини заскользил дальше, грузный, но тяжеловесно изящный.

Последнее время ребята слишком уж налегают на галлюциногены. Этого добра хватает, но что хорошо для отдыха-

ющего лесоруба, не очень-то годится для солдат крохотного отряда, брошенного всеми на враждебной планете. У них нет времени накачиваться и шалеть. Придется убрать эту дрянь под замок. Правда, как бы кое-кто из ребят не дал трещины... Ну и пусть! Яйцо не треснет — омлета не собьешь! Может, отправить их на Центральный в обмен на горючее? Вы мне — две-три цистерны с горючим, а я вам за них — двух-трех тепленьких лунатиков, дисциплинированных солдатиков, отличных лесорубов и совсем под стать вам: тоже попрятались в снах и знать ничего не желают...

Он ухмыльнулся и решил, что стоит обсудить этот план с Эйби и остальными, как вдруг часовой пронзительно завопил с дымовой трубы лесопилки:

— Идут! Они идут!

С западного поста тоже донеслись крики. Раздался выстрел.

И они таки пришли! Черт, рассказать кому-нибудь, так не поверят! Тысячами лезут, буквально тысячами! И ведь ни звука, ни шороха, пока не завопил часовой, а потом выстрел, а потом взрыв... Мина взорвалась! И еще, и еще! А тут один за другим вспыхнули сотни факелов и огненными дугами взлетели в темном сыром воздухе, точно ракеты, а с частокола со всех сторон посыпались пистуны, волна за волной, захлестывая лагерь, все перед собой сметая — тысячи их, тысячи!словно полчища крыс, как тогда в Кливленде, штат Огайо, во время последнего голода, когда он был совсем малышом. Что-то выгнало крыс из их нор, и они среди бела дня полезли через забор — живое мохнатое одеяло, блестящие глазки, когтистые лапы... Он заорал и побежал к матери... А может, ему это тогда просто приснилось? Спокойнее, спокойнее, не теряй головы! Скорее в бывший пистуний загон, к вертолету. Там еще темно... А, черт! Замок на воротах. Пришлось его повесить на случай, если какой-нибудь слабак вздумает выбрать ночку потемнее и смыться к папаше Динг-Донгу. Скорее найти ключ... никак его не вставишь... не повернешь толком. Ничего, ничего, только не теряй головы... А теперь еще надо бежать к вертолету, отпирать его. Откуда-то взялись рядом Поуст и Эйби. Ну вот, наконец затрещал мотор, завертелся винт, взбивая яйца, заглушая все жуткие звуки, писк, визг, пронзительное пение. А они взмыли в небо, и ад провалился вниз — горящий загон, полный крыс...

— Чтобы быстро и правильно оценить обстановку, нужна голова на плечах, — сказал Дэвидсон. — Вы, ребята, и думали быстро, и действовали быстро. Молодцы! А где Темба?

— Лежит с копьем в брюхе, — ответил Поуст.

Эйби, вертолетчику, словно бы не терпелось самому вести вертолет, и Дэвидсон уступил ему место, а сам перебрался на заднее сиденье и расслабился. Под ним в густой, непроглядной темноте черной полосой тянулся лес.

— Ты куда это взял курс, Эйби?

— На Центральный.

— Нет! На Центральный мы не полетим!

— А куда же мы полетим? — спросил Эйби, хихикнув, словно девка. — В Нью-Йорк? В Карачи?

— Пока поднимись повыше, Эйби, и иди в обход лагеря. Только широким кругом, так, чтобы внизу слышно не было.

— Капитан, лагеря больше нет, — сказал Поуст, старший лесоруб, коренастый спокойный человек.

— Когда пискуны кончат жечь лагерь, мы спустимся и сожжем пискунов. Их там четыре тысячи — все в одном месте. А у нас на хвосте установлено шесть огнеметов. Дадим пискунам минут двадцать и угостим их банками со студнем, а тех, кто побежит, прикончим огнеметами.

— Черт! — выругался Эйби. — Там ведь наши ребята! Может, пискуны их взяли в плен, мы же не знаем. Нет уж! Я не полечу назад жечь людей! — И он не повернул вертолета.

Дэвидсон прижал пистолет к затылку Эйби и сказал:

— Мы полетим назад, а потому возьми себя в руки, детка. Мне с тобой возиться некогда.

— Горючего в баке хватит, чтобы добраться до Центрального, капитан, — сказал вертолетчик, подергивая головой, словно пистолет был мухой и он пытался ее отогнать. — И все. Больше нам горючего взять негде.

— Ну так полетим на этом. Поворачивай, Эйби.

— Я думаю, нам лучше лететь на Центральный, капитан, — сказал Поуст этим своим спокойным голосом.

Стакнулись, значит! Дэвидсон в ярости перехватил пистолет за ствол и стремительно, как жалящая змея, ударил Поуста рукояткой над ухом. Лесоруб перегнулся пополам и остался сидеть на переднем сиденье, опустив голову между колен, а руками почти упираясь в пол.

— Поворачивай, Эйби! — сказал Дэвидсон голосом, точно удар хлыста, и вертолет по пологой кривой лег на обратный курс.

— Черт, а где лагерь? Я никогда не летал ночью без ориентиров, — пробормотал Эйби таким сиплым и хлюпающим голосом, точно у него вдруг начался насморк.

— Держи на восток и смотри, где горит, — сказал Дэвидсон холодно и невозмутимо.

Все они на поверку оказались слизняками. Даже Темба. Ни один не встал рядом с ним, когда пришел трудный час. Рано или поздно все они сговаривались против него просто потому, что не могли выдержать того, что выдерживал он. Слабаки всегда сговариваются за спиной сильного, и сильный человек должен стоять в одиночку и полагаться только на себя. Так уж устроен мир.

Куда, к черту, провалился лагерь? В этой тьме даже сквозь дождь зарево пожара должно быть видно на десятки километров. А нигде — ничего. Черно-серое небо вверху, чернота внизу. Значит, пожар погас... Его погасили... Неужели люди в лагере отбились от пискунов? После того как он спасся на вертолете? Эта мысль обожгла его мозг, как струя ледяной воды. Да нет... конечно же, нет! Пятьдесят против тысяч? Ну нет? Но, черт побери, зато сколько пискунов подорвалось на минных полях! Все дело в том, что они валом валили. И ничем их нельзя было остановить. Этого он никак предвидеть не мог. И откуда они, собственно, взялись? В лесу вокруг лагеря пискунов уже давным-давно не осталось. А потом вдруг валом повалили со всех сторон, пробрались по лесам и вдруг полезли из всех своих нор, как крысы. Тысячи и тысячи. Так, конечно, их ничем не остановишь! Куда, к черту, девался лагерь? Эйби только делает вид, будто его ищет, а сам свое гнет.

— Найди лагерь, Эйби, — сказал он ласково.

— Так я же его ищу! — огрызнулся мальчишка. А Поуст ничего не сказал — так и сидел, перегнувшись, рядом с Эйби.

— Не мог же он сквозь землю провалиться, верно, Эйби? У тебя есть ровно семь минут, чтобы его отыскать.

— Сами ищите! — злобно взвизгнул Эйби.

— Подожду, пока вы с Поустом не образумитесь, детка. Спустись пониже!

Примерно через минуту Эйби сказал:

— Вроде бы река.

Действительно, река. И большая расчистка. Но лагерь-то где?

Они пролетели над расчисткой, но так ничего и не увидели.

— Он должен быть здесь, ведь другой большой расчистки на всем острове нет, — сказал Эйби, поворачивая обратно.

Их посадочные прожекторы били вниз, но вне этих двух столбов света ничего нельзя было разобрать. Надо их выключить!

Дэвидсон перегнулся через плечо вертолетчика и выключил прожекторы. Непроницаемая сырая мгла хлестнула их по глазам, точно черное полотенце.

— Что вы делаете? — взвизгнул Эйби, включил прожекторы и попытался круто поднять вертолет, но опоздал. Из мрака выдвинулись чудовищные деревья и поймали их.

Застонали лопасти винта, в туннеле прожекторных лучей закружились вихри листьев и веток, но стволы были толстыми и крепкими. Маленькая летающая машина накренилась, дернулась, словно подпрыгнула, высвободилась и боком рухнула в лес. Прожекторы погасли. Сразу наступила тишина.

— Что-то мне скверно, — сказал Дэвидсон.

И снова повторил эти слова. Потом перестал их повторять, потому что говорить их было некому. Тут он сообразил, что вообще не говорил. Мысли мутились. Наверное, стукнулся затылком. Эйби рядом нет. Где же он? А это вертолет. Совсем перекошенный, но он сидит, как сидел. А темнота-то, темнота — хоть глаз выколи.

Дэвидсон начал шарить руками вокруг и нащупал неподвижное, по-прежнему скорченное тело Поуста, зажатое между передним сиденьем и приборной доской. При каждом движении вертолет покачивался, и он наконец сообразил, что машина застряла между деревьями, запуталась в ветках, точно воздушный змей. В голове у него немного прояснилось, но им овладело непреодолимое желание как можно скорее выбраться из темной накренившейся кабины. Он переполз на переднее сиденье, спустил ноги наружу и повис на руках. Ноги болтались, но не задевали земли — ничего, кроме веток. Наконец он разжал руки. Плевать, сколько ему падать, но в кабине он не останется! До земли оказалось не больше полутора метров. От толчка заболела голова, но он встал, выпрямился, и ему стало легче. Если

бы только вокруг не было так темно, так черно! Но у него на поясе есть фонарик — выходя вечером из коттеджа, он всегда брал с собой фонарик. Так где же фонарик? Странно. Отцепился, должно быть. Пожалуй, следует залезть в вертолет и поискать. А может, его взял Эйби? Эйби нарочно разбил вертолет, забрал его фонарик и сбежал. Слизняк, такой же, как все они. В этой чертовой мокрой тьме не видно даже, что у тебя под ногами. Корни всякие, кусты. А кругом — шорохи, чавканье, непонятно какие звуки: дождь шуршит по листьям, твари какие-то шастают, шелестят... Нет, надо слазить в вертолет за фонариком. Только вот как? Хоть на цыпочки встань, не дотянешься.

Вдалеке за деревьями мелькнул огонек и исчез. Значит, Эйби взял его фонарик и пошел на разведку, чтобы ориентироваться. Молодец мальчик!

— Эйби! — позвал он пронзительным шепотом, сделал шаг вперед, стараясь снова увидеть огонек, и наступил на что-то непонятное. Ткнул башмаком, а потом осторожно опустил руку, чтобы пощупать, — очень осторожно, потому что ощупывать то, что не видишь, всегда опасно. Что-то мокрое, скользкое, будто дохлая крыса. Он быстро отдернул руку. Потом снова нагнулся и пощупал в другом месте. Башмак! Шнурки... Значит, у него под ногами валяется Эйби. Выпал из вертолета. Так ему и надо, сукину сыну, — на Центральный хотел лететь, иуда!

Дэвидсону стало неприятно от влажного прикосновения невидимой одежды и волос. Он выпрямился. Снова показался свет — неясное сияние за частоколом из ближних и дальних стволов. Оно двигалось. Дэвидсон сунул руку в кобуру. Пистолета там не было. Он вспомнил, что держал его в руке, на случай, если Эйби или Поуст попробуют что-нибудь выкинуть. Но в руке пистолета тоже не было. Значит, валяется в вертолете вместе с фонариком.

Дэвидсон нагнулся и замер, а потом побежал. Он ничего не видел. Стволы толкали его из стороны в сторону, корни цеплялись за ноги... Внезапно он растянулся во весь рост на земле среди затрещавших кустов. Он приподнялся и на четвереньках пополз в кусты, стараясь забраться поглубже. Мокрые ветви царапали ему лицо, хватали за одежду. Но он упрямо полз вперед. Его мозг не воспринимал ничего, кроме сложных запахов гниения и роста, прелых листьев, влажных листьев, трухи, молодых побегов, цветов — запахов ночи, весны и дождя. Ему на лицо упал свет. Он увидел

пискунов. И вспомнил, что они делают, если загнать их в угол, вспомнил, что говорил об этом Любов. Он перевернулся на спину, откинул голову, зажмурил глаза и замер. Сердце стучало в груди как сумасшедшее.

Ничего не произошло.

Открыть глаза было очень трудно, но в конце концов он все-таки сумел это сделать. Они стояли вокруг. Их было много — может, десять, а может, и двадцать. Держат эти свои охотничьи копыя — просто зубочистки, но наконечники из железа, и такие острые, что вспорют тебе брюхо, оглянуться не успеешь. Он зажмурился и продолжал лежать неподвижно.

И ничего не произошло.

Сердце уgomонилось, стало легче думать. Что-то защекотало его внутри, что-то похожее на смех. Черт подери! Он им не по зубам. Свои его предали, человеческий ум бессилен что-нибудь придумать, а он прибегнул к их собственной хитрости — притворился мертвым и сыграл на их инстинкте, который не позволяет убивать тех, кто лежит на спине, закрыв глаза. Стоят вокруг, лопочут между собой, а сделать ничего не могут, пальцем дотронуться до него боятся. Будто он — бог.

— Дэвидсон!

Пришлось снова открыть глаза. Сосновый факел в руках одного из пискунов все еще горел, но пламя побледнело, а лес был уже не угольно-черным, а белым. Как же так? Ведь прошло от силы десять минут. Правда, еще не совсем рассвело, но ночь кончилась. Он видит листья, ветки, деревья. Видит склоненное над ним лицо. В сером сумраке оно казалось серым. Все в рубцах, но вроде бы человеческое, а глаза — как две черные дыры.

— Дайте мне встать, — внезапно сказал Дэвидсон громким хриплым голосом.

Его бил озноб: сколько можно валяться на сырой земле! И чтобы Селвер смотрел на него сверху вниз? Ну уж нет!

У Селвера никакого оружия не было, но мартышки вокруг держали наготове не только копыя, но и пистолеты. Растащили его запасы в лагере!

Он с трудом поднялся. Одежда леденила плечи и ноги. Ему никак не удавалось унять озноб.

— Ну кончайте, — сказал он. — Быстро-быстро!

Селвер продолжал молча смотреть на него. Но все-таки снизу вверх, а не сверху вниз!

— Вы хотите, чтобы я вас убил? — спросил он.

Подхватил у Любова его манеру разговаривать: даже голос совсем любовский. Черт знает что!

— Это мое право, ведь так!

— Ну, вы всю ночь пролежали в позе, которая означает, что вы хотели, чтобы мы оставили вас в живых. А теперь вы хотите умереть?

Боль в животе и голове, ненависть к этому поганому уродцу, который разговаривает, точно Любков, и решает, жить ему или умереть, — эта боль и эта ненависть душили его, поднимались в глотке тошнотным комком. Он трясся от холода и отвращения. Надо взять себя в руки. Внезапно он шагнул вперед и плюнул Селверу в лицо.

А секунду спустя Селвер сделал легкое танцующее движение и тоже плюнул. И засмеялся. И даже не попытался убить его. Дэвидсон вытер с губ холодную слюну.

— Послушайте, капитан Дэвидсон, — сказал пискун все тем же спокойным голоском, от которого Дэвидсона начинало мутить, — мы же с вами оба боги. Вы сумасшедший, и я, возможно, тоже, но мы боги. Никогда больше не будет в лесу встречи, как эта наша встреча. Мы приносим друг другу дары, какие приносят только боги. От вас я получил дар убийства себе подобных. А теперь, насколько это в моих силах, я вручаю вам дар моих соплеменников — дар не убивать. Я думаю, для каждого из нас полученный дар равно тяжел. Однако вам придется нести его одному. Ваши соплеменники в Эшсене сказали мне, что вынесут решение о вас, и, если я приведу вас туда, вы будете убиты. Такой у них закон. И если я хочу подарить вам жизнь, я не могу отвести вас с другими пленными в Эшсен. А оставить вас в лесу на свободе я тоже не могу — вы делаете слишком много плохого. Поэтому мы поступим с вами так, как поступаем с теми из нас, кто сходит с ума. Вас увезут на Рендлеп, где теперь больше никто не живет, и оставят там.

Дэвидсон смотрел на пискуна и не мог отвести глаз. Словно его подчинили какой-то гипнотической власти. Этого он терпеть не станет. Ни у кого нет власти над ним! Никто не может ему ничего сделать!

— Жаль, что я не свернул тебе шею в тот день, когда ты на меня набросился, — сказал он все тем же хриплым голосом.

— Может быть, это было бы самое лучшее, — ответил Селвер. — Но Любков помешал вам. Так же, как теперь он

мешает мне убить вас. Больше никого убивать не будут. И рубить деревья — тоже. На Рендлепе не осталось деревьев. Это остров, который вы называете Свалкой. Ваши соплеменники не оставили там ни одного дерева, так что вы не сможете построить лодку и уплыть оттуда. Там почти ничего не растет, и мы должны будем привозить вам пищу и дрова. Убивать на Рендлепе некого. Ни деревьев, ни людей. Прежде там были и деревья, и люди, но теперь от них остались только сны. Мне кажется, раз вы будете жить, то для вас это самое подходящее место. Может быть, вы станете там сновидцем, но скорее всего вы просто пойдете за своим безумием до конца.

— Убейте меня теперь, и хватит издеваться!

— Убить вас? — спросил Селвер, и в рассветном лесу его глаза, глядевшие на Дэвидсона снизу вверх, вдруг засияли светло и страшно. — Я не могу убить вас, Дэвидсон. Вы — бог. Вы должны сами это сделать.

Он повернулся, быстрый, легкий, и через несколько шагов скрылся за серыми деревьями.

По щекам Дэвидсона скользнула петля и легла ему на шею. Маленькие копыта надвинулись на него сзади и с боков. Они трусят прикоснуться к нему. Он мог бы вырваться, убежать — они не посмеют его убить. Железные наколенники, узкие, как листья ивы, были отшлифованы и наточены до остроты бритвы. Петля на шее слегка затянулась. И он пошел туда, куда они вели его.

Глава 8

Селвер уже давно не видел Любова. Этот сон был с ним на Ризуэле. Был с ним, когда он в последний раз говорил с Дэвидсоном. А потом исчез и, может быть, спал теперь в могиле мертвого Любова в Эшсене, потому что ни разу не пришел к Селверу в Бротер, где он теперь жил.

Но когда вернулась большая лодка и Селвер отправился в Эшсен, его там встретил Любов. Он был безмолвным, туманным и очень грустным, и в Селвере проснулось прежнее тревожное горе.

Любов оставался с ним тенью в его сознании, даже когда он пришел на встречу с ловеками, которые прилетели на большой лодке. Это были сильные люди, совсем не похожие на ловеков, которых он знал, если не считать его друга, но Любов никогда не был таким сильным.

Он почти забыл язык ловеков и сначала больше слушал. А когда убедился, что они именно такие, отдал им тяжелый ящик, который принес с собой из Бротера.

— Внутри работа Любова, — сказал он, с трудом подбирая нужные слова. — Он знал о нас гораздо больше, чем знают остальные. Он изучил мой язык и знал Мужскую речь, и мы все это записали. Он во многом понял, как мы живем и уходим в сны. Остальные совсем не понимают. Я отдам вам его работу, если вы отвезете ее туда, куда он хотел ее отослать.

Высокий, с белой кожей, которого звали Лепеннон, очень обрадовался, поблагодарил Селвера и сказал, что бумаги

обязательно отвезут туда, куда хотел Любов, и будут их очень беречь. Селверу было приятно это услышать. Но ему было больно называть имя друга вслух, потому что лицо Любова, когда он обращался к нему в мыслях, оставалось таким же бесконечно грустным. Он отошел в сторону от ловеков и только наблюдал за ними. Кроме пятерых с корабля сюда пришли Донг, Госсе и еще другие из Эшсена. Новые были чисты и блестящи, как недавно отшлифованное железо. А прежние отрастили шерсть на лицах и стали чуть-чуть похожи на очень больших аттичан, только с черным мехом. Они все еще носили одежду, но старую, и больше не содержали ее в чистоте. Никто из них не исхудал, кроме их Старшего, который так и не выздоровел после Ночи Эшсена, но все они были немного похожи на людей, которые заблудились или сошли с ума.

Встреча произошла на опушке, где по молчаливому соглашению все эти три года ни лесные люди, ни ловеки не строили жилищ и куда даже не заходили. Селвер и его спутники сели в тени большого ясеня, который стоял чуть в стороне от остальных деревьев. Его ягоды пока еще казались маленькими зелеными узелками на тонких веточках, но листья были длинными, легкими, упругими и по-летнему зелеными. Свет под огромным деревом был неяркий, смягченный путаницей теней.

Ловеки советовались между собой, приходили, уходили, а потом один из них наконец пришел под ясень. Жесткий ловец с корабля, коммодор. Он присел на корточки напротив Селвера, не попросив разрешения, но и не желая оскорбить. Он сказал:

— Не могли бы мы поговорить немножко?

— Конечно.

— Вы знаете, что мы увезем всех землян. Для этого мы прилетели на двух кораблях. Вашу планету больше не будут использовать для колонизации.

— Эту весть я услышал в Бротере три дня назад, когда вы прилетели.

— Я хотел убедиться, поняли ли вы, что это — навсегда. Мы не вернемся. На вашу планету Лига наложила запрет. Если сказать по-другому, более понятными для вас словами, я обещаю, что, пока существует Лига, никто не прилетит сюда рубить ваши деревья или забирать вашу землю.

— Никто из вас никогда не вернется, — сказал Селвер, не то спрашивая, не то утверждая.

— На протяжении жизни пяти поколений — да. Никто. Потом, возможно, несколько человек все-таки прилетят.

Их будет десять—пятнадцать. Во всяком случае, не больше двадцати. Они прилетят, чтобы разговаривать с вами и изучать вашу планету, как делали некоторые люди в колонии.

— Ученые, спецалы, — сказал Селвер и задумался. — Вы решаете сразу все вместе, вы, люди, — вновь не то спросил, не то подтвердил он.

— Как так? — Коммодор насторожился.

— Ну, вы говорите, что никто из вас не будет рубить деревья Атиши, и вы все перестаете рубить. Но ведь вы живете во многих местах. Если, например, Старшая Хозяйка в Карачи отдаст распоряжение, в соседнем селении его выполнять не будут, а уж о том, чтобы все люди во всем мире сразу его выполнили, и думать нечего...

— Да, потому что у вас нет единого правительства. А у нас оно есть... теперь, и его распоряжения выполняются — всеми и сразу. Но, судя по тому что нам рассказали здешние колонисты, ваше распоряжение, Селвер, выполнили все и на всех островах сразу. Как вы этого добились?

— Я тогда был богом, — сказал Селвер без всякого выражения.

После того как коммодор ушел, к ясеню неторопливо подошел высокий белый ловец и спросил, можно ли ему сесть в тени дерева. Этот был вежлив и очень умен. Селвер чувствовал себя с ним неловко. Как и Любовь, он будет ласков, он все поймет, а сам останется непонятен. Потому что самые добрые из них были так же неприкосновенны, так же далеки, как самые жестокие. Вот почему присутствие Любова в его сознании причиняло ему страдания, а сны, в которых он видел Теле, свою умершую жену, и прикасался к ней, приносили радость и умиротворение.

— Когда я был тут раньше, — сказал Лепеннон, — я познакомился с этим человеком, с Раджем Любовом. Мне почти не пришлось с ним разговаривать, но я помню его слова, а с тех пор я прочел то, что он писал про вас, про атишян. Его работу, как сказали вы. И теперь Атиши закрыта для колонизации во многом благодаря этой его работе. А освобождение Атиши, по-моему, было для Любова целью жизни. И вы, его друг, убедитесь, что смерть не помешала ему достигнуть этой цели, не помешала завершить избранный им путь.

Селвер сидел неподвижно. Неловкость перешла в страх. Сидящий перед ним говорил, как Великий Сновидец. И он ничего не ответил.

— Я хотел бы спросить вас об одной вещи, Селвер. Если этот вопрос вас не оскорбит. Он будет последним... Людей

убивали: в Лагере Смита, потом здесь, в Эшсене, и, наконец, в лагере на Новой Яве, где Дэвидсон устроил мятеж. И все. С тех пор ничего подобного не случилось... Это правда? Убийств больше не было?

— Я не убивал Дэвидсона.

— Это не имеет значения, — сказал Лепеннон, не поняв ответа.

Селвер имел в виду, что Дэвидсон жив, но Лепеннон решил, будто он сказал, что Дэвидсона убил не он, а кто-то другой. Значит, и ловеки способны ошибаться. Селвер почувствовал облегчение и не стал его поправлять.

— Значит, убийств больше не было?

— Нет. Спросите у них, — ответил Селвер, кивнув в сторону полковника и Госсе.

— Я имел в виду — у вас. Атшияне не убивали атшиян?

Селвер ничего не ответил. Он поглядел на Лепеннона, на странное лицо, белое, как маска Духа Ясеня, и под его взглядом оно изменилось.

— Иногда появляется бог, — сказал Селвер. — Он приносит новый способ делать что-то или что-то новое, что можно сделать. Новый способ пения или новый способ смерти. Он проносит это по мосту между явью снов и явью мира, и когда он это сделает, это сделано. Нельзя взять то, что существует в мире, и отнести его назад в сновидение, запереть в сновидении с помощью стен и притворства. Что есть, то есть уже навеки. И теперь нет смысла притворяться, что мы не знаем, как убивать друг друга.

Лепеннон положил длинные пальцы на руку Селвера так быстро и ласково, что Селвер принял это, словно к нему прикоснулся не чужой. По ним скользили и скользили золотистые тени листьев ясеня.

— Но вы не должны притворяться, будто у вас есть причины убивать друг друга. Для убийства не может быть причин, — сказал Лепеннон, и лицо у него было таким же тревожным и грустным, как у Любова. — Мы улетим. Через два дня. Мы улетим все. Навсегда. И леса Атши станут такими, какими были прежде.

Любов вышел из теней в сознании Селвера и сказал: «Я буду здесь».

— Любав будет здесь, — сказал Селвер. — И Дэвидсон будет здесь. Они оба. Может быть, когда я умру, люди снова станут такими, какими были до того, как я родился, и до того, как прилетели вы. Но вряд ли.



ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ ВЕТРА

АПРЕЛЬ В ПАРИЖЕ

Это первый рассказ, за который мне заплатили, второй рассказ, который я опубликовала, и, наверное, тридцатый или сороковой из мною написанных. Стихи и прозу я писала с того дня, когда мой брат Тед, которому надоела неграмотная пятилетняя сестренка, научил меня читать. Годом к двадцати я начала рассылать свои труды издателям. Кое-какие стихи были напечатаны, но прозу я до тридцати лет даже не пыталась предлагать — так упорно ее отвергали.

«Апрель в Париже» стал первым «жанровым» рассказом — определенно фантастическим, — написанным мною с 1942 года, когда я накропала для «Эстаундинг» рассказик о Происхождении Жизни на Земле, который был по некоей недоступной мне причине отвергнут (мы с Джоном Кэмпбеллом не сходились характерами). В двенадцать лет мне было очень приятно получить уведомление об отказе на настоящем бланке, но в тридцать два мне было куда приятнее получить чек. «Профессионализм» — не добродетель. Профессионал — это человек, делающий за деньги то, чем любитель занимается из любви к искусству. Но при экономике, основанной на деньгах, оплаченный труд — это труд, который будет использован, будет прочтен. Это способ высказать что-то и быть услышанным. Селия Голдсмит Лэлли, купившая этот рассказ в 1962-м, была самым интересным и внимательным редактором, какой только может быть в НФ журнале, и я благодарна ей за то, что она отворила мне дверь.

April in Paris

Copyright © 1962 by Ursula K. Le Guin

Апрель в Париже

© Нора Галь, перевод, 1974

Профессор Барри Пенниуизер сидел за своим столом в холодной, сумрачной мансарде и не сводил глаз с лежащей на столе книги и хлебной корки. Хлеб — его неизменный обед, книга — труд всей его жизни. И то и другое слишком сухо. Доктор Пенниуизер вздохнул, его пробрала дрожь. В нижнем этаже этого старого дома апартаменты весьма изысканные, однако же первого апреля, какова бы ни была погода, отопление выключается; сегодня второе апреля, а на улице дождь со снегом пополам. Приподняв голову, доктор Пенниуизер мог бы увидеть из окна две квадратные башни собора Парижской богородицы — неотчетливые в сумерках, они взмывают в небо совсем близко, и кажется, до них можно достать рукой: ведь остров Сен-Луи, где живет профессор, подобен маленькой барже, что скользит по течению, как на буксире, за островом Ситэ, на котором воздвигнут собор. Но Пенниуизер не поднимал головы. Уж очень он закоченел.

Огромные башни утопали во тьме. Доктор Пенниуизер утопал в унынии. С отвращением смотрел он на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже — напечатайтесь или пропадите пропадом, сказал декан, и он напечатал эту книгу и в награду получил годичный отпуск без сохранения жалованья. Мансонскому колледжу не под силу платить преподавателям, когда они не преподают. И вот на свои скудные сбережения он вернулся в Париж и снова, как в студенческие годы, поселился в мансарде ради того, чтобы читать в Национальной библиотеке рукописи пятнадцатого века и любоваться цветущими каштанами вдоль широких улиц. Но ничего не выходит. Ему уже сорок, слишком он стар для одинокой студенческой мансарды. Под мокрым снегом погибнут, не успев распуститься, бутоны каштанов. И опостылела ему его работа. Кому какое дело до его теории — «теории Пенниуизера» — о загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа Вийона? Всем наплевать. Ведь, в конце концов, его теория касательно бедняги Вийона, преступника, величайшего школяра всех времен, — только теория, доказать ее через пропасть пяти столетий невозможно. Ничего не докажешь. Да и что за важность, умер ли Вийон на Монфоконской виселице или (как думает Пенниуизер) в Лионском борделе на пути в Италию? Всем наплевать. Никому больше не дорог Вийон. И доктор Пенниуизер

тоже никому не дорог, даже самому доктору Пенниуизеру. За что ему себя любить? Нелюдимый холостяк, ученый сухарь на грошовом жалованье, одиноко торчит в нетопленной мансарде обветшалого дома и пытается накропать еще одну неудобочитаемую книгу.

— Витаю в облаках, — сказал он вслух, опять вздохнул, и опять его пробрала дрожь.

Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, закутался в него и, вот так неуклюже замотанный, снова подсел к столу и попытался закурить дешевую сигарету. Зажигалка щелкала вхолостую. Опять он со вздохом поднялся, достал жестянку с вонючим французским бензином, сел, снова завернулся в свой кокон и щелкнул зажигалкой. Оказалось, немало бензина он расплескал. Зажигалка вспыхнула — и доктор Пенниуизер тоже вспыхнул, от кистей рук и до пят.

— Проклятие! — вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени, вскочил, неистово замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на Судьбу. Вечно все идет наперекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 года, 8 часов 12 минут вечера.

В холодной комнате с высоким потолком сгорбился у стола человек. За окном позади него маячили в весенних сумерках квадратные башни собора Парижской богоматери. Перед ним на столе лежали кусок сыра и громадная рукописная книга в переплете с железными застежками. Книга называлась (по-латыни): «О главенстве стихии Огня над прочими тремя стихиями». Автор смотрел на нее с отвращением. Неподалеку, на железной печурке, медленно закипало что-то в небольшом перегонном аппарате. Жан Лемуар то и дело машинально пододвигал свой стул поближе к печурке, пытаясь согреться, но мысли его поглощены были задачами куда более важными.

— Проклятие! — сказал он наконец на французском языке эпохи позднего средневековья, захлопнул книгу и поднялся.

Что, если его теория неверна? Что, если первоэлемент, главенствующая стихия — вода? Как возможно доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь... некий метод... чтобы можно было увериться твердо, бесповоротно хотя бы в одной истине! Но каждая истина влечет за собою другие, такая чудовищная путаница, и все великие умы прошлого противоречат друг другу, да ведь никто и не станет читать его книгу, даже эти жалкие ученые сухари в

Сорбонне. Они сразу чувствуют ересь. А чего ради он старается? Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете и одиночестве, если он так ничего и не узнал, а только путался в догадках и теориях? Он яростно шагнул по мансарде из угла в угол и вдруг застыл на месте.

— Хорошо же! — сказал он Судьбе. — Прекрасно! Ты не дала мне ничего, так я сам возьму то, чего хочу!

Он подошел к кипе книг — книги повсюду штабелями громоздились на полу, — выхватил из-под низу толстый том (причем поцарапал кожаный переплет и поранил пальцы, так как фолианты, что лежали сверху, обрушились), с размаху швырнул книгу на стол и принялся изучать какую-то страницу. Потом, все с тем же застывшим на лице выражением мятежного вызова, приступил к приготовлениям: се-ра, серебро, мел... В комнате у него было пыльно и нахламлено, однако на небольшом рабочем столе порядок безукоризненный, все колбы и реторты под рукой. И вот все готово. Он чуть помедлил.

— Это нелепо... — пробормотал он и глянул в окно, туда, где теперь еле угадывались во тьме две квадратные башни.

Под окном прошел стражник, громко выкрикнул время — восемь часов, вечер холодный, ясный. Тишина такая, что слышно, как плещет в берегах Сена. Жеан Ленуар пожал плечами, нахмурился, взял кусок мела и начертил на полу, подле стола, аккуратную пентаграмму, потом взял книгу и отчетливо, хоть и несмело, начал читать вслух:

— Наеге, наеге, audi me...*

Заклинание такое длинное и почти сплошь — бессмыслица. Голос Ленуара звучал все тише. Стало скучно и как-то неловко. Наскоро пробормотал он заключительные слова, закрыл книгу — и шарахнулся, привалился спиной к двери и ошеломленно, во все глаза уставился на непонятное явление: внутри пентаграммы возник кто-то огромный, бесформенный, освещенный только голубым мерцанием, исходящим от огненных лап, которыми он неистово размахивал.

Барри Пенниуизер наконец опомнился и погасил огонь, сунув руки в складки одеяла, которым был обмотан. Он даже не очень обжегся, только отчасти утратил душевное равновесие, и опять подсел к столу. Поглядел на свою книгу. Глаза у него стали круглые. Перед ним лежала уже не

* Всмсли и повинуйся (лат.).

тошая книжка в серой обложке под названием «Последние годы Вийона, исследование различных возможностей». Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете и назывался он «Incantatoria Magna»*. У него на столе? Бесценная рукопись 1407 года? Да ведь единственный список ее, который пощадило время, хранится в Милане, в Амброзиевской библиотеке? Пенниуизер медленно обернулся. И медленно раскрыл рот от изумления. Обвел взглядом железную печурку, рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками, неправдоподобные тома в кожаных переплетах — они громоздились на полу, десятка три солидных кип, — окно, дверь. Знакомое окно, знакомая дверь. Но у двери съежился на полу кто-то маленький, бесформенный, черный, и от этого существа исходил частый треск, точно от погремушки.

Барри Пенниуизер не отличался особой храбростью, но он был человек рассудительный. Он подумал, что сошел с ума, и потому сказал совершенно спокойно:

— Вы кто, дьявол?

Существо содрогнулось и продолжало стучать зубами.

Профессор мельком глянул туда, где высился неразличимый в темноте собор, и для пробы перекрестился.

Тут непонятное существо вздрогнуло, но не отпрянуло. Потом еле слышно что-то сказало, оно отлично говорило по-английски... нет, оно отлично говорило по-французски... нет, оно довольно странно говорило по-французски.

— Значит, вы есть Господь Бог, — сказало оно.

Барри встал и попытался его рассмотреть.

— Кто вы такой? — властно спросил он.

Существо подняло голову — лицо оказалось самое обыкновенное, человеческое — и коротко ответило:

— Я Жеан Ленуар.

— Как вы попали в мою комнату?

Короткое молчание. Ленуар поднялся с колен, выпрямился во весь свой невеликий росточек — пять футов и два дюйма.

— Эта комната — моя, — сказал он наконец с ударением, хотя и вполне вежливо.

Барри обвел взглядом книги и колбы. Еще минута прошла в молчании.

— Тогда как же я сюда попал?

— Я перенес вас сюда.

— Вы маг?

* «Великис заклѣтїя» (лат.).

Ленуар с гордостью кивнул. Он весь преобразился.

— Да, я маг, — промолвил он. — Да, это я перенес вас сюда. Если Природе не угодно открыть мне знания, так я могу покорить ее, Природу, я могу сотворить чудо! Тогда к дьяволу науку! Я был ученым... с меня довольно! — Он устремил на Барри пылающий взор: — Меня называют глупцом, еретиком, что ж, клянусь Богом, я и того хуже! Я колдун, доктор черной магии, я, Жеан, чья фамилия означает Черный! Магия действует, так? Стало быть, наука — пустая трата времени. Ха! — фыркнул он, но по лицу его совсем не видно было, чтобы он торжествовал. — Лучше бы она не подействовала, — сказал он тише и зашагал взад и вперед между кипами книг.

— Я тоже предпочел бы, чтобы ваша магия не подействовала, — отозвался гость.

— Кто вы такой? — Ленуар вскинул голову и с вызовом поглядел в лицо Барри, хотя тот был на голову выше.

— Меня зовут Барри Пенниуизер. Я профессор, преподаю французский язык в Мансонском колледже, штат Индиана, провожу отпуск в Париже — продолжаю изучать позднее французское средневеко... — он запнулся. Вдруг он понял, что за произношение у Ленуара и почему его зовут не просто Жан, а Жеан. — Какой сейчас год? Какой век? Прошу вас, доктор Ленуар... — Лицо у француза стало растерянное. Слова не только звучат по-иному, изменилось, кажется, и самое их значение. — Кто правит вашей страной?! — закричал Барри.

Ленуар пожал плечами — истинно французский жест (есть вещи, которые не меняются).

— Королем сейчас Людовик, — сказал он. — Людовик Одиннадцатый. Гнусный старый паук.

Несколько минут они стояли недвижимые, точно вырезанные из дерева индейцы у дверей табачной лавки, и в упор смотрели друг на друга. Ленуар заговорил первый:

— Так, значит, вы — человек?

— Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, вы... ваши заклинания... должно быть, вы что-то напутали.

— Очевидно, — сказал алхимик. — А вы француз?

— Нет.

— Англичанин? — Глаза Ленуара гневно вспыхнули. — Проклятый британец!

— Нет. Нет, я из Америки. Я из... из вашего будущего. Из двадцатого века от Рождества Христова.

Барри покраснел. Это прозвучало преглупо, а он был человек скромный. Но он знал, ничего ему не мерещится. Он у себя в комнате, но сейчас она совсем другая. Эти стены не простояли пяти веков. Здесь не стирают пыль, но все новое. И том Альберта Великого в кипе у его колен — новехонький, в мягком, ничуть не высохшем переплете из телячьей кожи, и ничуть не потускнело тисненное золотом название. И стоит перед ним Ленуар — не в костюме, а в каком-то черном балахоне, человек явно у себя дома...

— Пожалуйста, присядьте, сударь, — говорил меж тем Ленуар. И прибавил с изысканной, хотя и рассеянной учтивостью ученого, у которого за душой ни гроша: — Должно быть, вы утомлены путешествием? Не окажете ли мне честь разделить со мною ужин? У меня есть хлеб и сыр.

Они сидели за столом и жевали хлеб с сыром. Сперва Ленуар попытался объяснить, почему он решился прибегнуть к черной магии.

— Мне все опостылело, — сказал он. — Опостылело! Я работал не щадя себя, в уединении, с двадцати лет, а чего ради? Ради знания. Дабы познать иные тайны Природы. Но познать их не дано.

Он с маху на добрых полдюйма вонзил нож в доску стола, Барри даже подскочил. Ленуар маленький, шупленький, но, видно, нрав у него пылкий. И лицо прекрасное — хоть и очень бледное, худое, но столько в нем ума, живости, одухотворенности. Пенниуизеру вспомнилось лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетах вплоть до 1953 года. Наверно, из-за этого сходства у него и вырвалось:

— Иные тайны познать дано, Ленуар; мы не так уж мало всякого узнали...

— Что же? — недоверчиво, но с любопытством спросил алхимик.

— Ну, это не моя область.

— Умеете вы делать золото? — усмехнулся Жеан.

— Нет, кажется, не умеем, но вот алмазы у нас делают.

— Каким образом?

— Из углерода... ну, в общем, из угля... при огромном нагреве и под огромным давлением, как я понимаю. Вы же знаете, и уголь и алмаз — тот же углерод, один и тот же элемент.

— Элемент?!

— Ну, я ведь говорил, сам я не...

— Который из всех — первоэлемент? Который главенствующая стихия? — закричал Ленуар, вскинул руку с ножом, глаза его сверкали.

— Элементов около сотни, — стараясь не выдать испуга, сдержанно ответил Барри.

Два часа спустя, выжав из Барри до последней капли все остатки сведений по химии, которые тот когда-то получил в колледже, Ленуар выбежал в ночь и вскоре возвратился с бутылкой.

— О, господин мой! — кричал он. — Подумать только, что я предлагал тебе всего лишь хлеб и сыр!

В бутылке оказалось чудесное бургундское урожая 1477 года, добрый выдался год для винограда. Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал:

— Если бы я мог тебя хоть как-то отблагодарить!

— Вы можете. Знакомо вам имя поэта Франсуа Вийона?

— Да, знаю, — не без удивления сказал Ленуар. — Но он ведь только сочинял какую-то чепуху, на французском сочинял, а не на латыни.

— А не знаете вы, когда и как он умер?

— Ну конечно. Его повесили здесь, на Монфоконе, то ли в шестьдесят четвертом, то ли в шестьдесят пятом, с шайкой таких же негодников. А что тебе до него?

Еще два часа спустя бургундское иссякло, горло у обоих пересохло, за окном чуть брезжил ясный холодный рассвет, и стражник выкрикнул три часа.

— Я дико устал, Жан, — сказал Барри. — Отошли-ка меня обратно.

Алхимик не стал спорить, слишком он был учтив, полон благодарности, а вдобавок, пожалуй, тоже совсем выдохся. Барри стал столбом внутри пентаграммы — высокий, костлявый, закутанный в коричневое одеяло, с дымящейся сигаретой в зубах.

— Прощай, — печально молвил Ленуар.

— До свиданья, — отозвался Барри.

Ленуар начал читать заклинание задом наперед. Пламя свечи затрепетало, голос алхимика зазвучал тише.

— Me audi, haere, haere! — прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста. Трепетал огонек свечи. — А я узнал так мало! — вскричал Ленуар в пустоту комнаты. Потом забарабанил кулаками по раскрытой книге. — И такой друг... истинный друг...

Он закурил сигарету из тех, что оставил ему Барри, — он мигом пристрастился к табаку. Так, сидя за столом, он уснул и проспал часа три. Пробудясь, посидел немного в хмуром раздумье, снова зажег свечу, выкурил вторую сигарету, а потом раскрыл книгу под названием «Incantatoria» и начал читать вслух:

— Haere, haere...

— О, слава Богу! — сказал Барри, поспешно выступил из пентаграммы и стиснул руку Ленуара. — Послушай, я вернулся туда... в эту комнату, в эту самую комнату, Жан! Но она была такая старая, ужасно старая и пустая, тебя там не было... и я подумал, Господи, да что же я наделал? Я готов душу продать, лишь бы вернуться назад, к нему... Что мне делать со всем тем, что я узнал в прошлом? Кто мне поверит? Как я все это докажу? Да и кому, черт возьми, рассказывать, когда всем на это наплевать? Я не мог уснуть, битый час сидел и проливал слезы...

— Ты хочешь здесь остаться?

— Да. Вот, я прихватил... на случай, если ты опять меня вызовешь. — Он несмело выложил восемь пачек все тех же сигарет «Голуаз», несколько книг и золотые часы. — За эти часы могут дать хорошую цену, — пояснил он. — Я знал, от бумажных франков толку не будет.

При виде печатных книг глаза Ленуара загорелись любопытством, но он не двинулся с места.

— Друг мой, — сказал он, — ты говоришь, что готов был продать душу... ну, сам понимаешь... Готов был и я. Но мы ведь этого не сделали. Так как же... в конце-то концов... как все это случилось? Оба мы люди. Не дьяволы. Не было договора, подписанного кровью. Просто два человека, оба жили в этой комнате...

— Не знаю, — сказал Барри. — Это мы продумаем после. Можно я останусь у тебя, Жан?

— Считай, что ты у себя, — сказал Ленуар и с большим изяществом обвел рукою комнату, груды книг, колбы и реторты, свечу, огонек которой уже побледнел. За окном, серые на сером небе, высились башни собора Парижской богородицы. Занималась заря третьего апреля.

После завтрака (корки хлеба и обрезки сыра) они вышли из дому и взобрались на южную башню. Собор был такой же, как всегда, только стены не такие закопченные, как в

1961 году, но вид с башни поразил Пенниуизера. Внизу лежал совсем небольшой городок. Два островка застроены домами; на правом берегу теснятся, обнесенные крепостной стеной, еще дома; на левом несколько улочек огибают здание университета... и это все. Между химерами собора, на теплом от солнца камне, ворковали голуби. Ленуар, которому этот вид был не внове, выцарапывал на паранете (римскими цифрами) дату.

— Надо отпраздновать этот день, — сказал он. — Съездим-ка за город. Уже два года я не выбирался из Парижа. Поедем вон туда... — он показал на зеленый холм вдаль, там сквозь утреннюю дымку чуть виднелись несколько хижин и ветряная мельница. — ...на Монмартр, а? Говорят, там есть неплохие кабачки.

Их жизнь быстро вошла в покойную колею. Поначалу Барри чувствовал себя неуверенно на людных улицах, но Ленуар отдал ему запасной черный плащ с капюшоном, и в этом одеянии он если и выделялся в толпе, то разве лишь высоким ростом. Во Франции пятнадцатого века он, вероятно, был самый рослый из людей. Условия жизни убогие, вши — неизбежное зло, но Барри и прежде не очень гнался за комфортом; всерьез ему не доставало только чашки кофе к завтраку. Они купили кровать, бритву (свою Барри забыл прихватить), Жеан представил его домовладельцу как мсье Барри, своего родича из Оверни, — и теперь их повседневная жизнь окончательно устроилась. Часы Пенниуизера принесли им баснословное богатство — четыре золотые монеты, довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы как диковинную новинку, сработанную в Иллирии; покупатель, камергер двора его величества, как раз подыскивал достойную вещицу в подарок королю; и поглядел на марку фирмы: «Братья Гамильтон, Нью-Хейвен, 1881» — и с понимающим видом кивнул. К несчастью, не успев еще вручить свое подношение, он угодил за решетку, в одну из клеток в замке Тур, куда Людовик XI сажал провинившихся придворных, и те часы, быть может, поныне лежат в тайнике за каким-нибудь кирпичом в развалинах Плесси; однако двум ученым мужам это ничуть не повредило.

С утра они разгуливали по городу, любовались Бастилией и парижскими храмами, либо навещали разных второстепенных поэтов, которыми интересовался Барри; после завтрака рассуждали об электричестве, о теории атома, о физиологии и прочих материях, коими интересовался Ле-

нуар, производили небольшие химические и анатомические опыты — как правило, неудачные; после ужина просто беседовали. В долгих непринужденных беседах они переносились через века, но под конец неизменно возвращались сюда, в полутемную комнату с окном, настезь открытым весенней ночи, к своей дружбе. Через две недели уже казалось, будто они знают друг друга всю жизнь. Они были совершенно счастливы. Оба понимали — им не удастся применить знания, полученные друг от друга. Как мог бы Пенни-уизер в 1961-м доказать истинность своих познаний о старом Париже? Как мог бы Лемуар в 1482-м доказать истинную ценность научного метода познания? Обоих это ничуть не огорчало. Они и прежде всерьез не надеялись, что их хоть кто-то выслушает. Они жаждали только одного — познать.

Итак, впервые за всю свою жизнь оба они были счастливы; настолько счастливы, что в них стали пробуждаться кое-какие желания, которые прежде задушены были жаждой знаний.

Однажды вечером, сидя за столом напротив Жеана, Барри сказал:

— Я полагаю, ты никогда особенно не помышлял о женитьбе?

— Да нет, — неуверенно ответил друг. — Все же я лицо духовное, хоть сан мой и скромн... да и как-то было не до женитьбы...

— И это удовольствие не из дешевых. Да притом в мое время ни одна уважающая себя женщина не захотела бы жить, как жил я. Американки до дьявола самоуверенны и деловиты, блистательны, но наводят на меня страх...

— А наши женщины маленькие и черные, как жуки, и у них гнилые зубы, — мрачно сказал Лемуар.

В тот вечер о женщинах больше не говорили. Но заговорили на завтра, и на следующий вечер, а на третий друзья удачно препарировали икрную самку лягушки, выделили нервную систему, распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки Монраше 1474 года и порядком захмелели.

— Читай-ка заклятие, Жеан, вызовем женщину, — сладострастным басом предложил Барри и ухмыльнулся, точно химера на соборе.

— А вдруг на этот раз я вызову дьявола?

— Пожалуй, разница невелика.

Они неудержимо расхохотались и начертили пентаграмму.

— Наеге, наеге... — начал Лемуар.

Тут его одолела икота, и за дело взялся Барри. Дочитал до конца. Налетел порыв холодного ветра, запахло болотом — и в пентаграмме возникло совершенно обнаженное существо с длинными черными волосами и дикими от ужаса глазами, оно отчаянно визжало.

— Ей-Богу, это женщина, — сказал Барри.

— Разве?

Да, это была женщина.

— На вот тебе мой плащ, — сказал Барри, потому что несчастная вся тряслась, испуганно тараща глаза.

И накинул плащ ей на плечи. Женщина машинально завернулась в плащ, пробормотала:

— Gratos ago, domine*.

— Латынь! — вскричал Лемуар. — Женщина — и говорит по-латыни?!

Он был этим столь глубоко потрясен, что даже Бота быстрее оправилась от перенесенного ужаса. Оказалось, она была рабыней в доме супрефекта Северной Галлии, жил супрефект на меньшем из островов затерянного в болоте островного города, называемого Лютеция. По-латыни Бота говорила с сильным кельтским акцентом и даже не знала, кто был римским императором в то время, из которого она явилась. «Истинная дочь варварского племени», — презрительно заметил Лемуар. Да, правда, она была невежественная, молчаливая смиренная дикарка с гривой спутанных волос, белой кожей и ясными серыми глазами. Заклятие вырвало ее из глубины крепчайшего сна. Когда два приятеля наконец убедили ее, что они ей не снятся, она, видно, приписала случившееся какой-то прихоти своего чужеземного всемогущего господина — супрефекта и приняла свою участь, не задаваясь больше никакими вопросами.

— Я должна вам служить, господа мои? — осведомилась она робко, но не хмуро, глядя то на одного, то на другого.

— Мне — нет, — проворчал Лемуар и прибавил по-французски, обращаясь к Барри: — Валяй действуй, я буду спать в чулане.

Он вышел.

Бота подняла глаза на Барри. Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким великолепным высоким рос-

* Благодарю, господин (лат.).

том, ни один галл и ни один римлянин никогда не говорил с нею так по-доброму.

— Светильник почти догорел, — сказала она (то была свеча, но Бота никогда прежде не видела свеч). — Задуть его?

За добавочную плату — два соля в год — домовладелец разрешил им устроить в чулане вторую спальню, и Лемуар теперь опять спал в большой комнате мансарды один. На идиллию друга он смотрел с хмурым интересом, но без зависти. Профессора и рабыню соединила нежная, восторженная любовь. Их счастье переливалось через край, обдавая и Лемуара волнами радостной заботливости. Горька и жестока была прежняя жизнь Боты, все видели в ней только женщину, но никто не обращался с нею как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела, воспрянула духом — и оказалось, под кроткой покорностью таилась натура жизнерадостная, быстрый ум. Однажды ночью Жеан услышал (стенки чердака были тонкие), как Барри упрекнул ее:

— Ты становишься заправской парижанкой.

И она ответила:

— Знал-бы ты, как я счастлива, что не надо всегда ждать опасности, всего бояться, всегда быть одной...

Лемуар сел на постели и глубоко задумался. К полуночи, когда все кругом затихло, он поднялся, бесшумно приготовил щепотки серы и серебра, начертил пентаграмму, раскрыл драгоценную книгу. И чуть слышно, опасливо прочитал заклятие.

Внутри пентаграммы появилась маленькая белая собачка. Она съежилась, поджав хвостик, потом несмело подошла к Лемуару, понюхала его руку, поглядела в лицо ему влажными ясными глазами и тихонько, просительно заскулила. Щенок, потерявший хозяина... Лемуар ее погладил. Собачонка лизнула ему руки и стала прыгать на него вне себя от радости. На белом кожаном ошейнике, на серебряной пластинке, выгравирована была надпись: «Красотка. Принадлежит Дюпону, улица Сены, 36, Париж, VI округ».

Красотка погрызла хлебную корку и уснула, свернувшись в клубок под стулом Лемуара. Тогда алхимик опять раскрыл книгу и начал читать, все так же тихо, но на сей раз без смущения, без страха, уже зная, что произойдет.

Наутро Барри вышел из чулана-спальни, где проводил он медовый месяц, и на пороге остолбенел. Лемуар сидел на

своей постели, гладил белого щенка и увлеченно беседовал с особой, что сидела в изножье кровати, — высокой огненно-рыжей женщиной в серебряном одеянии. Щенок залаял. Ленуар сказал:

— Доброе утро!

Рыжая женщина чарующе улыбнулась.

— Черт меня побери, — пробормотал Барри (по-английски). Потом сказал: — Доброе утро. Откуда вы взялись?

Эта женщина походила на кинозвезду Риту Хейворт, только облагороженную... пожалуй, сочетание Риты Хейворт и Моны Лизы?

— Я с Альтаира, примерно из седьмого тысячелетия после вашего времени, — ответила она и улыбнулась еще очаровательней. По-французски она говорила похуже какого-нибудь первокурсника-футболиста из американского колледжа. — Я археолог, веду раскопки в развалинах Третьего Парижа. Извините мое прескверное произношение, ваш язык мы, понятно, знаем только по надписям.

— С Альтаира? Со звезды? Но вы с виду совсем земная женщина... так мне кажется...

— Люди с Земли поселились на нашей планете примерно четыре тысячи лет назад... то есть через три тысячи лет от вашего времени. — Она засмеялась еще очаровательней и взглянула на Ленуара. — Жеан мне все объяснил, но я еще немного путаюсь.

— Опасно было повторять этот опыт, Жеан! — с упреком сказал Барри. — До сих пор нам, знаешь ли, просто на редкость везло.

— Нет, — возразил француз, — это не просто везение.

— Но, в конце концов, ты шутики шутишь с черной магией... Послушайте... не имею чести знать вашего имени, сударыня...

— Кёслк, — назвалась она.

— Послушайте, Кёслк, — без малейшей запинки продолжал Барри. — В ваше время наука, должно быть, невообразимо ушла вперед... скажите, есть на свете какое-то колдовство? Существует оно? Можно ли и вправду нарушить законы Природы — ведь вот, похоже, мы их нарушаем?

— Я никогда не видела подлинного колдовства и не слышала ни об одном научно подтвержденном случае.

— Тогда что же происходит?! — завопил Барри. — Почему это дурацкое старое заклятие служит Жеану, всем нам —

только оно одно и только здесь, больше ни у кого и нигде не случилось ничего подобного за пять... нет, за восемь, нет, за пятнадцать тысяч лет, что существует история?! Почему так? Почему? И откуда взялась эта чертова собачонка?

— Собачка потерялась, — сказал Ленуар, смуглое лицо его было очень серьезно. — Потерялась на острове Сен-Луи, где-то неподалеку от этого дома.

— А я разбирала черепки на месте жилого дома на Втором острове, четвертый участок раскопок, сектор Д. Такой чудесный весенний день, а мне он был ненавистен. Просто отвратителен. И этот день, и работа, и все люди вокруг. — Кёслк опять поглядела на сурового маленького алхимика долгим, спокойным взглядом. — Сегодня ночью я пыталась объяснить это Жеану. Понимаете, мы усовершенствовали человечество. Все мы теперь очень рослые, здоровые, красивые. Не знаем, что такое пломбы. У всех черепов, раскопанных в Ранней Америке, в зубах пломбы... Среди нас есть люди с коричневой кожей, и с белой, и с золотистой. Но все — красивые, здоровые, уравновешенные, напористые, преуспевающие. Профессию и степень успеха для нас заранее определяют в государственных детских домах. Но изредка попадают гены с изъяном. Вот как у меня. Меня учили на археолога, потому что наши Учителя видели, что я, в сущности, не люблю людей, тех, кто вокруг. Люди наводили на меня скуку. С виду все — такие же, как я, а внутренне все мне чужие. Если всюду кругом одно и то же, где найти дом?... А теперь я увидела не слишком чистое и не слишком теплое жилище. Увидела собор, а не развалины. Встретила человека меньше меня ростом, с испорченными зубами и пылким нравом. Теперь я дома, здесь я могу быть сама собой, я больше не одна!

— Не одна, — негромко сказал Ленуар Пенниуизеру. — Одиночество, а? Одиночество и есть колдовство, одиночество сильнее всякого колдовства... В сущности, это не противоречит законам Природы.

Из-за двери выглянула Бота, лицо ее, обрамленное непослушными черными волосами, раздумянилось. Она застенчиво улыбнулась и по-латыни учтиво поздоровалась с гостьей.

— Кёслк не понимает по-латыни, — с истинным наслаждением сказал Ленуар. — Придется поучить Боту французскому. И ведь французский — это язык любви, так? Вот что, выйдем-ка в город, купим хлеба, я проголодался.

Он завернулся в свой траченный молью черный балахон, а Кёслк поверх серебряной туники набросила надежный, все скрывающий плащ. Бота причесалась, Барри рассеянно поскреб шею — вошь укусила. А потом все отправились добывать завтрак. Впереди шли алхимик с межзвездным археологом и разговаривали по-французски; за ними следовали галльская рабыня и профессор колледжа из штата Индиана, держась за руки и разговаривая по-латыни. На узких улицах былолюдно, ярко светило солнце. Высоко в небо вздымались квадратные башни собора Парижской богородицы. Рядом играла мягкой зыбью река. Был апрель, и в Париже, по берегам Сены, цвели каштаны.

МАСТЕРА

«Мастера» — первый из опубликованных мною достоверных, настоящих, реальных, в действительности научно-фантастических рассказов. Я имею в виду такие рассказы, в которых, или для которых, в той или иной степени имеют значение существование и достижения науки. По крайней мере, так я определяю понятие научной фантастики по понедельникам. По вторникам же ко мне иногда приходят совершенно другие мысли по этому поводу.

Некоторые авторы научно-фантастической литературы питают отвращение к науке, ее сущности, методам и трудам, другим же все это нравится. Одни ненавидят технологию, другие — почитают ее. Я нахожу комплексную технологию довольно скучной, зато интересуюсь биологией, психологией и теоретическими разделами астрономии и физики, поскольку эти области науки понятны для меня. В моих рассказах довольно часто встречается образ ученого — обычно довольно одинокого, замкнутого авантюриста, любителя находиться на грани неизведанного.

К теме, затронутой в «Мастерах», я обращалась позднее, когда была гораздо лучше теоретически подкована. В этом рассказе есть одно прекрасное изречение: «Он попытался измерить расстояние между землей и Богом».

The Masters

Copyright © 1963 by Ursula K. Le Guin

Мастера

© Издательство «Полярис», перевод, 1997

Держа дымящийся факел, в темноте одиноко стоял обнаженный человек. Красноватый отблеск пламени освещал пространство и землю всего на несколько футов вокруг; за пределами же этого маленького островка света царила темнота, безмерная темнота. Время от времени налетали порывы ветра, в темноте мелькали чьи-то сверкающие в отблесках пламени глаза и раздавалось многоголосое бормотание: «Подними факел выше!» Обнаженный человек подчинился этому требованию и поднял прямо над головой факел, который покачнулся в дрогнувших руках. А темнота продолжала стремительно наступать, быстро и невнятно что-то бормоча, окружая человека. Ветер становился все холоднее, красное пламя оплывало. Негнувшиеся руки человека задрожали — сначала едва заметно, потом все сильнее; лицо его покрылось потом; и он только слышал тихое, но настойчивое: «Подними факел, подними факел...» Течение времени остановилось, и только шепот все нарастал и нарастал, превращаясь в рев и нагоняя еще больше ужаса; никто и ничто не касалось человека, и он продолжал один стоять в свете пламени.

— А теперь иди! — проревел чей-то голос. — Иди вперед!

Держа факел над головой, человек шагнул вперед, на землю, которую не было видно в темноте. А ее не оказалось. Он упал с криком о помощи, окруженный темнотой и грохотом, не видя больше ослепляющего пламени факела.

Время... время, и свет, и боль, все началось опять. Стоя в грязи на четвереньках, человек припал к земле на дне какой-то канавы. Лицо жгло, яркий свет бил в глаза, затуманивая зрение. Голый, покрытый грязью, он посмотрел вверх на неясную сияющую фигуру, стоящую над ним. Свет величественно падал на белые волосы, складки длинной белой мантии. Незнакомец пристально вглядывался в Гэнила.

— Ты лежишь в могиле, — раздался уже знакомый голос. — В могиле знания. Здесь же, под толщей золы Адского огня покоятся твои праотцы. Восстань же, падший Человек! — Голос звучал все громче.

Гэнилу удалось подняться на ноги.

— Это свет Человеческого Разума, — продолжала вещать белая фигура. — И этот свет привел тебя в могилу. Брось факел.

Гэнил обнаружил, что все еще держит пропитавшуюся грязью черную палку — факел, и бросил его.

— А теперь поднимись! — ликующе прокричала белая фигура. — Восстань из тьмы и войди в Свет Общего Дня!

К Гэнилу потянулось множество рук, помогая подняться. Преклонив колени, люди подавали ему тазы с водой и губки, вытирали Гэнилу, терли досуха до тех пор, пока он не согрелся и не стал чистым. На плечи ему накинута серый плащ. Послышались болтовня и смех, все стронулись с места и направились в ярко освещенный просторный зал.

— Давай-давай. — Гэнилу хлопнул по плечу какой-то лысый человек. — Пришло время Клятвы.

— А я... я справился?

— Еще как! Но ты так долго держал этот проклятый факел. Мы думали, что нам придется весь день бурчать в темноте. Ну иди.

Гэнилу провели по черной мостовой, под очень высокими, сияющими белизной потолками, к ослепительно белому занавесу, ниспадающему несколькими прямыми складками с высоты тридцати футов от потолка до пола.

— Это Занавес Тайны, — сказал кто-то Гэнилу бесстрастно.

Смех и разговоры затихли; все молча стояли вокруг. Белый занавес раздвинулся в звенящей тишине. Гэнил во все глаза смотрел на показавшиеся высокий алтарь, длинный стол и старика, одетого во что-то белое.

— Кандидат, готов ли ты вместе с нами произнести слова Клятвы?

— Да, — шепнул кто-то, слегка подтолкнув Гэнилу.

— Да, — заикаясь повторил тот.

— Тогда поклянитесь, Мастера Обряда! — Старик поднял отлитый из серебра Х-образный крест на железном стержне. — Этим Крестом Общего Дня я клянусь никогда и никому не открывать обряды и тайны моей Ложи...

— Этим Крестом... я клянусь... обряды, — невнятно забормотали окружающие, и Гэнил, вздрогнув от очередного толчка в бок, повторил слова Клятвы.

— Хорошо работать, правильно жить, правильно думать... — Как только Гэнил произнес эти слова, кто-то шепнул ему на ухо: — Не клянись.

— Избегать ереси, выдавать всех колдунов суду Коллегии и подчиняться Верховным Мастерам моей Ложи с этого момента и впредь до самой смерти...

Бормотание, бормотание. Некоторые повторяли весь длинный текст клятвы, некоторые нет. Смущенный этим, Гэнил пробормотал пару слов и замолчал.

— И я клянусь никогда не учить язычников Тайнам Механизмов. Клянусь Солнцем.

Скрежешущий грохот почти заглушил все голоса. Медленно, с шумом и лязгом, отодвинулась секция крыши, и над присутствующими открылось желто-серое, затянутое облаками летнее небо.

— Вот он, Свет Общего Дня! — торжественно выкрикнул старик в белой мантии.

Гэнил посмотрел вверх. Машины, вероятно, застопорились до того, как световой люк открылся полностью, раздался громкий скрежет моторов, и воцарилась тишина. Старик вышел вперед, поцеловал Гэнила в обе щеки:

— Добро пожаловать, Мастер Гэнил, на Сокровенный Обряд Таинства Механизмов. — Посвящение закончилось. Гэнил стал Мастером Ложи.

— Ну и ожог ты заработал тут, — сказал лысый парень, когда все двинулись назад в зал. Гэнил поднял руку и обнаружил, что его левая щека и висок кровоточат и болят. — Хорошо хоть, что в глаз не попало.

— Огонь Разума чуть не ослепил тебя, да? — произнес чей-то тихий голос.

Обернувшись, Гэнил увидел бледного человека с каштановыми волосами и голубыми, действительно голубыми, глазами, такими, какие бывают у котов-альбиносов или слепых лошадей. Он мгновенно отвел взгляд от этого изъяна, но бледный человек продолжал говорить тихим голосом — тем самым, который шепнул «Не клянись», когда Гэнил произносил слова Клятвы.

— Меня зовут Блондин Меде. Я буду работать вместе с тобой в мастерской Ли. Не составишь мне компанию за кружкой пива?

Влажное и мутное, пахнущее пивом тепло таверны показалось Гэнилу странным после пережитой днем, исполненной ужаса церемонии. Он почувствовал головокружение. Блондин Меде отхлебнул пива из высокой кружки и с удовольствием вытер пену с губ.

— Что ты думаешь о церемонии посвящения? — спросил он.

— Мне показалось, что все это было...

— Унизительно?

— Да, — согласился Гэнил. — По-настоящему унизи-тельно.

— И даже оскорбительно, — добавил голубоглазый чело-век.

— Да. Это... это великая тайна. — Сбитый с толку, Гэ-нил уставился в кружку с пивом.

— Я знаю, — сказал тихим голосом Меде и улыбнулся. — Давай выпей. Я думаю, тебе стоит показать свой ожог Ап-текарю.

Гэнил покорно последовал за Меде, и они вышли на узкие улицы вечернего города, заполненные пешеходами, неуклюжими моторными повозками и телегами, запряжен-ными лошадьми и быками. Палатки ремесленников на пло-щади Купцов уже закрывались на ночь, были заперты и огромные двери мастерских и Лож, располагающихся вдоль Высокой улицы. Беспорядочно понастроенные, теснящие-ся дома там и сям разделяли глухие желтые фасады город-ских храмов, узнаваемых по плоскому круглому диску из полированной латуни. Под неподвижными облаками, озаренные тусклым светом сумерек короткого лета, толпились, бездельничали, болтали, ругались и смеялись черноволосые и смуглые люди Общего Дня. Гэнил, чувствуя головокруже-ние от усталости, боли и крепкого пива, все время держался рядом с Меде, словно в новой жизни — жизни Мастера этот голубоглазый незнакомец стал его единственным дру-гом и опорой.

— XVI плюс IXX, — раздраженно произнес Гэнил. — Ка-кого черта, парень, ты что, не можешь прибавить?

— А может, получится XXXVI, Мастер Гэнил? — чуть слышно проговорил подмастерье, и щеки его вспыхнули.

Вместо ответа Гэнил засунул один из обработанных па-реньком на станке стержней в положенное для него место в паровой машине, починкой которой они занимались; стер-жень оказался длиннее чем надо на дюйм.

— Это все потому, что у меня большой палец больно длинный, сэр, — сказал мальчик, демонстрируя свои узло-ватые кисти. Расстояние между суставами большого пальца и на самом деле было необычно велико.

— И правда. — Темное лицо Гэнила потемнело еще боль-ше. — Очень интересно. Но ведь неважно, какой длины твой дюйм, если ты используешь его последовательно. А важно то, болван, что при добавлении XVI к IXX никогда не

получается, не получалось и не получится XXXVI — до окончания веков — ты, тупой язычник!

— Да, сэр, так трудно это все запомнить.

— А запоминать всегда трудно, Ванно Прентис, — произнес чей-то низкий голос: это появился Ли, начальник мастерской, толстый человек с мощной грудью и ясными черными глазами. — Подойди-ка сюда на минутку, Гэнил.

Проведя Гэнила в тихий уголок огромной мастерской, Ли бодро продолжил:

— А ты нетерпелив, Мастер Гэнил.

— Ванно должен знать таблицу прибавления.

— Но тебе же известно, что даже Мастера частенько забывают прибавления. — Ли по-отечески похлопал Гэнила по плечу. — А ты разговаривал с Ванно таким тоном, словно ожидал, что паренек сможет это вычислить! — Ли засмеялся громким раскатистым басом, глаза его смотрели весело и проницательно. — Не слишком обращай на них внимание, вот и все... Полагаю, ты приедешь на ужин в следующий День Алтаря?

— Я бы взял на себя вольность...

— Вот и прекрасно! Все в твоих руках. Я бы хотел, чтобы она подружилась с таким спокойным парнем, как ты. Но хочу честно тебя предупредить. Моя дочь — своенравная, дерзкая девчонка. — Мастер Ли снова засмеялся.

Гэнил уныло ухмыльнулся. Дочь начальника мастерской вертела как хотела не только всеми мужчинами мастерской, но и собственным отцом. Ее ум и живость сначала даже немного напугали Гэнила. Он не сразу заметил, что только с ним девушка разговаривает немного стесняясь, чуть-чуть застенчиво. В конце концов Гэнил собрался с духом и попросил у ее матери разрешения пригласить дочь на ужин, предприняв тем самым первый официальный шаг к ухаживанию. И сейчас Гэнил стоял там, где его оставил Ли, вспоминая очаровательную улыбку Лани.

— Гэнил, а ты когда-нибудь видел Солнце?

Голос, задавший вопрос, был тихий, сдержанный и спокойный. Гэнил повернулся и посмотрел в голубые глаза своего друга.

— Солнце? Ну конечно.

— А когда в последний раз?

— Сейчас скажу... мне тогда было двадцать шесть... Четыре года назад. А разве тебя тогда не было в Эдане? Солнце вышло сразу около полудня, и ночью все смогли увидеть

звезды. Помню, я успел сосчитать восемьдесят одну звезду, а потом небо снова затянули облака.

— Я тогда уезжал на север, в Кейлин, в свою первую Школу Мастерства. — Говоря, Меде прислонился к деревянным прутьям решетки, огораживающей модель тяжелой паровой машины. Его светлые глаза глядели в окно, за которым шел неизменный проливной дождь поздней осени. — Слышал, как ты выговаривал молодому Ванно только что... Какая разница, что из XIV и IXX не получается XXXVI?

— Когда мне было двадцать шесть, четыре года назад... я сосчитал восемьдесят одну звезду...

— Еще немного, и ты сможешь вычислять, Гэнил.

Гэнил нахмурился, машинально потирая белесый шрам на виске.

— Черт возьми, Меде! Даже язычники знают такие простейшие прибавления!

Меде чуть улыбнулся. Затем взял Жезл Сравнения и нарисовал на пыльном полу что-то круглое.

— Что это? — спросил он.

— Солнце.

— Правильно. Но также цифра. Число. Обозначающее Ничто.

— Цифра, обозначающая Ничто?

— Да. Ты можешь использовать ее в таблицах вычитания, например. Если из II вычесть I, то останется I, правильно? Но что получится, если из II вычесть II? — Возникла пауза. Меде постучал по кругу палкой: — Вот это.

— Да, конечно. — Гэнил изумленно уставился на нарисованный круг, священное изображение Солнца, Затерянный Свет, лицо Бога. — Это сокровенное знание священников?

— Нет. — Меде нарисовал поверх круга Х-образный крест. — Вот оно — знание наших священников.

— Но тогда кто же открыл цифру, обозначающую Ничто?

— Никто. Некто. Это не тайна.

Гэнил нахмурился, удивляясь такому заявлению. Они говорили вполголоса, стоя близко друг к другу, словно обсуждали, какие измерения можно производить с помощью Жезла Сравнения Меде.

— Гэнил, а почему ты считал звезды?

— Я... Мне хотелось знать. Мне всегда нравилось считать, нравились цифры, таблицы. Поэтому я стал Механиком.

— Понятно. Тебе ведь сейчас тридцать, да? Вот уже четыре месяца как ты стал Мастером. Гэнил, а ты никогда не думал о том, что быть Мастером означает постичь все, чему может научить твое ремесло? С настоящего момента до самой смерти ты никогда не узнаешь ничего больше. Потому что больше узнавать нечего.

— Но начальники мастерских...

— Они знают некоторые секретные знаки и пароли, — сказал Меде своим тихим бесстрастным голосом, — и, конечно, наделены определенной властью. Но знают они не больше тебя... Ты, наверное, думал, что им разрешено заниматься вычислениями? Нет.

Гэнил молчал.

— И все-таки есть еще в мире вещи, которые можно изучить, Гэнил.

— Где?

— Повсюду. Вокруг нас.

Возникла долгая пауза.

— Я не могу слушать тебя, Меде. Не говори больше ничего. Я не выдам тебя.

Гэнил развернулся и пошел прочь, лицо его исказилось от злости. И всю эту злость он, смущаясь и негодуя, обратил против Меде, человека, чьи мысли оказались так же уродливы, как и тело, наместника зла, потерянного друга.

Это был приятный вечер: веселый Ли, его заботливая, толстая жена и Лани, застенчивая и сияющая. Гэнил держал себя слишком серьезно для своих лет, что заставляло девушку поддразнивать его. Но даже в этом постоянном поддразнивании проскальзывало смущение и желание понравиться. В некоторые моменты казалось, что независимость и гордость девушки обернутся нежностью. Один раз, передавая блюдо, Лани коснулась Гэнила. Он до сих пор помнил это легкое прикосновение у запястья правой руки. Лежа в кровати в своей комнате, находящейся над мастерской, и глядя в непроглядную темень городской ночи, Гэнил застонал от удовольствия. О, Лани, ах, это нежное касание, а губы... о Господи, о Господи! Ухаживание — это такое долгое дело, по крайней мере восемь месяцев, шаг за шагом, как и следует себя вести с дочерью Мастера. Надо постараться выбросить из головы эту невыносимую сладость. «Не думай ни о чем, — твердо сказал он себе. — Спи.

Думай ни о чем». И он стал думать ни о чем. Сколько получится, если 0 взять 1 раз? Столько же, если 11 взять 0 раз. А что, если поставить 1 перед 0, что за цифра получится — 10?

Блондин Меде сел в кровати, каштановые волосы свисали на пьяные голубые глаза. Он попытался разглядеть фигуру, с грохотом мечущуюся по комнате. В окно проник первый грязно-желтый луч рассвета.

— Сегодня же День Алтаря, — проворчал Меде, — уходи, я хочу спать.

Неясная фигура приняла очертания Гэнила, грохот же превратился в шепот.

— Меде! — Гэнил сунул Меде под нос грифельную доску. — Посмотри, посмотри, что можно сделать с цифрой, обозначающей Ничто...

— А-а, ты про это, — буркнул Меде, оттолкнул Гэнила и грифельную доску, подошел к тазу, стоящему на комоде, окунул голову в ледяную воду и постоял так несколько мгновений. Затем, весь промокший, вернулся и сел на кровать. — Ну давай поглядим.

— Смотри, за основу можно взять любое число — я использовал XII, потому что это удобно. XII запишем как I-0, а XIII как I-I, и когда мы добираемся до XXIV...

— Тс-с. — Меде изучал грифельную доску. — А ты запомнишь все это? — наконец спросил он. Гэнил утвердительно кивнул, после чего Меде стер с грифельной доски четко выстроившиеся цифры. — А я и не додумался, что за основу можно взять любое число... Ну-ка, возьмем за основу X — и получим способ, который все упрощает. Теперь X станет 10, XI превратится в 11, а для XII напишем вот что. — И он нарисовал на дощечке цифру 12.

Гэнил внимательно смотрел на дощечку.

— Это ведь одно из черных чисел? — наконец произнес он дрогнувшим голосом.

— Да. Знаешь, что ты сделал, Гэнил? Подошел к черным числам через заднюю дверь.

Гэнил молчал.

— А сколько будет CXX раз по MCC? — спросил Гэнил. — Таблицы не заходят так далеко.

— Смотри. — Меде принялся писать на дощечке:

1200

120

и Гэнил увидел, как далее появляется

$$\begin{array}{r} 0000 \\ 2400 \\ 1200 \\ \hline 144000 \end{array}$$

Возникла еще одна длительная пауза.

— Три Ничто... XII раз по XII... Дай мне дощечку, — бормотал Гэнил. Наступила тишина, нарушаемая лишь стуком дождя и скрипом мела по дощечке. — Какое черное число соответствует VIII? — наконец спросил он.

Когда над городом в этот холодный День Алтаря сгустились сумерки, двое друзей все еще продолжали писать что-то на грифельной дощечке и говорить, перебивая друг друга. Меде рассказал Гэнилу все, что знал о числах и цифрах, но Гэнилу этого показалось мало.

— Тебе надо встретиться с Ином, — сказал голубоглазый человек. — Он научит тебя всему необходимому. Ин работает с углами, треугольниками, измерениями. При помощи своих треугольников он может измерить расстояние между любыми двумя точками — даже теми, которых нельзя достигнуть. Он великий Ученик. Числа — сердце его знаний, их язык.

— И мой язык.

— Да. Но не мой. Я не люблю числа сами по себе. Только чтобы объяснить что-то необъяснимое... Например, если бросить мяч, что заставляет его двигаться?

— Ты же бросаешь его, — ухмыльнулся Гэнил. Он был белым как простыня — бледнее, чем Меде. Голова его кружилась: он шестнадцать часов занимался математикой, ничего не ел и не спал. Он потерял какой-либо страх, всю былую покорность. И улыбался словно король, вернувшийся из изгнания.

— Ну ладно, — сказал Меде. — Но почему мяч *продолжает* двигаться?

— Потому что... потому что его поддерживает воздух.

— Но в таком случае почему он вообще падает? Почему он движется по дуге? Что это за дуга? Вот видишь, для чего мне нужны твои цифры? — Теперь уже Меде стал похож на короля, но злого короля, царствующего в империи слишком большой и плохо поддающейся управлению. — А они говорят о Тайнах, — он фыркнул, — в своих маленьких, за-

крытых ставнями мастерских!.. Ладно, пошли. Давай поужинаем и навестим Ина.

Построенный прямо против городской стены высокий старый дом узкими окнами всматривался в двух молодых Мастеров, стоящих на улице. Над крутыми, сияющими от дождевых капель шиферными крышами нависли блеклые сумерки поздней осени.

— Ин, как и мы, был Мастером Механизмов, — рассказывал Меде Гэнилу, пока они ждали около обитой железом двери. — Сейчас он в отставке — ты поймешь почему. Сюда приезжают люди из всех Лож: аптекари, ткачи, каменщики. Даже некоторые ремесленники. Как-то раз приезжал мясник. Он вскрывает мертвых котов. — В голосе Меде звучало забавное пренебрежение, с каким обычно физики говорят о биологах.

В этот момент дверь распахнулась, вышел слуга и повел пришедших наверх, в комнату, где в огромном камине докрасна накалились поленья. С дубового кресла с высокой спинкой поднялся человек, чтобы поприветствовать гостей.

Гэнил сразу вспомнил Верховного Мастера Ложи — фигуру, которая прокричала ему, лежащему в могиле: «Восстань». Ин тоже был старым и высоким и носил белую мантию Верховного Мастера. Он сутулился, а его морщинистое лицо выглядело утомленным, словно у старой гончей. Приветствуя гостей, он протянул левую руку. На правой же вместо кисти виднелась незажившая, гладкая культя.

— Это Гэнил, — сказал Меде. — Сегодня ночью он избрал двенадцатеричную систему. Мастер Ин, позволь ему поработать над математикой дуг для меня.

— Добро пожаловать, Гэнил. — Ин издал короткий старческий смешок. — С этого момента можешь приходить сюда когда вздумается. Все мы здесь колдуны и упражняемся в колдовском искусстве. По крайней мере, пытаемся... Приходи, не стесняясь, днем или ночью. И уходи, когда захочешь. Если нас предадут, так тому и быть. Мы должны доверять друг другу. Тайны не принадлежат людям, мы не держим секретов, а лишь практикуемся в искусстве. Ты понял что-нибудь?

Гэнил кивнул. Слова не всегда доходили до него так же легко, как цифры. Он вдруг почувствовал волнение, смущение. Все происходящее не было похоже на торжественное, официальное, символическое Посвящение и Клятву. Старик говорил просто, тихо и спокойно.

— Вот и хорошо, — сказал Ин так, словно кивка Гэнила было достаточно. — Немного вина, молодые Мастера, или эль? В этом году мой темный эль удался. Так тебе нравятся числа, Гэнил?

Ранней весной Гэнил стоял в мастерской, наблюдая за неловкими попытками Ванно произвести при помощи Жезла Сравнения замеры мотора для грузовой повозки. Лицо Гэнила было мрачным. Он изменился за последние несколько месяцев, выглядел теперь старше, более решительным, суровым. Четыре часа сна по ночам и изобретение алгебры могут очень сильно изменить человека.

— Мастер Гэнил! — проговорил робкий голос.

— Повтори замер еще раз, — велел он Ванно, обернулся и вопросительно посмотрел на девушку.

Лани тоже заметно изменилась. Она выглядела слегка раздраженной, одинокой и разговаривала с Гэнилом застенчиво.

Он приступил ко второму этапу ухаживания: три раза приглашал ее на прогулку. Затем Гэнила поглотила работа с Ином, и дальше в отношениях с девушкой он не продвинулся. Еще ни один мужчина не оставлял Лани посреди процесса ухаживания. Ни один человек еще не смотрел прямо сквозь нее, как это сейчас делал Гэнил. Лани страстно желала узнать, что же он видел, когда вперял в нее невидящий взор, хотела добраться до его секрета, до него самого. Каким-то смутным, неясным чутьем Гэнил чувствовал это, жалел девушку и одновременно немного ее побаивался.

— А эти... эти размеры когда-нибудь меняют? — наблюдая за Ванно, спросила Лани, пытаясь завязать разговор.

— Изменение модели является нарушением, недопустимым по отношению к Изобретению, — ответил Гэнил, прервав ненужные расспросы.

— Отец просил передать тебе, что завтра мастерская будет закрыта.

— Закрыта? Почему?

— Коллегия объявила, что поднимается западный ветер и завтра может показаться Солнце.

— Хорошо! Что ж, весна неплохо начинается, да? Спасибо. — И он снова отвернулся к модели.

На этот раз священники Коллегии оказались правы. Предсказание погоды, которому они посвящали почти всю свою жизнь, было неблагодарным занятием. Но один раз из десяти они предугадывали появление Солнца, как и случилось

сейчас. К полудню дождь прекратился, облака, затягивавшие небо, побледнели, вскипели и медленно двинулись к западу.

В середине дня весь народ Эдана высыпал на улицы и площади; люди забирались на трубы, крыши и верхушки деревьев, на стены, собирались на полях за городскими стенами — и все смотрели в небо. Священники начали исполнять на внешнем дворе Коллегии ритуальный танец, кланяясь и покачиваясь. В каждом храме ждали своего часа служители, готовые в любой момент потянуть за цепь, открывающую крыши, и дать лучам Солнца упасть на камни перемен.

Ближе к вечеру небо наконец обнажилось. Между рваными, словно закопченными, кромками желто-серых облаков появилась голубая полоска. Над улицами, площадями, окнами, крышами, стенами города Эдана пронеслись вздох и мощный ропот: «Небо, небо...»

Прореха в тучах все ширилась. Свежий ветер разогнал пелену падающего на город дождя, и капли его внезапно засверкали, словно ночью от света факелов. Но сейчас в сияющих каплях отражалось Солнце. Оно появилось на западе и, ослепляя всех вокруг, одиноко зависло в небесах.

Гэнил стоял среди толпы, обратив лицо к небу. На виске, где был шрам от ожога, он почувствовал тепло Солнца. Гэнил смотрел на сияющее светило до тех пор, пока глаза не наполнились слезами. Круг Огня, лицо Бога...

— Что такое Солнце? — тихо спросил Меде.

И Гэнил вспомнил холодную ночь среди зимы, когда он сам, Меде, Ин и другие беседовали у камина в доме Ина.

— Это круг или сфера? Почему оно пересекает небо? Оно большое? И далеко ли до него? Ах, подумать только: ведь когда-то, чтобы увидеть солнце, человеку надо было всего лишь посмотреть на небо...

Звучали флейты, быстро били барабаны, веселый неотчетливый звук разносился далеко за пределы Коллегии. Иногда по ослепительно яркому кругу пробегали ключья облаков, и мир снова становился серым и холодным, флейты замолкали. Но западный ветер продолжал дуть, облака уплывали, и Солнце появлялось вновь, спускаясь все ниже. Перед тем как погрузиться на западе в тяжелые, быстро несущиеся облака, оно стало красным, и свет его больше не резал глаза собравшимся. В это мгновение Гэнилу действительно показалось, что Солнце не диск, а громадный, искривленный, медленно падающий мяч.

Оно село, пропало.

В вышине, сквозь разрывы в облаках все еще виднелись ясные, зеленовато-голубые кусочки чистого неба. А затем на западе, там, куда село Солнце, на краю растущего облака, замерцала яркая точка — вечерняя звезда.

— Смотрите! — закричал Гэнил, но обернулись лишь несколько человек. Солнце село — а кому есть дело до звезд? Желтоватая дымка — саван из облаков, покрывающих землю своей мантией из пыли и дождя на протяжении четырнадцати поколений со времен Адского огня, — надвинулась на звезду и словно стерла ее с неба. Гэнил вздохнул, потер затекшую от напряжения шею и двинулся домой вместе с остальными участниками действия Общего Дня.

В эту ночь его арестовали. Стражи и товарищи по камере (в тюрьме оказались все работники его мастерской, кроме Мастера Ли) рассказали, что их посадили за связь с Блондином Меде. Его обвинили в распространении ереси. Меде видели в поле за городскими стенами, когда он наводил на Солнце какие-то приборы. Это оказались инструменты для измерения расстояний. Он пытался определить расстояние между землей и Богом.

Подмастерий скоро отпустили. На третий день стражи пришли за Гэнилом, вывели его в один из закрытых дворов Коллегии под тихий, мелкий дождь ранней весны. Священники в основном жили под открытым небом, и огромный комплекс Коллегии Эдана представлял собой всего лишь ряд ветхих бараков, окружающих открытые дождям и ветру дворы, где спали, писали, молились, ели и вершили суд.

В один из таких дворов привели Гэнила, протолкнули сквозь толпу людей, облаченных в белые и желтые одежды, и поставили так, чтобы все его видели. Он увидел алтарь — длинный, мокрый и сияющий от дождя стол, за которым стоял священник в золотой мантии Высшей Тайны. У дальнего края стола стоял другой человек, которого, как и Гэнила, сопровождали двое стражников. Человек этот смотрел на Гэнила, смотрел прямо, равнодушно и спокойно, смотрел своими голубыми глазами, такими же голубыми, как небеса.

— Гэнил Калсон из Эдана, ты подозреваешься в знакомстве с Блондином Меде, обвиняемым в ереси, распространяемой против Изобретения, и вычислениях. Ты дружил с этим человеком?

— Мы вместе работали в мастерской...

— Он когда-нибудь говорил с тобой об измерениях, производимых без помощи Жезла Сравнения?

— Нет.

— О черных числах?

— Нет.

— О черных искусствах?

— Нет.

— Мастер Гэнил, ты ответил «нет» три раза. А тебе известно о правиле из закона священников — Мастеров Тайны, касающемся подозреваемых в ереси?

— Нет, не известно...

— Правило гласит: «Если подозреваемый четырежды отрицательно ответит на задаваемые вопросы, вопросы необходимо повторять с использованием ручного пресса до тех пор, пока не будет получен правдивый ответ». Сейчас я повторяю вопросы — возможно, ты захочешь взять назад одно из своих «нет».

— Нет, — сказал Гэнил смущенно, глядя на озадаченные лица столпившихся людей, на высокие стены.

И когда священники вынесли какую-то приземистую деревянную машинку и поместили туда правую руку Гэнила, он был все еще больше смущен, чем напуган. Чему поклонялись эти люди? Все это напоминало обряд Посвящения, когда они так старались напугать его и преуспели в этом.

— Как Механик, — продолжил священник в золотой мантии, — ты знаешь предназначение этого рычага, Мастер Гэнил. Ты отречешься от сказанного?

— Нет. — Гэнил слегка нахмурился. Он заметил, что его правая рука выглядит так, как рука Ина, и словно заканчивается около запястья.

— Прекрасно. — Один из стражей взялся за рычаг, торчащий из деревянной коробки, а священник в золотой одежде спросил: — Был ли ты другом Блондина Меде?

— Нет, — ответил Гэнил. Он говорил «нет» в ответ на каждый вопрос, даже когда уже перестал слышать голос священника. Он продолжал повторять «нет» до тех пор, пока не услышал свой собственный голос, смешанный с эхом, отражающимся от стен двора Коллегии. «Нет, нет, нет, нет...»

Свет пропадал и вспыхивал снова, дождь холодными каплями падал на лицо Гэнила и прекращался, кто-то пытался помочь ему встать. Серая мантия Гэнила воняла — от

боли его вырвало. И когда он осознал это, его вырвало снова.

— Все кончилось, потерпи, — прошептал наконец страж на ухо Гэнилу.

Неподвижные ряды людей в белом и желтом все еще заполняли двор. Застывшие лица, вытаращенные глаза... которые уже смотрели на кого-то другого.

— Еретик, ты знаешь этого человека?

— Мы вместе работали в мастерской.

— Ты говорил с ним о черном искусстве?

— Да.

— Ты научил его черному искусству?

— Нет. Я пытался... — Голос дрогнул. Даже в тишине, царившей во дворе и нарушаемой лишь шелестом дождя, было трудно слышать, что говорит Меде. — Он слишком туп. Решил не рисковать и не мог ничего выучить. Он будет прекрасным начальником мастерской. — Холодные голубые глаза без капли сожаления или мольбы смотрели прямо на Гэнила.

— Против подозреваемого Гэнила нет доказательств. — Священник в золотом снова повернулся лицом к толпе. — Подозреваемый, ты можешь идти. Приходи завтра в полдень, чтобы стать свидетелем исполнения приговора. Отказ прийти послужит доказательством твоей вины.

Прежде чем Гэнил успел что-то понять, стражи вывели его со двора и оставили у стены, с лязгом захлопнув тяжелую дверь. Гэнил немного постоял, затем лег на мостовую, прижимая к груди под плащом почерневшую, покрытую запекшейся кровью руку. Вокруг шелестел дождь. Улица была пуста. И только когда стало темнеть, он с трудом поднялся и побрел — улица за улицей, дом за домом, шаг за шагом, через весь город к дому Ина.

— Гэнил! — От двери дома метнулась чья-то тень.

Он остановился.

— Гэнил, мне все равно, подозревают тебя или нет. Это неважно. Пойдем со мной домой. Отец снова примет тебя в мастерскую. Если я попрошу его.

Гэнил молчал.

— Пойдем. Я ждала тебя, я знала, что ты придешь сюда, я и раньше следила за тобой. — Ее нервный торжествующий смех затих.

— Пропусти, Лани.

— Нет. Зачем ты приходишь к дому старого Ина? Кто здесь живет? Кто она? Пойдем со мной. Ты должен пойти: отец не пустит подозреваемого в мастерскую, если я...

Дом Ина всегда был открыт. Гэнил отмахнулся от Лани, шагнул за порог и захлопнул за собой дверь. Навстречу не вышел ни один слуга; в доме было темно и тихо. Их всех забрали, всех Учеников, всех их ожидали допросы, пытки и смерть.

— Кто там?

Ин стоял на лестничной площадке; яркий свет лампы озарял его белые волосы. Он подошел к Гэнилу и помог ему подняться по ступенькам.

— За мной следили, — быстро проговорил тот, — девушка из мастерской, дочь Ли. Если она расскажет все отцу, он узнает твое имя и пошлет сюда стражников...

— Три дня назад я отослал всех Учеников.

Услышав голос Ина, Гэнил остановился и уставился на морщинистое, помятое, спокойное лицо старика.

— Смотри, — наконец как-то по-детски сказал он, протягивая правую руку. — Смотри: прямо как у тебя.

— Да. Присядь-ка, Гэнил.

— Они вынесли Меде приговор. Не мне, меня отпустили. Меде сказал, что не смог научить меня, что я неспособный. Чтобы спасти меня...

— И твою математику. Иди сюда, сядь.

Гэнил наконец овладел собой и повиновался. Ин уложил его, а затем, как мог, обмыл и перевязал изуродованную руку. После этого уселся у огня и хрипло вздохнул.

— Вот так, — проговорил Ин. — Теперь тебя подозревают в распространении ереси. Вот уже двадцать лет меня подозревают в том же. К этому можно привыкнуть... Не волнуйся за наших друзей. Но если девушка расскажет что-нибудь Ли и твое имя свяжут с моим... Нам лучше уехать из Эдана. Поодиночке. Сегодня.

Гэнил ничего не сказал. Уйти из мастерской без разрешения Верховного Мастера означало отлучение от церкви, лишение звания Мастера. Ему не позволят больше обучать подмастерий тому, что он знает о механизмах. Что он станет делать с искаленной рукой, куда пойдет? Ни разу в жизни он не уезжал из Эдана.

В доме воцарилась необычная тишина, которая словно окутала все вокруг. Гэнил напряженно вслушивался в доносящиеся с улицы звуки, боясь уловить топот ног стражей,

идуших вновь арестовать его. Надо уйти, убежать, скрыться, сегодня ночью.

— Я не могу, — сказал он внезапно, — завтра в полдень я должен быть в Коллегии.

Ин все понял. Снова тишина сомкнулась вокруг. Когда старик наконец заговорил, голос его звучал бесстрастно и утомленно.

— Это условие твоего освобождения, да? Хорошо, ступай туда. Ты не хочешь, чтобы они охотились на тебя как на приговоренного еретика, по территории всех Сорока Городов. На подозреваемого же не охотятся, он просто становится изгнанником. Так лучше. Иди поспи немного, Гэнил. Перед отъездом я расскажу тебе, где ты сможешь меня найти. Уезжай отсюда как можно скорее, и пусть твой путь будет легким...

Поздним утром Гэнил покинул дом Ина. Под плащом он прятал рулон бумаг, каждый лист которых от края до края был заполнен четким почерком Блондина Меде: «Траектории», «Скорость падающих тел», «Природа движения»... Ин покинул город перед рассветом, тихонько выехав за городские стены на сером осле.

— Увидимся в Келинге. — Это были единственные слова, которые сказал старик Гэнилу на прощание.

Гэнил не видел ни одного из Учеников. Только крепостные, слуги, попрошайки, прогуливающие уроки школьники да женщины с няньками и хнычущими детьми стояли сейчас рядом с ним в тусклом полуденном свете на огромном дворе Коллегии. Посмотреть на смерть еретика собрались только отбросы общества и бездельники. Священник приказал Гэнилу встать перед толпой зевак. Люди с любопытством разглядывали его, единственного человека, одетого в плащ Мастера.

На другом конце двора Гэнил увидел девушку в фиолетовом. Он не знал точно, Лани это или нет. Зачем ей быть здесь — чтобы увидеть смерть Меде? Она сама не знает, что ненавидит или что и кого любит. Любовью, которая хочет только получать, обладать. «И такая любовь, — думал Гэнил, — ужасна». Все-таки Лани любила его, и сейчас их разделял лишь двор. Но она никогда не захочет увидеть, что разделили их ее собственные поступки, и невежество, изгнание, смерть.

Незадолго до полудня стражники привели Меде. Гэнил мельком взглянул на лицо друга — совсем белое, еще более подчеркивающее бледность кожи, цвет волос, глаз. Все происходило в установленном порядке: священник в золотистой мантии, произнося заклинания, поднял скрещенные руки к невидимому, скрытому пеленой облаков Солнцу. Когда он опустил руки, к штабелю дров, сложенных вокруг столба, поднесли зажженные факелы. Дым взметнулся вверх, такой же серо-желтый, как облака. Гэнил стоял, крепко прижимая рукой на перевязи сверток бумаг под плащом.

«Пусть Меде лучше задохнется от дыма», — шептал он.

Но дрова оказались сухими, и огонь быстро охватил их. Гэнил почувствовал жар на лице, на выжженном на виске шраме. Позади него молодой священник не выдержал ужасного зрелища, попытался скрыться, но не смог: в спину ему напирала глазающая, вздыхающая толпа — и остался стоять, покачиваясь и хватая ртом воздух. Густые клубы дыма заволокли уже языки пламени и фигуру меж ними. Но Гэнил слышал уже не тихий, а громкий, очень громкий крик Меде. Он слышал, заставлял себя слушать, но в душе его звучал спокойный тихий голос, повторяющий: «Что такое Солнце? Почему оно пересекает небо?.. Вот видишь, для чего мне нужны твои цифры... Вместо XII пиши 12... Это тоже цифра, обозначающая Ничто».

Крики умолкли, а тихий голос все звучал.

Гэнил поднял голову. Толпа медленно устремилась к выходу со двора. Молодой священник преклонил колени прямо на мостовой, молясь и громко всхлипывая. Гэнил взглянул на суровое небо и один побрел по улицам города, в сторону городских ворот, на север, в изгнание, туда, где отныне будет его дом.

ШКАТУЛКА, В КОТОРОЙ БЫЛА ТЬМА

Когда моей дочери Каролине было три года, она принесла мне в крохотных ладошках маленькую деревянную коробочку и спросила: «Дагадайся, што в этой каёбочке?» Я перebrала гусениц, мышей, слонов и т.д. Она покачала головой, улыбнулась невыразимо жуткой улыбкой, чуть приоткрыла коробочку, чтобы я могла заглянуть, и ответила: «Темнота».

Отсюда и рассказ.

По мягкому песку, по самой кромке моря шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко-синем, лишенном солнца небе кричали чайки, в несоленом море плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантский морской змей на миг взвился над водой, изогнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез в море. Мальчик посвистел ему, но змей больше не появился — был занят охотой на китов. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, по узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросший травой, далеко выдающийся в море мыс. На нем примостилась хижина. Пока мальчик карабкался к ней по крутой тропинке, хижина, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одна о другую свои передние лапы.

Darkness Box
Copyright © 1963 by Ursula K. Le Guin
Шкатулка, в которой была Тьма
© И. Тогосва, персвод, 1990

При этом она была похожа то ли на большую муху, то ли на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали без десяти десять.

— Что это у тебя там, Дики? — спросила мальчика его мать и бросила в рагу из кролика веточку петрушки и щепоть перца. Рагу на плите исходило аппетитным паром.

— Коробочка, ма.

— Где ж ты ее нашел?

Еще один член семьи, материн черный кот, тихонько скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив:

— У моря.

Дики кивнул:

— Это правда. Море выкинуло ее на берег.

— А что там внутри?

Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки.

— Что же там, внутри? — повторила она.

— Тьма.

— Да? Дай-ка посмотреть.

Она нагнулась, и кот, по-прежнему мурлыча, зажмурился. Осторожно прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку.

— Верно, — подтвердила его мать. — Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда это ключ от нее подевался?.. А теперь беги и мой руки. Столик, накройся!

И пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном обеденной посуды — тарелок, вилок, ножей.

Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него.

На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад, на плюмажи и знамена своего войска, узкой лентой растянувшегося по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю.

Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами город в долине мерцал и переливался подобно жемчужине и казался таким же хрупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена! Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня, тот заржал и, словно ветер, рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув клювом прямо перед носом у жеребца, — он вечно дразнил его, успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом грифон с чудовищным кудахтаньем и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомится еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно, то что-то мурлыча по-кошачьи, то щебеча по-птичьи.

Наконец перед Рикардом открылось море; где-то там, среди утесов скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам, море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась; белый конь взлетел над трехметровым обрывом и с топотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади; перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не все миновали обрыв. Один за другим скачивались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала оба отряда сошлись врукопашную. С громким, пронзительным воплем грифон взмыл в воздух, выдернув из рук Рикарда поводок, и словно ястреб, разинув клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч. И когда железный клюв грифона, скользнув по его плечу, попытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоновое брюхо, испарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в воздухе пополам и рухнул прямо на человека в сером, выбив его из седла. Чудо-

вишный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятаил песок черной кровью. Высокий человек в сером, шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек грифону голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запорошившего глаза песка и заливавшей лицо крови, так что заметил Рикарда только тогда, когда меч уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим, еще дымящимся от крови грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось: конь попятился, заржал и, встав на дыбы, ринулся на врага. Снова меч Рикарда блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал. В последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно. Коричневатые фонтанчики песка, взметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его расprostертое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в самую гущу сражения.

Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели, их теснили к воде, и наконец последние человек двадцать, рассыпавшись в разные стороны, что было сил бросились к кораблям, навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а тяжело-раненные подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять на ногах, построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля; весла были спущены на воду.

В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл руками лицо. Рядом с ним, словно каменное изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке, у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом — мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые, их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца.

Легкий ветерок с шуршанием прошелся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову; юное лицо его было мрачно. Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь, к столице, не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу черные

корабли, ни того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнеститься на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курица, и вопя, словно мартовский кот.

— Эх ты, непослушный! — сказал Рикард. — Ну что раскудахтался? Ступай-ка к своим цыплятам! Тоже мне, наседка.

Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях к столице. За принцем, немного отставая, тянулось его войско, но никто не оставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем: на нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще.

Желая поскорее попасть домой, Рикард свернул и проехал мимо хижины на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул и, натянув поводья, остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развевавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых доспехах верхом на белом коне.

— Принц Рикард, — сказала вдруг ведьма, — что-то уж больно часто участвуешь ты в сражении.

Он рассмеялся:

— Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу?

— Да, позволь. Все равно ведь никто не может взять столицу штурмом.

— Я знаю. Но отец мой и наш государь сослал брата, и теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства. А я — солдат. Я подчиняюсь своему королю. И своему отцу. По его приказу иду я в бой.

Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось, высокий лоб от переносицы вздымался, словно корона, глаза сверкали.

— Подчиняйся, но заставляй и других подчиняться себе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов... Твой

брат не пожелал ни подчиняться, ни командовать... Ой, принц, берегись... — Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. — Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы... Берегись!

Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся вдаль — весь в белом, похожий на чайку над длинной дюной.

Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке: летучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, коврики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и магические прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами, тоненький серпик месяца, подвешенный к каминной трубе, древние Книги и старинный ее приятель кот... Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком:

— Дики!

С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы.

— Дики!.. Кис-кис-кис!..

Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес прочь.

Ведьма щелкнула пальцами. В дверь со свистом вылетела метла и замерла, зависнув невысоко над землей, а сам домишко, словно от волнения, затрясся и закудаhtал.

— Заткнись! — рявкнула ведьма; дверь домика тут же послушно закрылась, кудаhtанье стихло. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая: — Дики!.. Эй, котик! Кис-кис-кис!

Молодой принц, нагнав свое войско, спешил и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу, в долине, столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ:

— Принц Рикард...

Маленький мальчик — совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухлость и розовощекость, — стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный черный кот и во весь рот улыбался.

— Море принесло ее... для нашего принца — правда-правда!.. Пожалуйста, возьми ее! — И мальчик протянул шкатулку Рикарду.

— А что в ней такое?

— Тьма, господин мой.

После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку.

— Она просто изнутри выкрашена черным, — сказал он с усмешкой.

— Нет, принц, честное слово, не выкрашена! Открой пошире!

Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул:

— Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц!

— Я передам это нашему королю.

— Но я подарил ее тебе, господин мой...

— Все подарки моря принадлежат королю. И все равно — спасибо, малыш.

Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга — маленький пухлощекий мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дики потащился назад, вниз по склону холма, молчаливый, подавленный и безутешный. Еще издали, откуда-то с юга, услышал он зов матери и попробовал ей ответить, но ветер нарочно унес все слова в другую сторону, да и приятель его, кот, куда-то вдруг запропастился...

Бронзовые ворота распахнулись перед входящим в город войском. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились, городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикарда промчался, стуча копытами, по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц как всегда взглянул на большие бронзовые часы на самой высокой из девяти белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали без десяти десять.

В Тронном зале принца ждал отец — свирепого вида седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колена, низко опустил голову и, даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной победе:

— Изгнанник мертв; погибла большая часть его войска; остальные бежали на своих кораблях.

В ответ послышался скрипучий голос короля — будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях:

— Поздравляю с удачей, принц.

— Я принес тебе подарок моря, о, мой король. — По-прежнему не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку.

Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных химер.

— Да, это моя шкатулка! — Король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер оскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают.

— Потому-то я и принес ее тебе, о, мой король.

— Она моя... Это я подарил ее морю, я принес ему этот дар! А море выплюнуло его обратно... — Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись: — Что ж, возьми ее себе, мой принц. Морю она не нужна, мне — тоже. Теперь шкатулка в твоих руках! Храни же ее... закрытой. Храни ее закрытой, принц!

Рикард, по-прежнему не поднимаясь с колен, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях, потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля, своего отца. Когда он спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить. Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к груди шкатулку.

Очень светлая, лишенная теней и окон комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими камнями, но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи, но и пламя недвижимо застыло над золочеными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевязь, сел и вздохнул. Из спальни тут же притаился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон и положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, чтобы тот почесал его покрытый перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот — тот самый,

ведьмин, с черной и лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных — котов, собак, обезьян, белок, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров... У каждого придворного имелась по крайней мере дюжина ручных зверьков; у каждой дамы непременно был собственный ручной единорог. У принца же — только грифон; он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал грифону загривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз. Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть ее, у него не было.

Где-то, в одной из дальних комнат, тихонько играла музыка; нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане.

Принц обернулся и посмотрел на каминные часы — их золотой прямоугольный циферблат был отделан синей эмалью. Часы показывали без десяти десять: время вставать, снова надевать перевязь, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должны отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться, один из них — пасть в бою, а второй — спасти город. Рикард решительно встал, и грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой.

— Ну хорошо, пойдем! — сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугом ножнах, а грифон, посвистывая от нетерпения, потерся клювом о руку принца. Но принц не обратил на своего любимца внимания. Он очень устал, странная печаль, невнятная тоска снедала его... Но отчего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна, ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою как смертельные враги... Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряный шлем и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на

кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то, он обернулся и увидел, что шкатулка, открытая, лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом, а из шкатулки меж тем подобно облачку дыма поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку, и Тьма потекла между его пальцами.

Грифон, жалобно свистя, попятился назад.

Высокий, светловолосый, в белых доспехах и серебряном шлеме, стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно. Потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее доньшком вверх точно над своей головой.

Тьма потекла по его лицу. Он огляделся: теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи, огоньки их отражались в золотых украшениях и разноцветных камнях, вделанных в стены; радужные зайчики прыгали по полу и потолку. Но в углах комнаты была густая Тьма. Тьма притаилась за каждым креслом, а когда Рикард повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов — там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза... Ну конечно, это грифон! Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клекот.

— Ну хватит, выходи! Ты что же, темноты испугался? — сказал ему принц и тут же сам ощутил страх. Тогда он вытащил меч. Все вокруг было недвижимо. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюв, звякнули об пол железные когти; грифон навалился на него всей тушей прежде, чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он что было сил боролся с грифоном, но железный клюв щелкал уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принцу удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил... Вторым ударом он почти отсек грифону голову. Чудовище разжало

лапы и рухнуло на пол, извиваясь среди черных теней и ярких световых пятен, отраженных зеркалами, хрусталем и драгоценными камнями. Через некоторое время грифон перестал биться и застыл.

Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой — его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть: мощные крылья грифона загасили, сбив на пол, почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом воздух. А потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения, на вершине дюны: опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Последняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике; свет ее отражался, дробясь, в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову.

Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же черной, как та собранная в комок Тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут, открытые глаза напоминали два красных камня.

— Он мертв, — сказал негромкий голосок, и вошел ведьмин кот, осторожно пробираясь среди осколков разбитого вдребезги стеклянного столика. — Теперь уже навсегда. Послушай, принц! — Кот сел и аккуратно обвил хвостом передние лапки. Рикард стоял неподвижно, с отсутствующим выражением лица, пока какой-то странный звук не вывел его из глубокой задумчивости. То был слабый звон, раздавшийся совсем рядом. Потом вдруг в башне высоко над дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били десять!

За дверью вдруг послышался топот, по коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние гулкие удары колокола, — там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы...

— Ты опоздаешь на битву, принц, — сказал кот.

Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови, в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери.

— Сегодня будет настоящий полдень, — сказал кот ему вслед, — и будут сумерки, и наступит ночь. И тогда один из

вас вернется домой, в столицу — ты или твой брат. Но только один из вас, принц.

Рикард на мгновение застыл как вкопанный:

— А светит ли сейчас там, снаружи, солнце?

— Да, сейчас светит.

— Ну тогда все хорошо! Тогда все это было не напрасно, — с облегчением вздохнув, сказал юноша и, открыв дверь, прошел по залитым солнечным светом залам и коридорам дворца, где царила паника и суматоха. А следом за ним двигалась его черная тень.

ОСВОБОЖДАЮЩЕЕ ЗАКЛЯТИЕ

Два следующих рассказа стали первыми попытками исследовать воображаемый мир Земноморья, о котором я позднее написала три романа. Поначалу я почти ничего не знала о тех местах, и читатели, знакомые с трилогией, обратят внимание, что тролли на каком-то этапе истории Земноморья вымерли, а история дракона Йевода пестрит белыми пятнами. (На Сатиновых островах он побывал, должно быть, за несколько десятилетий или столетий до того, как Гед нашел и сковал его на острове Пендор.) Но чего еще можно ожидать от драконов — как существа мифические, они не подчиняются линейной причинности истории; они не прикованы к времени и не сковывают его ход.*

«Правило имен» впервые затрагивает существенную тему — как действует магия Земноморья. «Освобождающее Заклятие» предвосхищает образ мира мертвых в финале завершающей книги трилогии «На последнем берегу». Кроме того, в этом рассказе проявляется мое пристрастие к деревьям, прорастающим, если вы заметите, во всех моих книгах. Я определенно самая древесная из научных фантастов. Вам, спустившимся вниз и разбившим противостоящий большой палец, прямохождение и все такое прочее, может, и хорошо, но кое-кто до сих пор качается на ветвях.

The Word of Unbinding
Copyright © 1964 by Ursula K. Le Guin
Освобождающее Заклятие
© И. Тогосва, перевод, 1990

* Сборник был составлен в 1975 году. (Примеч. пер.)

Где же это он? Жесткий, покрытый слизью пол, воздух черен и пропитан зловонием. Остальное совершенно неясно. Вот только голова очень болит.

Лежа на ледяном полу, Фестин со стоном приказал: «Эй, посох!» Но ольховый волшебный посох так и не появился. И тут Фестин понял, что ему угрожает страшная опасность. Он сел и, поскольку посоха у него не было и он не мог зажечь настоящий волшебный огонь, щелкнул пальцами и пробормотал нужное заклинание. Слабый голубоватый огонек — частица его души, — вызванный к жизни волей волшебника, вспыхнул в воздухе, рассыпая искры. «Поднимись-ка повыше», — сказал ему Фестин, ощущая в парящем огоньке частицу самого себя, и светящийся шарик поплыл вдоль стены к потолку, все выше и выше, пока наконец не осветил крышку люка — по крайней мере, метрах в пятнадцати от пола. С этой высоты лицо самого Фестина казалось бледным пятном на дне темного колодца. Огонек не отражался в сочащихся влагой стенах: они с помощью магии были сотканы из ночной тьмы, поглощающей всякий свет. Потом светящаяся частица души Фестина вернулась в его тело, и волшебник сказал огоньку: «Погасни», и тот погас. А Фестин сидел в темноте и, отчаянно ломая пальцы, думал.

Наверняка его застали врасплох, подло подкравшись сзади. Последнее, что осталось в памяти, — обычный вечерний разговор с деревьями в лесу. В его любимом лесу. Недавно, достигнув середины жизненного пути и долгие годы проведя в одиночестве, Фестин вдруг понял, что время потрачено зря; неизрасходованные силы томили его. Желая запастись терпением и не совершать более бессмысленных поступков, покинул он тогда мир людей и ушел в леса. С тех пор он общался только с деревьями, в основном с дубами, каштанами и серыми ольховинами, чьи корни близки к глубинным источникам, бьющим из-под земли. С человеком он в последний раз разговаривал примерно полгода назад. Все это время он был занят подлинными, жизненно важными вещами, никого не беспокоил, не произнес даже ни единого заклятия. Так кому же он понадобился? Кто лишил его силы и бросил в этот вонючий колодец? «Кто?» — спросил он у стен, и на них медленно проступило имя и стекло

вниз подобно тяжелой черной капле влаги, выделяемой порами камня и мерзкой плесенью: Волл.

Фестин почувствовал, как покрывается холодным потом.

О Волле Беспощадном он слышал уже давно; ходили слухи, что он больше чем волшебник, но меньше чем человек; говорили также, что на своем пути с острова на остров, вплоть до самых Дальних Пределов, он разрушает на своем пути все древние творения человека, превращает людей в рабов, вырубает леса и отравляет поля, пряча в страшных подземных колодцах-могилах любого волшебника или Мага, пытающегося с ним сразиться. Люди, спасшиеся с разоренных им островов, всегда рассказывали одно и то же: Волл прилетел под вечер на темной туче, влекомой морским ветром; его рабы следовали за ним на кораблях. Рабов этих люди видели собственными глазами, но никто никогда так и не смог как следует разглядеть самого Волла... Однако в Земноморье хватало и злодеев, и загадочных существ, так что Фестин, молодой еще волшебник, жаждущий знаний, не стал обращать особого внимания на страшные истории о Волле Беспощадном. «Свой остров я пока защитить в силах», — думал он, уверенный в собственном волшебном могуществе, и жил среди дубов и каштанов, слушал шорох их листьев на ветру, музыку играющих в стволах и ветвях соков, вместе с деревьями ловя солнечный свет и ощущая вкус подземных вод, питающих их корни... Где-то они теперь, старые верные друзья? А что, если Волл уничтожил его лес?

Очнувшись от грез, Фестин встал, выпрямился во весь рост, сделал два широких жеста негнушимися руками и громко произнес то слово Истинной Речи, которое непременно должно было разрушить любые запоры, настезь распахнуть любые, созданные человеком двери. Но эти стены, пропитанные ночной тьмой и укрепленные именем своего создателя, не поддавались; они даже не дрогнули. Произнесенное заклятие вернулось столь громогласным эхом, что Фестин, чуть не потеряв сознание, упал на колени и зажал руками уши. Потом, когда снова наступила тишина, он, еще не оправившись от потрясения, сел и стал думать.

Слухи оказались верны: Волл действительно был необычайно силен. Здесь, в его владениях, в глубине подземной темницы, выстроенной с помощью страшных заклятий, просто так с ним не справиться, тем более что могущество самого Фестина уменьшилось вдвое с утратой посоха. Но

никто, даже пленивший его злодей, не смог бы отнять у него способности мысленно переноситься куда угодно, в любое место, а еще — способности к Превращениям. Фестин потерял виски — их нестерпимо ломило — и начал первое Превращение. Медленно, неощутимо тело его расплылось облаком тумана.

Лениво обвисая по краям, туман поднялся над полом и поплыл вверх, вдоль осклизлых стен туда, где арка кровли соединялась со стеной. В этом месте была тоненькая, не толще волоса, трещинка. Через нее туман капля за каплей просочился наружу. Он уже почти вырвался на свободу, когда вдруг налетел горячий ветер — горячий, словно воздух над раскаленной плитой, — и стал безжалостно высушивать туман. Он поспешно втянулся назад, в трещинку под сводом, стек по стенам на пол и обрел свое подлинное обличье. Потом Фестин, еле дыша, вытянулся на холодном каменном полу. Превращение всегда требует огромного душевного напряжения и расхода физических сил, когда же к этому примешивается ужасное предвкушение гибели в нечеловеческом обличье, то пережить столь чудовищное испытание непросто. Некоторое время он был почти без чувств. К тому же злился на самого себя. Слишком это просто — превращаться в туман. Любому дураку подобный фокус известен. Вполне возможно, Волл, предвидя это, что называется, на всякий случай оставил на страже горячий ветер. Фестин еще немного подумал, потом собрал свое тело в маленький черный комок, превратился в летучую мышь, взлетел к потолку и, обернувшись тонкой струйкой воздуха, просочился сквозь трещину наружу.

На этот раз освободиться из темницы ему удалось. Невидимый и прозрачный, поплыл он через зал, в котором оказался, к окну; и тут острое чувство опасности заставило его снова превращаться — в первую пришедшую на ум вещь: золотое колечко. И вовремя. Налетевший ледяной смерч тут же превратил бы легкую струйку воздуха в ничто. Даже упавшее на пол колечко чуть покрылось инеем. Когда смерч миновал, Фестин-кольцо лежал на мраморном полу и раздумывал, в каком бы виде выбраться наружу через окно.

Однако он думал слишком долго и слишком поздно решил убраться с того места, где лежал. Чудовищный тролль с черным лицом вихрем промчался через зал и успел схватить кольцо своей огромной, белой, словно из извести сделанной лапой. Потом подбежал к люку, поднял крышку за

железную рукоять и, пробормотав заклятие, бросил кольцо в темный колодец. Фестин камешком пролетел все пятнадцать метров и звонко ударился о каменный пол.

Обретя свое истинное обличье, он сел, мрачно потирая разбитый локоть. Ну ладно, довольно превращений на голодный желудок. Больше всего ему сейчас хотелось вернуть свой посох: тогда он, по крайней мере, смог бы как следует пообедать. Без посоха он хотя и мог изменять собственное обличье, поскольку сохранил еще волшебную силу, однако не имел возможности вызвать заклинанием ни одно материальное тело — будь то молния или баранье ребрышко.

«Ничего, потерпишь», — сказал себе Фестин и, отдышавшись, растворил свое тело в бесконечных сладостных запахах жаркого из барашка. Потом еще раз попробовал просочиться сквозь щель. Поджидавший снаружи тролль подозрительно потянул было носом, но Фестин уже успел сменить обличье и, превратившись в сокола, устремился прямо к окну. Тролль бросился за ним, но промахнулся, взревел — словно камни загрохотали — «Ловите! Ловите сокола!», но было поздно. Взмыв в небеса с потоками ветра, Фестин покинул заколдованный замок и полетел к своему родному лесу, что лежал на западе как бы окутанный темной пеленой. Он летел стрелой, однако иная стрела, более быстрая и смертоносная, настигла его. И Фестин, вскрикнув, стал падать. Солнце, и море, и башни закружились у него перед глазами и исчезли.

Он очнулся все в той же сырой темнице, на полу. Волосы намокли от крови, рот тоже был окровавлен. Стрела ранила сокола в основание крыла — то есть в человеческое плечо. Стараясь не шевелиться, Фестин пробормотал заклятие, и рана стала затягиваться. Вскоре он уже смог сесть и наконец, собравшись с силами, выговорил более сильное и многословное заклятие — исцеляющее раны. Однако он потерял слишком много крови, а вместе с ней — и сил, и теперь холод пробирал его до костей. Даже исцеляющее заклятие не могло согреть его. Перед глазами стояла темная пелена, хотя он все-таки сумел зажечь крохотный волшебный огонек; то была такая же черная пелена, что окутывала теперь его лес и селения его острова.

Он должен был защитить эту землю!

Но напрямую больше действовать он не мог. Так ему отсюда не спастись: он слишком ослабел и устал. И слишком

много растратил волшебных сил. Теперь он будет слаб в любом обличье и непременно попадет в очередную ловушку Волла.

Дрожа от холода, Фестин скрючился на полу и погасил волшебный огонек. Тот с шипением погас, испустив слабый запах болотного газа. Этот запах напомнил Фестину о болотах, что тянутся между стеной леса и морем у него на острове. То были его любимые болота, куда не ступала нога человека: осенью над ними длинной вереницей низко пролетали лебеди, а между озерцами стоячей воды и заросшими тростником островками по направлению к морю всегда бежали быстрые тихие ручейки. Ах, вот бы стать рыбкой в одном из этих ручьев! А еще лучше — оказаться у их истоков, под сенью деревьев, в тех темных водах, что омывают корни ольховин, в загадочных водах, питаемых подземными источниками...

Здесь требовалось Великое Заклятие. Фестин редко произносил их. Но он мечтал, как и любой другой человек, оказавшись в изгнании или в опасности, — мечтал коснуться родной земли, испить из ее источников, увидеть перед собой двери милого сердцу дома, знакомый обеденный стол, ветви дерева за окном своей спальни... Лишь во сне удастся немногим, кроме разве Великих Магов, воплотить в жизнь мечту об утраченном доме... Но Фестин все же был настоящим волшебником, а потому, несмотря на пробирающий до костей холод, сковавший даже его нервы и жилы, все же поднялся на ноги, собрал всю свою волю и в молчании, меж страшных темных стен, начал творить Великое Заклятие.

И стены исчезли. Теперь он находился как бы внутри земли; скалы и гранитные жилы были ее костями, подземные воды — кровью, корни деревьев и вещей — нервами. В обличье слепого червя медленно продвигался Фестин сквозь землю — на запад. Сзади и спереди, со всех сторон его окружала тьма. И вдруг неожиданно его спины и живота коснулся бодрящий, не оказывающий сопротивления, не истощающий силы ласковый холодок. Он попал в воду, почувствовал ее течение. Превратившись в серебристую рыбку, глазами, лишенными век, увидел он, что находится в глубоком пруду с коричневатой водой, среди мощных корней ольховин. Фестин, отсвечивая серебром, нырнул поглубже, в тень. Он все-таки обрел свободу! Он был дома.

Вода текла и текла из неиссякаемого чистого родника... Фестин лежал на песчаном дне озерца: пусть родниковая вода, что действует сильнее любого исцеляющего заклатья, залечит его раны; пусть ее прохлада придет на смену мертвящему холоду темницы, пропитавшему его тело... Но, отдыхая, он слышал, как дрожит под чьими-то тяжелыми шагами земля в лесу. Кто это ходит там? Он был еще слишком слаб, чтобы снова сменить обличье, и скрыл свое серебристое тело — тело форели — за толстым корнем ольхи. Спрятавшись, он стал ждать.

Огромные серые пальцы шарили в воде, перетирали песок. Сквозь замутившуюся воду было видно, как над озерцом склоняются чьи-то бледные лица, чьи-то немигающие глаза пытаются кого-то разглядеть в глубине. Сетки и руки упорно делали свое дело. Сначала они, правда, упустили его, но потом все-таки вытащили на берег. Форель извивалась на песке. Фестин тщетно пытался обрести прежнее обличье и не мог: был связан Великим Заклатьем, что привело его домой. Он мучительно дергался в сетях, ловил ртом сухой прозрачный, ужасный воздух суши, он погибал. Агония казалась бесконечной, и все желания в нем постепенно гасли...

Прошло очень много времени, прежде чем Фестин потихоньку начал осознавать, что вновь обретает человеческое обличье. Какая-то острая, горькая жидкость против его воли лилась ему в горло. Время как бы остановилось... Потом он обнаружил, что лежит ничком на полу все той же темницы. Он снова оказался во власти своего врага. И хотя теперь он мог нормально дышать, но был уже на самом пороге смерти.

Теперь холод окутывал его со всех сторон: тролли, слуги Волла, должно быть, превратили в месиво хрупкое тело форели, потому что, когда Фестин шевельнулся, боль в груди и в плече буквально оглушила его. С переломанными костями, совсем без сил, лежал он в этом колодце с магическими страшными стенами. У него не осталось более волшебного могущества, и обличье свое он изменить больше не мог. Оставался лишь один путь к освобождению.

Лежа неподвижно и стараясь по мере сил не думать о терзающей его боли, Фестин размышлял: почему же он все-таки не убил меня? Зачем держит меня в темнице, сохраняя мне жизнь?

Почему я ни разу его не видел? Чьи же глаза способны увидеть его? И ходит ли он по этой земле?

Он боится меня, хотя я совсем обессилел.

Говорят, что все волшебники и просто люди с сильной волей, которых он сумел победить, заживо похоронены в тайниках, в таких вот колодцах, как этот; они живут там долгие годы, тщетно пытаясь освободиться...

А если избрать иной путь: отказаться от жизни?

И Фестин решился. Последняя мысль — если я ошибся, то люди подумают, что я просто струсил, — ненадолго задержалась в его мозгу. Чуть повернув голову набок, он закрыл глаза, глубоко вздохнул и прошептал Великое Слово, дающее вечную свободу. Слово, которое произносят лишь раз в жизни.

Это было не Превращение. Фестин совсем не изменился. Его тело, его длинные руки и ноги, его умные послушные пальцы, его глаза, что так любили смотреть на деревья и ручьи, — все было тем же. Но только неподвижным, застывшим, источающим хлад. Черные стены исчезли. Исчезли и созданные магией мрачные своды, исчезли залы и башни, исчезло море и дальний лес, исчезло вечернее небо. Все исчезло, и Фестин медленно побрел куда-то вниз по длинному склону Холма Жизни, над которым светили иные звезды.

Когда-то он обладал великим могуществом и еще не забыл об этом. Подобно свету свечи двигался он по безбрежным пустынным просторам. И, словно вдруг что-то вспомнив, громко назвал имя своего врага: Волл!

Призванный подлинным именем, не в силах сопротивляться этому зову, Волл явился — настоящий, только очень бледный человек, ясно видимый в свете звезд. Фестин подошел к нему вплотную, и Волл, в ужасе отшатнувшись, вскрикнул так, словно обжегся. Потом бросился бежать. Фестин следовал за ним по пятам. Они долго бежали по остывшим потокам лавы, вытекшей когда-то из давно потухших вулканов, что вздымали свои вершины к безымянным звездам; по каменистым склонам молчаливых холмов; по долинам, заросшим короткой черной травой; мимо пустых городов, по неосвещенным улицам, между домами, в окнах которых не появилось ни одно лицо. Звезды неподвижно висели в небе; ни одна не скатилась с небосклона, ни одна новая не появилась там. Здесь ничто никогда не менялось. И никогда не наступил бы день. Они шли все

дальше и дальше, и Фестин по-прежнему преследовал своего врага. Но вот перед ними оказалось высохшее русло реки. Когда-то очень, очень давно эта река текла сюда из царства живых. В ныне сухом ее русле среди валунов лежало обнаженное тело — тело старика. Его остановившиеся глаза были обращены к неподвижным звездам, которые и перед смертью безгрешны.

«Вот твоя плоть. Войди в нее!» — приказал Фестин душе Волла. Тень взвыла. Фестин подошел ближе, и Волл пополз было на четвереньках прочь, но споткнулся и нырнул прямо в разверстый рот мертвого тела.

И труп тут же исчез. На сухих валунах при свете звезд не было заметно ни малейших следов, ни единого пятнышка. Фестин некоторое время еще постоял неподвижно, потом медленно опустился на один из камней, чтобы немного отдохнуть. Пока только отдохнуть; спать было нельзя: он должен быть начеку до тех пор, пока тело Волла не истлеет в своей могиле, не превратится в прах; пока не иссякнет заключенная в нем злая сила, пока прах его не разнесет ветер, не смоют в море дожди. Фестин должен стеречь это место — ведь когда-то именно здесь смерть нашла лазейку в мир живых. Исполненный бесконечного терпения, Фестин сидел и ждал среди валунов, где никогда больше не побегит живая вода, ибо в этой стране никогда не было выхода к морю. Звезды у него над головой застыли в вечной неподвижности; он все смотрел на них, и медленно, постепенно из памяти его уходили голоса ручьев, шум падающего дождя, шорох дождевых капель, стекающих по листьям в лесу его жизни.

ПРАВИЛО ИМЕН

Мистер Горовик стоял у подножия своей горы, улыбаясь и глубоко вдыхая прохладный зимний воздух. С каждым выдохом из ноздрей его вылетали две белые струйки пара, серебрившиеся в солнечных лучах. Мистер Горовик глянул вверх, на ясное декабрьское небо, и еще шире улыбнулся, показав свои белоснежные зубы. А потом пошел по дороге вниз, в деревню.

— Доброго вам утречка, мистер Горовик! — здоровались с ним деревенские жители, когда он шел по неширокой улице между домами с красными островерхими крышами, похожими на шляпки мухоморов.

— И вас с наступающим днем! — отвечал он каждому. Всем известно, что нет хуже примет, чем желать кому-то *доброго* утра; вполне достаточно просто указать, какое сейчас время суток; нужно осторожнее обращаться со словами, тем более на Сатиновых островах, весьма подверженных различным волшебным влияниям и сглазу; здесь ведь любое необдуманно произнесенное прилагательное может, например, вызвать затяжной, на целую неделю дождь.

Все встречные непременно здоровались с ним — одни ласково, другие чуть пренебрежительно. Он был единственным волшебником на этом маленьком островке и хотя бы уже поэтому заслуживал уважения — но скажите на милость, как можно всерьез уважать пожилого толстого коротышку, что ковыляет по дороге, нелепо загребая ногами и выдыхая длинные белые струи пара, да еще чему-то улыбается? К тому же волшебником он тоже был не ахти каким. Всякие его фокусы с огнем, правда, удавались на славу,

зато зелья почти не действовали. Когда он сводил бородавки, то они чаще всего вырастали снова уже дня через три. Заколдованные им помидоры были не крупнее мелких дынь. А в те редкие дни, когда в порту Сатинового острова пришвартовался иноземный корабль, мистер Горовик и носа не высовывал из своей норки под горой: говорил, что боится сглазу. Иными словами, он был примерно таким же волшебником, как пьянчуга Ган — плотником: с тем и другим приходилось мириться за неимением лучшего. Приходилось мириться и с плохо пригнанными дверями, и с недействующими заклятиями. Так уж оно получилось. Ну, жители зато и обращались с мистером Горовиком по-свойски, по-соседски, совсем его не боялись, а иногда даже приглашали к себе пообедать. Однажды и он пригласил несколько человек и устроил замечательное пиршество — на столе серебряные приборы, хрусталь, дорогая скатерть, жареный гусь, искристое андрадское вино, которому не менее шестисот лет, а на десерт сливовый пудинг с роскошным соусом. Но мистер Горовик так нервничал во время трапезы, что веселья не получилось. К тому же уже через полчаса все были снова голодны как волки. А вообще-то он гостей не любил; в его пещеру редко кто заходил, да и то не дальше прихожей. Когда мистер Горовик видел, что к нему кто-то идет, он тут же проворно выбегал навстречу гостю.

— Давайте посидим лучше вон там, под соснами! — говорил он в таких случаях, с улыбкой указывая в сторону сосновой рощи; а если шел дождь, предлагал: — А может, лучше чего-нибудь выпьем в харчевне? Как вы на этот счет? — Хотя все знали, что он не пьет ничего более крепкого, чем колодезная вода.

Деревенские мальчишки никак не могли смириться с вечно запертой дверью пещеры под горой; они все время вынюхивали да высматривали, нельзя ли попасть туда, пока мистера Горовика нет дома; но маленькая дверца была накрепко затворена заклятием, которое в кои-то веки оказалось вполне действенным. Однажды двое мальчишек, знавших, что волшебник отправился на западный берег острова лечить заболевшего ослика миссис Рууны, притащили к дверям его жилища лом и топор. Однако после первого же удара изнутри донесся чудовищный рев и вырвалось облако ярко-красного дыма. Видно, мистер Горовик успел вернуться домой раньше обычного. Мальчишки сбежали. Впрочем, мистер Горовик так и не вышел из дому, так что им даже и

не попало ничуть. Они только все удивлялись, как это такой маленький толстячок мог издавать столь ужасные звуки — рев и жуткое шипение.

А сегодня у мистера Горовика были в деревне дела: нужно было купить три дюжины яиц и фунт печенки, а кроме того — заглянуть к капитану Фогено и подновить чары, с помощью которых волшебник пытался вылечить ему глаза — занятие довольно бессмысленное при отслоении сетчатки. Однако мистер Горовик упорно продолжал лечение. А под конец он намеревался зайти поболтать к своей старой приятельнице Гуди Гульд, вдове мастера, изготовлявшего концертино. Другьями мистера Горовика в основном были люди немолодые. Он очень смущался в присутствии сильных молодых мужчин, а девушки при нем почему-то сами начинали смущаться и нервничать. «Мистер Горовик действует мне на нервы — слишком уж часто он улыбается!» — говорили они все как одна и при этом недовольно надували губы и начинали накручивать на палец шелковистые локоны. «Действовать на нервы» было выражение новомодное, так что матери отвечали им сурово: «Нервы — надо же! Драть вас некому! Глупость — вот как это называется. Мистер Горовик — очень уважаемый волшебник!»

Переделав все дела и посетив Гуди Гульд, мистер Горовик проходил мимо школы. В тот день ученики занимались прямо на лужайке. Поскольку грамотных людей на Сатиновых островах не было, то не было и книг, по которым можно было бы научиться читать; не было и школьных досок, на которых можно было бы научиться писать буквы; не было и парт, где можно было бы вырезать первые буквы своего имени, а потому — не было и самой школы. В дождливые дни дети занимались на чердаке общинного амбара и вечно вылезали оттуда покрытые сенной, трухой; а когда светило солнышко, школьная учительница Палани сама выбирала место для занятий. Сегодня на лужайке три десятка любознательных ребятишек не старше двенадцати в окружении сорока совершенно равнодушных к знаниям овец (не старше пяти лет) изучали одну из важнейших тем школьной программы: правило имен. Мистер Горовик, застенчиво улыбаясь, остановился на минутку послушать и посмотреть. Палани, хорошенькая пухленькая девушка лет двадцати, окруженная детьми и овечками, на залитой солнцем лужайке под большим дубом с облетевшей уже листвой, являла собой дивную картинку. За ее спиной расстиралось

море, песчаный берег, ясное бледное зимнее небо. Она говорила с жаром, лицо ее порозовело от ветра и от значимости произносимых слов.

— Ну вот, дети, теперь вы уже знаете все правила имен. Их всего два, и на всех островах Земноморья они одинаковы. Каково же первое из них?

— Невежливо спрашивать человека, каково его имя! — выкрикнул толстый шустрый мальчуган, но ему не дала договорить какая-то девчонка, пронзительно завопив:

— А вот уж что никогда нельзя, так это говорить свое собственное имя! Кто бы тебя ни спросил! Так мне моя ма сказала!

— Верно, Суба. Верно, Попи, дорогая, только не визжи так. Вы оба верно ответили. Никогда не спрашивайте человека о его имени. Никогда не называйте своего. А теперь подумайте минутку и скажите: почему мы называем нашего волшебника мистер Горовик? — Она улыбнулась, глядя поверх кудрявых головенок своих учеников, одетых в теплые меховые и шерстяные безрукавки, на мистера Горовика, который прямо-таки сиял, нервно прижимая к груди кошелку с яйцами.

— Потому что он живет под горой! — громко ответили дети.

— А как вы думаете, это его подлинное имя?

— Нет! — сказал тот же толстый мальчик, и ему эхом откликнулась визгливая маленькая Попи:

— Нет!

— А почему вы решили, что нет?

— Потому что прибыл он на наш остров совсем один, и никто не знал тогда его подлинного имени и не мог назвать его, чтобы все остальные узнали, а сам мистер Горовик этого сделать не мог...

— Очень хорошо, Суба. Попи, не кричи! Верно. Даже волшебник не может никому говорить своего подлинного имени. Когда вы, дети, окончите школу и пройдете обряд посвящения, то расстанетесь со своими детскими именами и получите настоящие, подлинные ваши имена, которые нельзя никому говорить и ни у кого нельзя спрашивать. А откуда взялось такое правило?

Дети молчали. Тихонько проблеяла овца. На этот вопрос ответил мистер Горовик.

— Это потому, — застенчиво сказал он своим тихим хрипловатым голосом, — что подлинное имя воплощает самую

суть вещи. Назвать имя — значит обрести над этой вещью власть. Я верно отвечаю, госпожа учительница?

Она улыбнулась ему и склонилась в реверансе, хотя и была сильно смущена его неожиданным участием в уроке. Так что мистер Горовик поспешил прочь, прижимая к груди кошелку с яйцами. Почему-то за те несколько минут, в течение которых он наблюдал за Палани и детьми, в нем пробудился страшный голод. Торопливо произнесенным заклятием мистер Горовик запер за собой дверь, но, должно быть, в произнесенном заклятии чего-то не хватало: дверь закрылась недостаточно плотно, и сквозь щели вскоре просочились аппетитные запахи яичницы и жареной печенки.

В тот день с запада дул легкий прохладный ветерок и к полудню пригнал в порт небольшую лодку под парусом, сверкавшим на солнце. Не успела лодка войти в бухту, как какой-то остроглазый мальчишка, издали заметив ее и отлично зная, как, впрочем, и все дети на острове, паруса всех сорока имевшихся в гавани лодок, бросился по улице с криком: «Чужая лодка, чужая лодка!» Очень, очень редко посещали этот уединенный уголок Земноморья суда — как с других островов Восточного Предела, так и с Архипелага. Когда лодка пришвартовалась наконец у пирса, там собралась по меньшей мере половина деревни, чтобы приветствовать смелого путешественника. Гостеприимные рыбаки повели его к себе домой, а пастухи, землекопы и местные травники — все как один — торчали на окрестных холмах вдоль дороги, ведущей от гавани в деревню.

Но дверь мистера Горовика так и осталась запертой.

На лодке приплыл один-единственный человек. Старый капитан Фогено, когда ему об этом сообщили, высоко поднял брови над своими невидящими глазами.

— Во Внешние Пределы в одиночку плавают только колдуны, волшебники да Великие Маги... — сказал он.

Так что теперь жители деревни, затаив дыхание, надеялись, что в кои-то веки смогут полюбоваться на настоящего Мага, одного из тех могущественных волшебников, которых много на внутренних островах Архипелага. Впрочем, они были несколько разочарованы, ибо путешественник оказался молодым, чернобородым и красивым парнем, который весело махнул им рукой из своей лодки и с радостным нетерпением выскочил на пирс — как и все моряки, добравшиеся до долгожданной земли. Он поздоровался и назвал себя бродячим морским торговцем. Но когда люди

рассказали об этом капитану Фогено, прибавив, что у незнакомца есть дубовый посох, с которым тот не расстается, старик только головой покачал:

— Два волшебника в одном город... Плохо дело! — и, пожевав губами, как старый карп, замолчал.

Поскольку приезжий не мог назвать им своего имени, они тут же дали ему прозвище сами: Чернобородый. Гость был окружен всеобщим вниманием. Он привез кое-какие товары — одежду, сандалии, пушистые перья *писви* для оторочки плащей, недорогие благовония, волшебные камни, якобы дающие способность летать, разные лечебные травы, а еще крупные стеклянные бусы с острова Венвей — обычный набор бродячих торговцев. Не было на острове человека, что хоть раз не зашел бы к Чернобородому: просто поболтать, посмотреть товары, а то и купить что-нибудь. «Хотя бы просто на память!» — скрипела старая Гуди Гульд, которая, как и все женское население деревни, была сражена красотой и умными речами Чернобородого. Что же касается мальчишек, то те просто целыми днями готовы были толочься возле него и слушать рассказы о путешествиях на неведомые острова Дальних Пределов или на богатые острова Архипелага, во внутренние моря, где пересекаются пути многочисленных судов с белоснежными парусами, где золотятся шпили прекрасных башен столицы Земноморья — Хавнора. Люди охотно слушали его истории; но некоторые удивлялись: зачем Чернобородому понадобилось плавать по дальним морям в одиночку, и не сводили глаз с его дубового посоха.

А мистер Горовик по-прежнему отсиживался в пещере под горой.

— Впервые попадаю я на остров, где нет своего волшебника, — сказал Чернобородый как-то вечером в гостях у Гуди Гульд. Она пригласила заморского гостя, своего племянника Берта и учительницу Палани на чашку чая. — Как же вы обходитесь, если зуб заболит или у коровы молоко пропадет?

— Как же! У нас ведь для этого мистер Горовик есть! — ответила старуха.

— Да уж, на это его волшебства только-только и хватает, — пробормотал ее племянник, рыбак Берт, смутился, покраснел и пролил чай на скатерть. Берт был крупным, сильным, очень храбрым, но чрезвычайно молчаливым молодым мужчиной. Он давно был влюблен в школьную учи-

тельницу, но самое большое, на что он осмеливался в знак своей великой любви, — это преподносить полные корзины свежепойманной макрели кухарке ее отца.

— О, так у вас есть волшебник? — спросил Чернобородый. — Он что же, невидимка?

— Нет, он просто очень застенчивый, — сказала Палани. — Вы ведь здесь всего неделю живете, а у нас, знаете ли, чужеземцы редко бывают... — Она тоже слегка покраснела, но чаем заливать свое смущение не стала.

Чернобородый улыбнулся ей:

— Он, наверное, здешний? Уроженец Сатиновых островов, да?

— Нет, — ответила ему Гуди Гульд, — он такой же здешний, как и вы. Еще чашечку, племянник? Только уж постарайся на этот раз чай выпить. Нет, дорогой мой, он, знаете ли, приплыл сюда один, в маленькой лодчонке, года четыре назад. Так ведь? Как раз через день после того удачного лова сельди, когда сети тащили всей деревней, а пастух Понди еще ногу сломал — должно, теперь уж пять лет будет? Нет, четыре все-таки... Да нет, пять, пожалуй: это ведь в тот год было, когда чеснок не пророс? Ну, стало быть, приплывает он сюда на утлой лодчонке, доверху нагруженной всякими сундуками да шкатулками, и говорит капитану Фогено, который тогда еще не совсем ослеп, хоть и был совсем старым, так что мог бы успеть и дважды ослепнуть: «Я слышал, что у вас здесь нет ни колдуна, ни волшебника, так что, может, он вам требуется?» «Конечно, требуется, — говорит капитан, — только чтоб магия его непременно белой была!» В общем, мы и глазом моргнуть не успели, как мистер Горовик поселился в пещере под горой и начал заклинаниями лечить от чесотки рыжего кота Гуди Белтоу. Чесотка и впрямь прошла, только шерсть у кота на облысевших местах выросла серая, так что масти он стал — не разбери поймешь. Помер этот кот прошлой зимой, в холода. И уж так Гуди Белтоу, бедняжка, по нем убивалась — куда больше, чем по мужу, когда тот на Долгой Отмели утонул!.. Это еще когда селедка хорошо ловилась, а племянник мой Берт в пеленках лежал.

Тут Берт от смущения снова пролил чай. Чернобородый ухмыльнулся, но Гуди Гульд и бровью не повела, так что разговор затянулся до темноты.

На следующий день Чернобородый отправился к причалу и отыскал на дне своей лодки кусок старой обшивки

какого-то судна, который, похоже, давно возил с собой. Словоохотливые жители тут же окружили его.

— Скажите, а какая из этих лодок принадлежит вашему волшебнику? — спросил Чернобородый. — Или, может, он на волшебной лодке приплыл? Маги превращают ее в ореховую скорлупку, когда она им без надобности.

— Нет, — флегматично ответил ему один рыбак, — лодку свою он прячет у себя в пещере, под горой.

— Он что же, отнес лодку, на которой приплыл, к себе в пещеру?

— Ну да. Точно. Я сам ему помогал. Ох и тяжелая же она была, прямо будто свинцом налита! Доверху набита всякими сундучками да шкатулками, а в шкатулках, он говорил, всё книги с заклинаниями. Да уж, как только руки не оторвались — такую тяжесть тащить! — И флегматичный рыбак покачал головой и меланхолично вздохнул. Племянник Гу-ди Гульд, Берт, возившийся с сетью неподалеку, поднял голову и спросил спокойно и безмятежно:

— А может, вы хотите с самим мистером Горовиком поговорить?

Чернобородый посмотрел прямо на него. Умные черные глаза его встретились с открытым взглядом честных голубых глаз Берта. Они долго смотрели друг на друга, потом Чернобородый улыбнулся и сказал:

— Да, хотелось бы. Может, ты меня проводишь к нему, Берт?

— Конечно, провожу. Вот только сперва с работой покончу, — ответил рыбак. И когда сеть была починена, они с заморским гостем двинулись по деревенской улице к высокому зеленому холму, что виден был сразу за деревней. Когда они шли через выгон, Чернобородый вдруг сказал:

— Погоди-ка минутку, друг мой Берт. Надо мне кое-что рассказать тебе, прежде чем мы с вашим волшебником встретимся.

— Ну рассказывай, — сказал Берт, усаживаясь под огромным дубом.

— История эта началась сто лет назад, и конца ей пока не видно... Но он скоро наступит, очень скоро!.. Среди островов Архипелага, которые сидят в море так густо, как мухи на меду, есть небольшой остров под названием Пендор. Правители Пендора обладали силой и властью в те дни, когда в Земноморье еще часто случались войны и мир меж островами не был заключен. Награбленное и получен-

ное в виде дани добро суда свозили на Пендор, где в итоге собрались несметные богатства. Так оно было в давние времена. Потом откуда-то с запада, с тех голых островов, покрытых лавой, где драконы живут и выводят свое потомство, прилетел один из них — огромный и могучий. Он не имел ничего общего с теми ящерицами-переростками, которых вы, обитатели Восточного Предела, называете драконами. Это было огромное, чернокрылое и чертовски умное чудовище, полное сил и коварства. Как и все драконы, он больше всего на свете любил золото и драгоценные камни. И убил правителей Пендора, уничтожил их войско, а мирные жители, оставшиеся в живых, под покровом ночи бежали за море. Все до одного люди покинули остров Пендор, оставив свернувшегося кольцом дракона среди разрушенных башен. И целых сто лет дракон бродил, волоча свое отвратительное брюхо, по россыпям изумрудов, сапфиров и золотых монет. Он покидал остров лишь раз в один-два года, когда начинал чувствовать голод. Тогда он летел к населенным островам... Ты знаешь, Берт, что едят драконы?

Берт кивнул и ответил шепотом:

— Девушек.

— Верно, — подтвердил Чернобородый. — Ну так вот, не век же было терпеть выходки дракона, тем более людям даже думать было противно, как он там сидит на своих сокровищах. И когда в Земноморье установился мир, прекратились войны и пиратские налеты, жители островов решили атаковать Пендор, прогнать дракона и забрать все золото и драгоценности в казну правителей Земноморья. Итак, пятьдесят крупных островов прислали свои корабли, и огромная флотилия двинулась к Пендору. Семеро Великих Магов стояли на носу самых больших и крепких судов... Когда они высадились на берег, то нашли остров мертвым и опустевшим. В заброшенных домах на накрытых к обеду столах тарелки были покрыты столетней пылью. Побелевшие от времени кости правителя Пендора и его придворных валялись в залах дворца и на лестницах. Главная башня пропиталась драконьей вонью. Но самого дракона не было нигде. И нигде не находили они никаких сокровищ — ни одного, даже самого малюсенького, с маковое зернышко, алмаза, ни одной серебряной монетки... Видимо, вовремя осознав, что не сможет противостоять могуществу семи Великих Магов, дракон бежал и унес с собой свое сокровище.

Люди пошли по его следу и обнаружили, что дракон перебрался на пустынный северный островок под названием Удратх; там было множество его следов и... снова побелевшие кости. То были его кости — кости дракона. Однако сокровища люди так и не нашли. Видимо, какой-то неведомый волшебник сумел не только уничтожить дракона в бою, но и увез все сокровища Пендора прямо из-под носа у посланников Земноморья!

Рыбак слушал довольно внимательно, хотя выражение его лица оставалось бесстрастным.

— Ну и, разумеется, это должен был быть весьма могущественный и умный волшебник — чтобы сначала убить дракона, а потом вот так скрыться, не оставив никаких следов! Правители Архипелага и Великие Маги так и не смогли выследить его, так и не узнали, ни откуда он приплыл, ни куда делся потом. А прошлой весной, когда после трехлетнего плавания в Северный Предел я вернулся домой, они попросили меня помочь им. Обратились они точно по адресу: я ведь не только волшебник — как кое-кто на вашем острове правильно догадался, — но еще и потомок правителей Пендора. Так что сокровище принадлежит мне. И знает, кто его хозяин. А глупцы с Архипелага не смогли отыскать его потому, что оно принадлежит не им, а роду моих предков. Звезда нашей сокровищницы, знаменитый изумруд Иналкиль, знает своего властелина. Смотри! — Чернобородый поднял свой дубовый посох и громко крикнул: «Иналкиль!», и верхушка посоха начала наливаться зеленым светом, вокруг повисла зеленая дымка цвета апрельской травы, и посох склонился в руках волшебника, указав точно на холм, что возвышался перед ними. — Там, в Хавноре, далеко отсюда, свечение не было, разумеется, таким сильным, — прошептал Чернобородый, — но и там посох мой указал верное направление! Иналкиль всегда отзывался мне. Этот камень хорошо меня знает, а я знаю, кто его украл, и вызову вора на поединок! Да, это могущественный волшебник, раз смог одолеть дракона. Но я все-таки сильнее его! Хочешь знать почему, парень? Потому что я знаю его имя!

Чернобородый говорил все заносчивее, вид у него становился все более высокомерным, а Берт, наоборот, смотрел все более тупо и бесстрастно. Однако, услышав последние слова Чернобородого, он вздрогнул, закрыл разинутый от удивления рот и недоуменно уставился на гостя с Архипелага.

— Как же... тебе удалось... узнать его имя? — очень медленно проговорил он.

Чернобородый только усмехнулся, но не ответил.

— Благодаря Черной Магии?

— Ну а как же еще?

Берт побледнел и ничего больше не спросил.

— Я правитель с острова Пендор, парень, и я получу то золото, которое завоевали мои предки, и драгоценности, которые носили женщины нашего рода, и Зеленый Камень Иналкиль! Ибо все это принадлежит мне по праву!.. А ты теперь сможешь рассказать деревенским простакам мою историю — но только после того, как я, одержав победу над этим волшебником, покину ваш остров. Подожди здесь. Впрочем, можешь пойти со мной и посмотреть, если не боишься. Иной возможности увидеть поединок двух великих волшебников у тебя не будет! — Чернобородый резко повернулся и, даже не взглянув на Берта, быстро пошел к основанию холма, где был вход в пещеру.

Очень медленно двинулся за ним следом и Берт. На довольно большом расстоянии от пещеры он остановился, спрятался за огромным кустом боярышника и стал ждать. Гость с Архипелага стоял перед разверстой пастью пещеры; его темная фигура отчетливо выделялась на зеленом склоне. На какое-то мгновение он застыл в полной неподвижности, а потом вдруг, взмахнув посохом над головой, отчего вокруг разлилось изумрудное сияние, крикнул:

— Эй, вор, похититель сокровища Пендора, выходи!

Внутри пещеры что-то зазвенело, загремело, словно разбили большой глиняный сосуд, и оттуда вылетело целое облако черной пыли. Пыль запорошила Берту глаза, он закашлялся, а когда снова смог видеть, то Чернобородый по-прежнему неподвижно стоял у входа в пещеру, оттуда, весь засыпанный пылью и взъерошенный, вышел мистер Горовик. Он выглядел маленьким, жалким, косолапым; ножки, обтянутые черными штанами, были коротенькие и кривые; и посоха у него в руках не было — у него вообще никогда не было никакого посоха, вдруг подумал Берт. И тут мистер Горовик заговорил:

— Кто ты такой? — спросил он глухим слабым голосом.

— Я повелитель Пендора, а ты — вор, и я пришел потребовать назад свои сокровища!

Щеки мистера Горовика медленно порозовели, как всегда, когда люди разговаривали с ним грубо. Но потом он

вдруг совершенно изменился: как-то пожелтел, волосы у него встали дыбом, он не то кашлянул, не то странно рыкнул — и вот уже желтый лев прыгнул прямо на Чернобородого, сверкнули страшные клыки зверя...

Но Чернобородого там не оказалось: огромный тигр, цвета изрезанной молниями ночи, бросился льву навстречу...

Лев исчез. Чуть ниже пещеры вдруг откуда ни возьмись выросла целая роща деревьев с черными в зимнем свете солнца стволами. Тигр, зависнув в воздухе посредине прыжка, превратился в пламя, которое стало жадно пожирать сухие черные ветви...

И сразу там, где только что стояли деревья, земля начала вспучиваться, и оттуда серебристой аркой вылетела мощная струя воды, с шумом устремившейся по склону на бушующее пламя. Но и пламя исчезло...

И тут прямо на глазах у изумленного рыбака выросли два холма — один зеленый, давно знакомый, и новый, голый, коричневый, готовый впитать мощные струи воды. Все произошло настолько быстро, что Берту пришлось как следует протереть глаза, а когда он их снова открыл, то не только изумленно захлопал ресницами, но даже застонал: то, что он видел теперь, было куда страшнее. Вместо коричневого холма, точнее, на его вершине, закрывая черными крыльями его целиком, возвышался дракон. Чудовищные стальные когти бороздили землю, а из темной, покрытой чешуей пасти вырывались языки пламени и клубы дыма.

Перед чудовищем у подножия зеленого холма стоял Чернобородый и смеялся.

— Можете превращаться во что угодно, мистер Горюк! — дразнил он противника. — Я вас все равно узнаю. Однако игра ваша, милый толстячок, начинает меня утомлять. Теперь я желаю взглянуть на сокровища Пендора, на свой Иналкиль. Да, большой ты дракон, да волшебник маленький! А ну-ка, прими свое истинное обличье! Приказываю это тебе и заклинаю истинным твоим именем — Йевод!

Берт будто околел — даже моргнуть не мог. Дрожа от страха, смотрел он на происходящее, хотя смотреть ему вовсе не хотелось. Он видел, как чудовищный черный дракон завис в воздухе над Чернобородым. Он видел, как из пасти его языками вырывается пламя, а из красных ноздрей валит дым. Он видел, как лицо Чернобородого побледнело, побелело как мел, и губы его, прикрытые черной бородой, задрожали.

— Твое имя Йевод!

— Да, — хрипло прошипел могучий дракон. — Мое подлинное имя действительно Йевод, а мое подлинное обличье — вот это.

— Но ведь дракон был убит... они же нашли кости дракона на острове Удратх...

— То были кости другого дракона, — проревело чудовище и, словно ястреб вытянув когти, ринулось вниз. Берт зажмурился.

Когда же он наконец открыл глаза, небо над головой у него было пустым и чистым. И склон холма тоже опустел, лишь красновато-черное пятно осталось на нем — словно кого-то вдавили в землю — да вокруг на примятой траве виднелись следы от когтистых драконьих лап.

Когда Берт смог подняться на ноги, он бросился бежать — через выгон, разгоняя овец во все стороны, прямо в деревню, к дому отца Палани. Сама Палани оказалась в саду: сажала настурции.

— Идем со мной! — задыхаясь проговорил Берт.

Она удивленно уставилась на него, но он схватил ее за руку и потащил за собой. Она для порядка возмутилась, однако особенно сопротивляться не стала. Они примчались на пристань. Берт толкнул девушку в свою рыбацью лодку по имени «Королевна», схватил весла и стал грести как бешеный. В последний раз увидели Сатиновые острова парус «Королевы», стремительно удалявшийся в сторону западных островов. Больше ни Берта, ни Палани жители деревни не встречали.

Сперва новость о том, как Берт, племянник старой Гуди Гульд, потеряв разум, уплыл неведомо куда со школьной учительницей, потрясла деревню. Тем более что в тот день бесследно исчез и молодой торговец по кличке Чернобородый, бросив все свои драгоценные перья и бусы. Однако тема эта оказалась исчерпанной уже дня через три, ибо мистер Горовик вышел наконец из своей пещеры, и теперь у жителей деревни хватало иных тем для разговоров.

А мистер Горовик решил, что раз уж его подлинное имя стало известно всем, то можно уже не скрывать и подлинного обличья. Ходить ему всегда было куда труднее, чем летать, а кроме того, уже давненько он по-настоящему не обедал...

ВДОГОНКУ

Этот рассказ был опубликован, когда наркотики стали предметом широкого обсуждения, и кто-то бросил, что я решила нажиться на больной теме. Меня это очень повеселило, учитывая, во-первых, мой талант, позволяющий мне неизменно промахиваться мимо модных тем, а во-вторых, тот факт, что в моем маленьком рассказике Льюис как раз не принимает наркотик. Он уходит из реальности сам... с помощью друзей.

Но это и не рассказ «против» наркотиков. Я искренне полагаю, что наркотики (будь то анаша, галлюциногены или алкоголь) нельзя запрещать, но нужно объяснять их вред. Я не могу не признать, что люди, расширяющие границы своего сознания, просто живя, вместо того чтобы глотать химикалии, обычно находят куда больше что рассказать. Но я и сама наркоманка (табак), и было бы глупо с моей стороны осуждать или прославлять кого-то за подобный же порок.

Проглотив наркотик, он понял, что делать этого не следовало; понял так же отчетливо, как водитель автомашины понимает, что сейчас произойдет, когда прямо ему в лоб несется со скоростью 70 миль в час огромный грузовик. Понимание этого возникло внезапно, откуда-то изнутри, и было предельно отчетливым. Горло сдавило, под ложечкой свернулся, словно морской анемон, противный тугой комок, но было уже

The Good Trip
Copyright © 1970 by Ursula K. Le Guin
Вдогонку
© И. Тогосва, перевод, 1997

слишком поздно: наркотик начал свой путь по пищеводу — горьковатое лакомство, вроде экзотического печеньица с острой начинкой, маленький заряд неведомой еще бодрости — и за ним как бы тянулся ржавый след разъедающего душу ужаса, словно Льюис умудрился живьем проглотить ядовитую улитку. Но как раз ужаса и не должно быть. Раньше Льюис об этом как-то не подумал, а теперь было уже слишком поздно. Нельзя позволить страху завладеть собой. Страх все на свете оглушает, а тех, кто боится — их очень и очень много, этих несчастных, — отправляет в мусорную корзину, в сумасшедший дом, и там они трусливо забиваются в угол и молчат, молчат...

Тебе нечего бояться, кроме самого страха.

Да, сэр. Да, сэр, мистер Рузвельт, сэр.

Вот что надо сделать — расслабиться и подумать о чем-нибудь приятном. Если насилие неизбежно...

Он смотрел, как Рич Харринджер открывает свой паке-тик (все тщательно взвешено на аптекарских весах и гигиенично упаковано двумя будущими выпускниками химического колледжа; и они молодцы, и американский принцип свободного предпринимательства хорош — пусть этот бизнес не совсем законный, но ведь для Америки подобное в порядке вещей: здесь столь мало законного, что даже ребенок может быть незаконным) и глотает свою маленькую кисленькую улитку с явным и отчетливо написанным на его физиономии удовольствием. Если насилие неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь. Раз в неделю.

Но разве существует что-либо абсолютно неизбежное, кроме смерти? Почему я должен расслабиться? Зачем мне этим наслаждаться? Я стану бороться. Не хочу я «путешествовать» вашим дурацким способом! Я начну бороться с наркотиком сознательно, целенаправленно, не паникуя; мы еще посмотрим, чья возьмет! Вот здесь для вас приготовлен ЛСД-альфа*, 100 миллиграммов в упаковке, простенькая такая упаковочка, а здесь, дорогие дамы и джентльмены, груды самых различных наркотиков, целых 166 фунтов! Эй вы, нюхачи в белых штанах, с красными плоскими кейсами, с синими мешками под глазами — налейте! И выпустите меня отсюда! Выпустите меня! Звяк...

Но ничего не произошло.

* Диэтиламид, производное лизергиновой кислоты; оказывает галлюциногенное действие. (Здесь и далее примеч. пер.)

Льюис Синди Дэвид, просто так, без фамилии, то ли еврей, то ли древний кельт, приткнувшийся в уголке, осторожно огляделся. Все трое его приятелей выглядели нормально, он хорошо их видел, хотя дотянуться и потрогать не мог. Никакой ауры вокруг них не возникло. Джим возлежал на отвратительном, кишасщем клопами диване с журнальчиком в руках — наверное, хотел отправиться во Вьетнам, а может, в Сакраменто. Рич выглядел довольно вялым — как и всегда, впрочем. Он был вялым даже во время бесплатного ленча в парке. Зато Алекс был полностью во власти своей гитары, получая бесконечное наслаждение от каждого удачно взятого аккорда.

Серебряные аккорды. Рекорды. *Sursum corda...** Конечно, если он повсюду таскает с собой гитару, то почему бы ему не взять на ней пару аккордов? Или рекордов? Нет. Не злись.

Раздражительность — признак потери самообладания.

Раздражительность следует подавить. А ты подави все сразу, а? Эй, надзиратель, подавить их! Давайте, ребята, давите на здоровье!

Льюис встал, с удовольствием убеждаясь в адекватности собственных реакций и отличной работе вестибулярного аппарата, и налил в стакан воды из-под крана. Раковина была омерзительна: волосы, оставшиеся после бритья, плевки зубной пасты «Колгейт», мерзкие ржавые и красноватые потеки... Нет, это какой-то притон! Ну и что? Да, гнусный маленький притончик — зато свой собственный. Интересно, почему он живет в такой помойке? Зачем просил Джима, Рича и Алекса прийти сюда и поделиться своим «лакомством»? Ему и так достаточно паршиво, чтобы стать еще и наркоманом. Скоро в комнате будет полно вялых тел, остекленелых глаз, закатившихся под лоб, а потом мраморными шариками выпрыгнувших из глазниц прямо в пыль под кроватю...

Льюис осмотрел стакан с водой на просвет, потом отпил примерно половину, а оставшейся водой начал потихоньку поливать росток оливы в треснувшем десятицентовом горшке. «Выпей за мое здоровье», — пробормотал он, изучая крошечное деревце.

* «Горе сердца», выше сердца (*лат.*). Возглас католического священника во время мессы.

Его олива была пяти дюймов росту, однако выглядела она почти совсем как настоящая — такая же шишковатая и прочная. Его «бонсай», его карликовое деревце.

Ура, маленькая олива, банзай! Но где же сатори, где пресловутое «внезапное озарение»? Где понимание сокровенного, где обострение всех чувств, где все эти фантастические формы, яркие цвета, неожиданные значения? Где как бы высвеченная наркотиком реальность? О Господи, сколько же еще нужно времени, чтобы это проклятое снадобье наконец подействовало? Вот его оливковое деревце. Точно такое же, как и было. Ни больше ни меньше. И никаким особым символом ему не кажется. Точно так и люди орут: «Мира, мира!» — а мира на Земле все нет. Наверное, не хватает на всех оливковых деревьев — слишком бурно растет население...

Ну и что, это ли пресловутое «обостренное восприятие действительности»? Нет уж, чтобы до такого додуматься, наркотик и близко не нужен. Ну же, давай! Трави меня, трави! Эй, галлюцинации, где вы? Явитесь, я вызываю вас на поединок, я буду биться с вами, я вас возненавижу... и проиграю битву, и сойду с ума — в полном молчании...

Как Изабель.

Вот почему он живет в этой помойке, вот почему попросил Джима, Рича и Алекса прийти сюда и вот почему отправился путешествовать вместе с ними — надеялся на дивное плавание, чудесный праздник, волшебный отпуск... Он пытался догнать свою жену. Это невыносимо — видеть, как твоя жена у тебя на глазах сходит с ума и сделать ничего невозможно. И нельзя отправиться вместе с ней. А она уходит все дальше и дальше, не оглядываясь, по длинной-длинной дороге — в молчание. Сладкоголосая лира любви умолкает, зато сладкоголосые психиатры лгут в один голос. Ты стоишь за прозрачной стеной собственного здравого смысла — словно в аэропорту, провожая или встречая кого-то, — и у тебя на глазах самолет твоей жены падает. Ты кричишь: «Изабель!» — но она не слышит. Ничего не слышит. И самолет падает на землю — в полной тишине. Она уже не могла услышать, как он зовет ее по имени. Не могла и сама заговорить с ним. Теперь стены, разделявшие их, стали совсем толстыми, из прочного кирпича, и он мог как угодно безумствовать в хрустальном дворце собственного душевного здоровья. Мог пытаться разбить его стены камнями. Или наркотиками. Звук, бряк, взрыв...

ЛСД-альфа, конечно же, до полного безумия не доводит.

Этот наркотик даже не оставляет следа в ваших генах. Он просто делает доступной высшую реальность. Как шизофрения, подумал Льюис. Но вот в чем загвоздка: поговорить-то там все равно ни с кем нельзя, нельзя ни рассказать о себе, ни спросить...

Джим уронил наконец свой журнал. Он сидел в изысканно-небрежной позе, глубоко затягиваясь табачным дымом. Явно был намерен общаться с высшей реальностью «на ты». Как буддийские монахи. Джим всегда был истинно верующим, и теперь жизнь его сосредоточилась на эксперименте с ЛСД-альфа — так глубоко уйти в таинство своей науки способен лишь средневековый мистик. Но хватит ли упорства неделю за неделей заниматься одним и тем же? И в тридцать лет? И в сорок два? И в шестьдесят три? Все-таки должно быть ужасно скучно; что-то в этом есть враждебное самой жизни; наверное, для подобных занятий лучше уйти в монастырь. Заутрени, обедни, вечерни, тишина, надежные стены вокруг, высокие, прочные. Чтобы преградить доступ низшей реальности.

Ну давай же, галлюциноген, делай свое дело! Вызывай галлюцинации, пусть я совсем загаллюцинируюсь. Разбей эту прозрачную стену. Дай мне пойти тем путем, которым ушла моя жена. Ушла из дому и не вернулась молодая женщина 22 лет, рост 5 футов 3 дюйма; вес 105 фунтов, волосы каштановые, принадлежит к человеческой расе, пол женский... Она ведь не умеет слишком быстро ходить. Я бы и на одной ноге сумел догнать ее. Перенеси меня туда, к ней... Нет.

Я сам отправлюсь за ней вдогонку, решил Льюис Синди Дэвид. Он перестал по капельке поливать свое оливковое деревце и посмотрел в окно. За грязным стеклом в сорока милях от него виднелась Маунт Худ*, почти идеальный конус в две мили высотой. Спящий вулкан, официально не признанный, однако, потухшим, он полон дремлющего до поры огня. На вершине Маунт Худ и свои облака, и свой собственный климат, иной, чем у подножия: там вечные снега и ясный чистый свет. Вот потому-то он и торчит в этой помойке — здесь из окна видна высшая реальность. Выше обычной на одиннадцать тысяч футов.

* Вершина вулканического происхождения в Каскадных горах, Северный Орегон.

— Черт меня побери! — вслух удивился Льюис, чувствуя, что вот-вот ему откроется нечто действительно важное. Впрочем, подобное ощущение у него бывало довольно часто и без помощи химии. Ведь существовала еще и гора.

Между ним и горой лежали груды всякого мусора, асфальтированные дороги, пустые конторы и министерства, громоздились пригороды и мигали неоновые слоны, поливавшие струей из хобота неоновые машины, а вода от них разлеталась неоновыми блестками. Подошва горы вместе с предгорьями пряталась в бледном тумане, так что издали казалось, будто вершина куда-то плывет.

Льюису вдруг очень захотелось заплакать и произнести вслух имя жены. Он подавил это желание, уже целых три месяца он подавлял его — с мая, с тех пор как отвез Изабель, молчавшую уже несколько месяцев, в лечебницу. В январе, перед тем как замолчать, она очень много плакала, иногда целыми днями, и он стал бояться слез. Сперва слезы, потом молчание. Ничего хорошего.

О Господи, как же мне из этого выпутаться!

Льюис расслабился, прекратил борьбу с неосязаемым врагом и теперь умолял о пощаде. Он просил наркотик в его крови начать наконец действовать, сделать хоть что-нибудь — позволить ему заплакать или увидеть что-то небывалое — как-то освободить его от этого безумия...

Но ничего не происходило.

Он перестал по капельке поливать свое оливковое дерево и осмотрел комнату. Сыровато, зато просто, и из окон прекрасный вид на Маунт Худ, а в ясные дни видно и похожую на зуб мудрости Маунт Эдамс. Однако здесь никогда ничего не происходит. Здесь всего лишь «зал ожидания». Он взял со сломанного стула свое пальто и вышел из комнаты.

Это было отличное пальто, на чистошерстяной подкладке, с капюшоном; мать и сестра в складчину купили пальто к Рождеству, отчего Льюис почувствовал себя этаким Раскольниковым. Только вот не собирался убивать старушку-процентщицу. Даже понарошку. На лестнице он встретился с малярами и штукатурами. Их было трое, они со стремянками и ведрами шли наверх приводить в порядок его комнату. Спокойные мужчины со здоровым румянцем на щеках; лет сорока—пятидесяти. Эх, бедняги, что же они с этой раковинной-то делать будут? И с теми троими, альфой отравленными — Ричем, Джимом и Алексом, — пребывающими сейчас

где-то в райских кушах? И с кучей его собственных заметок о Ленотре и Олмстед*? И с четырнадцатью фунтами фотографий японской архитектуры? С его мольбертом, рыболовными снастями и собранием сочинений Теодора Старджона в потрясающих переплетах? С огромной, 8х10 футов, незаконченной картиной маслом — худосочная «ню», работа его приятеля, примазавшегося к выставке самого Льюиса? С гитарой Алекса, с оливковым деревцем, со всей этой пылью и мраморными глазными яблоками под кроватью? Ну, это их проблемы. Льюис продолжал спускаться по лестнице, пахло кошками, башмаки с металлическими подковками громко стучали по ступенькам.

Ему казалось, что все это когда-то уже с ним было.

Потребовалось немало времени, чтобы выбраться из города. Поскольку пользоваться общественным транспортом «людям в состоянии наркотического опьянения», конечно же, было запрещено, он не стал садиться на попутный автобус до Грешема, хотя это здорово сэкономило бы ему время. Однако времени у него более чем достаточно. Вечера летом длинные, светлые; это весьма кстати. Сперва наступают легкие бесконечные сумерки, и только потом постепенно спускается ночь. На этой долготе — середина между экватором и полюсом — нет ни тропической монотонности, ни арктических абсолютов; зимой ночи длинные, а летом длинные вечера, когда один оттенок света сменяет другой и понемногу наступает как бы помутнение ясности, утонченный ленивый отдых света.

Дети носились в зеленых парках Портленда, по длинным улицам, отвлекаясь вбок от главной, идущей вверх магистралей. То была какая-то всеобщая игра — Игра Юных. Лишь изредка можно было заметить одинокого ребенка; такие играли в Одиночество по большой ставке. Некоторые дети — прирожденные игроки. Мусор по краям сточных канав шевелился от дыхания теплого ветра. Над городом плыл далекий и печальный звук — казалось, режут запертые в клетках львы, мечутся, подрагивая золотистыми шкурами, нервно бьют хвостами с желтыми кисточками и режут, режут... Солнце село, исчезнув где-то на западе, за городскими крышами, но вершина горы сияла по-прежнему, горела ослепитель-

* Андре Ленотр (1613—1700) — французский архитектор, мастер садово-паркового искусства, создатель «французского» типа парка.

Фредерик Лоу Олмстед (1822—1903) — американский архитектор — пейзажист, создатель Центрального парка в Нью-Йорке.

ным белым огнем. Когда Льюис наконец выбрался из пригородов и пошел среди дивных, отлично возделанных полей по холмам, ветер дохнул запахами сырой земли, прохлады и еще чего-то сложного, как бывает ночью. На крутых склонах, покрытых густыми лесами, уже сгушалась тьма. Но времени у него было еще много. Прямо над головой, впереди, сияла белая вершина, чуть отливая желтоватым абрикосом там, где ее касались последние закатные лучи. Поднимаясь вверх по длинной крутой дороге, Льюис сперва нырнул в густую тень горного леса, потом снова очутился на открытом участке — словно поплыл в потоках золотистого света. Он шел вперед, пока леса не остались далеко внизу и он не поднялся над сгущавшейся тьмой, оказавшись на такой высоте, где были только снега и камни, воздух и бескрайний, чистый, вечный свет.

Но он был по-прежнему один.

Нет, это несправедливо! Он же не был один тогда. И теперь должен был встретиться... Он был тогда вместе... Где?

Ни лыж, ни саней, ни снегоступов, ни детской железной горки... Если бы мне поручили распланировать эту местность, Господи, я бы непременно проложил тропу — прямо вот здесь. Пожертвовал бы величием во имя удобства. Всего-то одну маленькую тропинку! Никакого ущерба природе. Всего лишь одна крошечная трещинка в Колоколе Свободы. Всего лишь одна крошечная протечка в плотине, всего лишь крошечный взрыватель, вставленный в бомбу. Всего лишь маленькая причуда. О, моя безумная девочка, моя безмолвная любовь, жена моя, которую я предал хаосу, ибо она не пожелала услышать меня... О, Изабель, приди, спаси меня от себя самой!

Я ведь за тобой карабкался сюда, где и тропинок-то нет, и теперь стою здесь один, и некуда мне идти...

Закат догорал вдаль, и белизна снега приняла мрачноватый оттенок. На востоке, над бесконечными горными вершинами, над темными лесами и бледными озерами в холмистых берегах был виден гигантский Сатурн, яркий и кроваво-жидкий.

Льюис не знал, где остался «Охотничий приют», наверное, где-нибудь на опушке, но сам он сейчас был гораздо выше лесов и ни за что не хотел спускаться вниз. К вершине, к вершине! Выше и выше! Этаким юный знаменосец снегов и льдов — только вот девиз на знамени странный: ПОМОГИТЕ, ПОМОГИТЕ, Я ПЛЕННИК ВЫСШЕЙ

РЕАЛЬНОСТИ. Он поднимался все выше. Карабкался по диким скалам; волосы растрепались, рубашка выехала из брюк. Он плакал, и слезы скатывались вниз по щекам и по подбородку, но сам он упорно полз вверх — странная слезинка на щеке горы.

Ужасно встречать ночь на такой высоте — слишком одиноко.

Свет не стал медлить ради него. И времени теперь совсем не осталось. Он исчерпал свой запас времени. Из потоков тьмы выглянули звезды и уставились прямо ему в глаза; он видел их всюду, стоило лишь отвести взгляд от огромного белого сходящегося конусом пространства — он впервые шел по долине, расположенной так высоко. По обе стороны этой белой долины зияли темные пропасти, в их глубинах сияли звезды. И снег тоже светился — собственным холодным светом, так что Льюис мог продолжать свой путь на вершину.

Ту тропу он вспомнил сразу, едва выйдя на нее. Бог ли, государственные службы, или он сам — но кто-то все же проложил здесь тропу. Он свернул направо — и зря. Тогда он пошел налево и замер как вкопанный: не зная, куда идти дальше. И тогда, дрожа от холода и страха, он выкрикнул, адресуя мертвенно-белой вершине и черному небу, усыпанному звездами, имя своей жены: Изабель!

Она вышла из темноты и по тропе спустилась к нему.

— Я уже начала беспокоиться, Льюис.

— Я зашел дальше, чем мог, — ответил он.

— Здесь такие долгие светлые вечера, что кажется, будто ночь никогда не наступит...

— Да, правда. Прости, что заставил тебя волноваться.

— О, я не волновалась. Знаешь, это у меня просто от одиночества. Я подумала, может, ты ногу повредил... Хорошая была прогулка?

— Потрясающая.

— Возьми меня с собой завтра, а?

— Что, лыжи еще не наскучили?

Она помотала головой, покраснела и пробормотала:

— Нет, я без тебя не катаюсь.

Они свернули налево и медленно пошли вниз по тропе. Льюис все еще немного прихрамывал из-за порванной связки — из-за этого он два последних дня и не мог кататься на лыжах. Они держались за руки. Снег, звездный свет, покой. Где-то под ногами огонь, вокруг темнота; впереди — горя-

ший камин, пиво, постель... Все в свое время. Некоторые — прирожденные игроки — всегда предпочитают жить на краю вулкана.

— Когда я была в лечебнице, — сказала Изабель, замедлив шаг настолько, что он остановился, и теперь не было слышно даже шороха их шагов на сухом снегу — вообще ни одного звука, только тихий ее голос, — мне снился один такой сон... страшный... Это был... самый важный сон в моей жизни. И все-таки в точности вспомнить я его не могу — никогда не могла, никакие лекарства не помогали. Но, в общем, он был примерно такой: тоже тишина, очень высоко в горах, и выше гор — тишина... Превыше всего — тишина. Там, во сне, было так тихо, что, если бы я что-то сказала, ты внизу смог бы услышать. Я это знала точно. И мне кажется, я назвала тебя по имени, вслух, и ты действительно меня услышал — ты мне ответил...

— Назови меня по имени, — прошептал он.

Она обернулась и посмотрела на него. На склоне горы и среди звезд стояла полная тишина. И она отчетливо произнесла его имя.

А он в ответ назвал ее имя и обнял ее. Обоих била дрожь.

— Холодно, как холодно, пора спускаться вниз.

Они двинулись дальше, по туго натянутому меж двух огней канату.

— Посмотри, какая огромная звезда вон там!

— Это планета. Сатурн. Отец-Время.

— Он съел своих детей, верно? — прошептала она, крепко сжимая его руку.

— Всех, кроме одного, — ответил Льюис.

Они прошли еще немного вниз и увидели на покрытом чистым снегом склоне горы в серовато-жемчужном свете звезд темную громаду «Охотничьего приюта», кабинки подвесной дороги и уходящие далеко вниз канаты.

Руки у него заledenели, и он на минутку снял перчатки, чтобы растереть их, но ему ужасно мешал стакан воды, который он нес в руке. Он перестал по капельке поливать свое оливковое деревце и поставил стакан рядом с треснувшим цветочным горшком. Но что-то все еще сжимал в ладони, словно шпаргалку на выпускном экзамене по французскому — *que je fasse, que tu fasse, qu'il fasse** — маленькую, слипшуюся от пота бумажку. Некоторое время он

* Спряжение глагола «faire» (делать) в сослагательном наклонении.

изучал лежащий на ладони предмет. Какая-то записка? Но от кого? Кому? Из могилы — в чрево? Маленький пакетик, запечатанный, и в нем 100 миллиграммов ЛСД-альфа в сахарной облатке.

Запечатанный?

Он припомнил, с необычайной точностью и по порядку, как открыл пакетик, проглотил его содержимое, почувствовал вкус наркотика. Он столь же отчетливо помнил, где был после этого, и догадался, что никогда не бывал там раньше.

Он подошел к Джиму, который теперь как раз выдыхал тот воздух, который вдохнул, когда Отбис сунул пакетик ему в карман пиджака.

— А ты разве не с нами? — спросил Джим, ласково ему улыбаясь.

Льюис покачал головой. Ему было трудно объяснить, что он уже вернулся из путешествия, которого не совершал. Впрочем, Джим бы его все равно не услышал. Они были отгорожены друг от друга такими стенами, которые не дают возможности слышать других и отвечать им.

— Счастливого путешествия, — сказал Льюис Джиму.

Потом взял свой плащ (грязный поплин, какая там шерстяная подкладка, эй, бродяга, постой, погоди) и пошел по лестнице вниз, на улицу. Лето кончалось, наступала осень. Шел дождь, но сумерки еще плыли над городом, и ветер налетал сильными холодными порывами, принося запах сырой земли, лесов и ночи.

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ

Ответственность, но не вину, за этот рассказ несет биолог Гордон Рэттрей Тейлор. В его замечательной книге «Биологическая адская машина» есть глава о клонировании. Я прочла ее и написала рассказ.

Это один из самых «жестких» научно-фантастических рассказов, какой я написала — разработка темы, экстраполированной напрямую из современных работ в области естественных наук, рассказ «что будет, если...». Но сама тема разработана психологически, гуманитарно. Научный элемент я использую не как самоцель, а как метафору, символ, способ высказать что-то, для чего иначе не подберешь слов.

«Девять жизней» были опубликованы в «Плейбое» в 1968 году под единственным псевдонимом, какой я когда-либо использовала — У. К. ле Гуин. Редакторы вежливо поинтересовались, можно ли использовать только мои инициалы, а я согласилась. Что «Плейбой» в те времена был лишен совести — неудивительно, но меня поражает, как спокойно я согласилась. Это был первый и единственный раз, когда я столкнулась с дискриминацией по половому признаку, дискриминацией меня как женщины-писателя, со стороны издателя или редактора. И мне кажется теперь нелепым и гротескным, что я не уловила тогда важности этого факта.

В «Плейбое» рассказ претерпел множество мелких правок, которые остались и при последующих переизданиях.

Nine Lives

Copyright © 1969 by Ursula K. Le Guin

Девять жизней

© И. Можейко, перевод, 1971

© Издательство «Полярис», дополнения, 1997

Я предпочитаю собственную версию, и всякий раз когда имею возможность повлиять на это, рассказ публикуется в той форме, в какой вы его видите, и под моим полным именем

Внутри она была живой, а снаружи мертвой, ее черное лицо было покрыто густой сетью морщин, шрамов и трещин. Она была лысой и слепой. Судороги, искажавшие лицо Либры, были лишь слабым отражением порока, бушевавшего внутри. Там, в черных коридорах и залах, веками бурлила жизнь, порождающая кошмарные химические соединения.

— У этой чертовой планеты нелады с желудком, — проворчал Пью, когда купол пошатнулся и в километре к юго-западу прорвался пузырь, разбрызгав серебряный гной по закатному небу. Солнце садилось уже второй день. — Хотел бы я увидеть человеческое лицо.

— Спасибо, — сказал Мартин.

— Конечно, твое лицо — человеческое, — ответил Пью. — Но я так долго на него смотрю, что перестал замечать.

В коммуникаторе, на котором работал Мартин, раздались неясные сигналы, заглохли и затем уже возникло лицо и голос. Лицо заполнило экран — нос ассирийского царя, глаза самурая, бронзовая кожа и стальные глаза. Лицо было молодым и величественным.

— Неужели так выглядят человеческие существа? — удивился Пью. — А я и забыл.

— Заткнись, Оуэн, мы выходим на связь.

— Исследовательская база Либра, вас вызывает корабль «Пассерина».

— Я Либра. Настройка по лучу. Опускайтесь.

— Отделение от корабля через семь земных секунд. Ждите.

Экран погас, и по нему побежали искры.

— Неужели они все так выглядят? Мартин, мы с тобой куда уродливее, чем я думал.

— Заткнись, Оуэн.

В течение двадцати двух минут Мартин следил за спускающейся капсулой по приборам, а затем они увидели ее сквозь крышу купола — падающую звездочку на кроваво-красном небосклоне. Она опустилась тихо и спокойно — в

разреженной атмосфере Либры звуки были почти не слышны. Пью и Мартин защелкнули шлемы скафандров, закрыли люки купола и громадными прыжками, словно прославленные артисты балета, помчались к капсуле. Три контейнера с оборудованием снизились с интервалом в четыре минуты в сотне метров друг от друга.

— Выходите, — сказал по рации Мартин, — мы ждем у дверей.

— Выходите, здесь чудесно пахнет метаном, — сказал Пью.

Люк открылся. Молодой человек, которого они видели на экране, по-спортивному выпрыгнул наружу и опустился на зыбкую пыль и гравий Либры. Мартин пожал ему руку, но Пью не спускал глаз с люка, в котором появился другой молодой человек, таким же прыжком опустившийся на землю, затем девушка, спрыгнувшая точно так же. Все они были высокие, черноволосые, с такой же бронзовой кожей и носами с горбинкой. Все на одно лицо. Четвертый выпрыгнул из люка...

— Мартин, старик, — сказал Пью, — к нам прибыл клон.

— Правильно, — ответил один из них. — Мы — десятиклон. По имени Джон Чоу. Вы лейтенант Мартин?

— Я Оуэн Пью.

— Альваро Гильен Мартин, — представился Мартин, слегка поклонившись.

Еще одна девушка вышла из капсулы. Она была так же прекрасна, как остальные. Мартин смотрел на нее, и глаза у него были как у перепуганного коня. Он был потрясен.

— Спокойно, — сказал Пью на аргентинском диалекте. — Это всего-навсего близнецы...

Он стоял рядом с Мартином. Он был доволен собой.

Нелегко встретиться с незнакомцем. Даже самый уверенный в себе человек, встречая самого робкого незнакомца, ощущает известные опасения, хотя он сам об этом может и не подозревать. Оставит ли он меня в дураках? Поколеблет ли мое мнение о самом себе? Вторгнется ли в мою жизнь? Разрушит ли меня? Изменит? Будет ли он поступать иначе, чем я? Да, конечно. В этом весь ужас: в незнании незнакомца.

После двух лет, проведенных на мертвой планете, причем последние полгода только вдвоем — ты и другой, — после всего этого еще труднее встретить незнакомца, как бы

долгожданен он ни был. Ты отвык от разнообразия, потерял способность к контактам, и в сердце рождается первобытное беспокойство, оживают смутные страхи.

Клон, состоявший из пяти юношей и пяти девушек, за две минуты успел сделать то, на что обыкновенным людям потребовалось бы двадцать: поздоровался с Мартином и Пью, окинул взглядом Либру, разгрузил капсулу, приготовился к переходу под купол. Они вошли в купол и наполнили его, словно рой золотых пчел. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину, заполняя пространство медово-коричневым потоком человеческого присутствия. Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему, сразу трое. Их улыбки были теплее, чем у юношей, но не менее уверенные.

— Уверенные в себе, — прошептал Оуэн Пью своему другу. — Вот в чем дело. Подумай о том, каково это — десять раз быть самим собой. Девять раз повторяется каждое твое движение, девять «да» подтверждают каждое твое согласие. Это великолепно!

Но Мартин уже спал. И все Джоны Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием. Они были молоды, они не храпели. Мартин вздыхал и храпел, его обветренное лицо разгладилось в туманных сумерках Либры. Пью высветлил купол. Внутрь заглянули звезды, среди них Солнце — великое содружество света, клон сверкающих великолепий. Пью спал, и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по трясущимся холмам ада.

Лежа в спальном мешке, Пью следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары — юноши и девушки, которые спали обнявшись в одном мешке. Увидев это, Пью вздрогнул, точно по телу его прошло либротрясение. Он не заметил дрожи, больше того, решил, что зрелище ему по душе — нет на этой пустой скорлупе других радостей. Тем больше славы им, любящим. Один из проснувшихся толкнул парочку. Они проснулись, и девушка села, сонная, раскрасневшаяся, не прикрывая золотых грудей. Одна из сестер что-то шепнула ей на ухо, девушка бросила на Пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Раздался смешок. Еще кто-то буквально просверлил капитана взглядом, и откуда-то донеслось:

— Господи, мы же привыкли так. Надеюсь, вы не возражаете, капитан Пью.

— Разумеется, — ответил Пью не совсем искренне. Ему пришлось встать, он был в трусах и чувствовал себя ошипанным петухом — весь покрылся гусиной кожей. Никогда он еще так не завидовал загорелому крепкому Мартину.

За завтраком один из Джонов сказал:

— Итак, если вы проинструктируете нас, капитан Пью...

— Зовите меня Оуэном.

— Тогда мы, Оуэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени вашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда «Пассерина» была на орбите вокруг пятой планеты.

Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем, и все объяснения выпали на долю Пью. Говорить с клоном было трудно. На десяти одинаковых лицах отражался одинаковый интерес, десять голов одинаково склонялись набок. Они даже кивали одновременно.

На форменных комбинезонах Службы исследования были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими — Джон Чоу, но вторые имена — разные. Юношей звали Алеф, Каф, Йод, Гимел и Самед. Девушек — Садэ, Далет, Зайин, Бет и Реш. Пью пытался было обращаться к ним по этим именам, но тут же от этого отказался: порой он даже не мог различить, кто из них говорит, так одинаковы были их голоса.

Мартин намазал гренки маслом, откусил кусок и наконец вмешался в разговор:

— Вы представляете собой команду, не так ли?

— Правильно, — ответили два Джона сразу.

— И какую команду! А я сначала даже не понял. Насколько же вы можете читать мысли друг друга?

— По правде говоря, мы совсем не умеем читать мыслей, — ответила девушка по имени Зайин. Остальные благожелательно наблюдали за ней. — Мы не знаем ни телепатии, ни чудес. Но наши мысли схожи. Мы одинаково подготовлены. Если перед нами поставить одинаковые задачи, вернее всего, мы одинаково к ним подойдем и одновременно их решим. Объяснить это просто, но обычно и не требуется объяснений. Мы редко не понимаем друг друга. И это помогает нам как команде.

— Еще бы, — сказал Мартин. — За последние полгода мы с Пью семь часов из десяти тратим на взаимное непонимание. Как и большинство людей. А в критических обстоятельствах вы можете действовать как нормаль... как команда, состоящая из отдельных людей?

— Статистика свидетельствует об обратном, — с готовностью ответила Зайин.

«Клоны, должно быть, обучены, как находить лучшие ответы на вопросы, как рассуждать толково и убедительно, — подумал Пью. — Все, что они говорили, несло на себе печать некоторой искусственности, высокопарности, словно ответы были заранее подготовлены для публики».

— У нас не бывает вспышек озарения, как у одиночек, мы как команда не извлекаем выгоды при обмене идеями. Но этот недостаток компенсируется другим: клоны создаются из лучшего человеческого материала, от индивидуумов с максимальным коэффициентом интеллектуальности, стабильной генетической структурой и так далее. Мы располагаем большими ресурсами, чем обычные индивидуумы.

— И все это надо умножить на десять. А кто такой, точнее, кем был Джон Чоу?

— Наверняка гений, — вежливо сказал Пью. Клоны интересовали его явно меньше, чем Мартина.

— Он был многогранен, как Леонардо, — сказал Йод. — Биоматематик, а также виолончелист и подводный охотник, он интересовался структурными проблемами и так далее. Он умер раньше, чем успел разработать свои основные теории.

— И теперь каждый из вас представляет собой какой-нибудь один аспект его разума, его таланта?

— Нет, — ответила Зайин, покачивая головой одновременно с несколькими братьями и сестрами. — У всех у нас схожие мысли и устремления, мы все инженеры Службы планетных исследований. Другой клон может быть подготовлен для того, чтобы освоить иные аспекты личности Чоу. Все зависит от обучения — генетическая субстанция идентична. Все мы — Джон Чоу. Но учат каждого из нас по-разному.

Мартин был потрясен.

— Сколько вам лет?

— Двадцать три.

— Вы сказали, что он умер молодым; так половые клетки были взяты у него заранее или как?

Ответить взялся Гимел.

— Он погиб двадцати четырех лет в авиационной катастрофе. Мозг его спасти не удалось, так что пришлось взять внутренние клетки и подготовить их к клонированию. Половые клетки для клонирования не годятся — в них только

половинный набор хромосом. Внутренние клетки могут быть обработаны таким образом, что становятся базой нового организма.

— И все вы — обломки одного кирпича, — громко заявил Мартин. — Но как же... некоторые из вас — женщины?

Теперь ответила Бет:

— Это несложно — запрограммировать половину массы клона для воспроизведения женского организма. Удалите из половины клеток мужские гены, и они вернутся к базисному состоянию, то есть к женскому началу. Труднее добиться обратного эффекта и создать искусственную Y-хромосому. Так что клонирование происходит в основном от мужского донора, потому что клоны, состоящие из обоих полов, лучше функционируют.

И снова Гимел:

— Технология и техника отработаны до мелочей. Налогоплательщики желают получить лучшее за свои деньги: а клоны дороги. Если присчитать клеточную хирургию, вынашивание на плаценте Нгама и поддержку групп приемных родителей, мы обходимся обществом в три миллиона каждый.

— А что касается следующего поколения, — не сдавался Мартин. — Я полагаю... вы размножаетесь?

— Мы, женщины, стерильны, — спокойно ответила Бет. — Как вы помните, из наших первоначальных клеток Y-хромосома удалена. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами с хорошей наследственностью, если, конечно, захотят. Но для того чтобы снова создать Джона Чоу в нужном количестве копий и в нужное время, приходится брать клетку от клона — этого клона, нашего клона.

Мартин сдался. Он кивнул и дождался остывший гренок.

— Ну что ж, — сказал один из Джонов. И тут же настроение клона изменилось, словно стая скворцов единым неувловимым взмахом крыльев изменила направление полета, следуя за вожаком, которого человеческий глаз не в силах различить в этой стае. Они были готовы приняться за дело.

— Разрешите взглянуть на шахту? А потом мы разгрузим оборудование. Мы привезли любопытные новые машины. Вам, без сомнения, будет интересно на них взглянуть. Правда?

Если бы даже Пью с Мартином не согласились с предложением Джонов, признаться в этом было бы нелегко. Джоны были вежливы, но единодушны: то, что они решали, выполнялось. Пью, начальник базы Либра-2, почувствовал

озноб. Сможет ли он командовать группой из десяти суперменов? И при этом гениев? Когда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали.

Расположившись в трех больших флаерах — по четверо в каждом, — обитатели базы помчались к северу над серой под звездным светом, морщинистой кожей Либры.

— Пустынно, — сказал один из Джонов.

Во флаере Пью и Мартина сидели юноша и девушка. Пью подумал, не они ли спали прошлой ночью в одном мешке.

— Здесь пустынно, — сказал юноша.

— Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне, — голос девушки был выше и мягче.

— Как вы перенесли прыжок?

— Нам дали наркотик. А мне бы хотелось самому испытать, что это такое, — ответил юноша. Его голос дрогнул. Казалось, оставшись вдвоем, они обнаруживали большую индивидуальность. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность?

— Не расстраивайтесь, — сказал Мартин, управлявший вездеходом. — Вы все равно не ощутили бы вневременного перехода, там и ощущать-то нечего.

— Мне все равно хотелось бы попробовать, — ответил юноша, — тогда бы мы знали.

На востоке опухольями возникли горы Мерионета, на западе поднялся столб замерзающего газа, и флаер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь предохранить друг друга. Твоя кожа — моя кожа, в буквальном смысле этого слова, подумал Пью. Какие чувства испытываешь, когда на свете есть кто-то, столь близкий тебе? Если ты спрашиваешь, тебе всегда ответят, если тебе больно, кто-то рядом разделит твою боль. Возлюби своего ближнего, как самого себя... древняя неразрешимая проблема разрешена. Сосед твой — ты сам. Любовь достигла совершенства.

А вот и шахта, Адская Пасть.

Пью был космогеологом Службы, Мартин — техником и картографом при нем. Но когда в ходе разведки Мартин обнаружил месторождение урана, Пью полностью признал его заслуги, а заодно возложил на него обязанности по разведке залежей и планированию работы для исследовательской команды. Этих ребят отправили с Земли задолго до того, как там был получен доклад Мартина, и они не подозревали, чем будут заниматься, пока не прилетели на Либ-

ру. Служба исследований попросту регулярно отправляла исследовательские команды, подобно одуванчику, разбрасывающему семена, зная наверняка, что им найдется работа если не на Либре, то на соседней планете или еще на какой-то, о которой они и не слышали. Правительству был слишком нужен уран, чтобы ждать, когда до Земли за несколько световых лет дойдут сообщения. Уран был, как золото, старомоден, но необходим, он стоил того, чтобы добывать его на других планетах и привозить домой. «Он стоит того, чтобы менять его на людские жизни», — невесело думал Пью, наблюдая за тем, как высокие юноши и девушки, облитые светом звезд, друг за другом входили в черную дыру, которую Мартин назвал Адской Пастью.

Когда они вошли в шахту, рефлекторы на их шлемах загорелись ярче. Двенадцать качающихся кругов света плыли по влажным, морщинистым стенам. Пью слышал, как впереди потрескивал счетчик радиации Мартина.

— Здесь обрыв, — раздался голос Мартина по внутренней связи, заглушив треск и окружавшую их мертвую тишину. — Мы прошли по боковому туннелю, впереди — вертикальный ход. — Черная пропасть простиралась в бесконечность, лучи фонарей не достигали противоположной стены. — Вулканическая деятельность прекратилась здесь примерно две тысячи лет назад. Ближайший сброс находится в двадцати восьми километрах к востоку, в траншее. Эта область сейсмически не более опасна, чем любая другая в нашем районе. Могучий слой базальта, перекрывающий субструктуру, стабилизирует ее, по крайней мере пока он сам стабилен. Ваша основная жила находится в тридцати шести метрах отсюда внизу и тянется через пять пустот к северо-востоку. Руда в жиле очень высокого качества. Надеюсь, вы знакомы с данными разведки? Добыча урана не представляет трудности. От вас требуется только одно — вытащить руду на поверхность.

— Поднимите крышу и выньте уран.

Смешок. Зазвучали голоса, но все они были одним голосом:

— Может, ее сразу вскрыть? Так безопаснее. Открытая разработка.

— Но это же сплошной базальт! Какой толщины? Десять метров?

— От трех до двадцати, если верить докладу.

— Используем этот туннель, расширим, выпрямим и уложим рельсы для робота́чек.

— Ослов бы сюда завезти.

— А хватит ли у нас стоек?

— Мартин, каковы, по вашему мнению, запасы месторождения?

— Пожалуй, от пяти до восьми миллионов килограммов.

— Транспорт прибудет через десять земных месяцев.

— Будем грузить чистый уран.

— Нет, проблема транспортировки грузов теперь разрешена, ты забыл, что мы уже шестнадцать лет как улетели с Земли.

— В прошлый вторник исполнилось шестнадцать лет.

— Правильно, они погрузят руду и очистят ее на земной орбите.

— Мы спустимся ниже, Мартин?

— Спускайтесь. Я там уже был.

Первый из них — кажется, Алеф — скользнул по лестнице вниз. Остальные последовали за ним. Пью и Мартин остались на краю пропасти. Пью настроил рацию на избирательную связь с Мартином и заметил, что Мартин сделал то же самое. Было чуть утомительно слушать, как один человек рассуждает вслух десятью голосами. А может, это был один голос, выразивший мысли десятерых?

— Ну и утроба, — сказал Пью, глядя в черную пропасть, чьи изрезанные жилами, морщинистые стены отражали лучи фонарей где-то далеко внизу. — Коровий желудок, набитый окаменевшим дерьмом.

Счетчик Мартина попискивал, как потерявшийся цыпленок. Они стояли на умиравшей планете-эпилептике, дыша кислородом из баллонов, одетые в нержавеющие, антирадиационные скафандры, способные выдержать перепады температур в двести градусов, неподвластные ударам и разрывам, созданные для того, чтобы любой ценой сберечь мягкую плоть, заключенную внутри.

— Хотел бы я когда-нибудь попасть на планету, где нечего было бы исследовать.

— А тебе такая досталась.

— Тогда в следующий раз лучше не выпускай меня из дома.

Пью был рад. Он надеялся, что Мартин согласится и дальше работать вместе с ним, но оба они не привыкли

говорить о своих чувствах, и потому он не решался спросить об этом.

— Я постараюсь, — сказал он.

— Ненавижу это место. Ты знаешь, я люблю пещеры. Потому я сюда и залез. Страсть к спелеологии. Но эта пещера — сволочь. Seriously. Здесь ни на секунду нельзя расслабиться. Хотя, надеюсь, эти ребята с ней справятся. Они свое дело знают.

— За ними будущее, каким бы оно ни было, — сказал Пью.

«Будущее» карабкалось по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпало его вопросами.

— У нас хватит материала для крепления?

— Если мы переоборудуем один из сервоэкстракторов, то да.

— Микровзрывов будет достаточно?

— Каф может рассчитать нагрузки.

Пью переключил рацию на прием их голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на Адскую Пасть и морщинистую равнину.

— Все в порядке? Мартин, ты согласен с предварительным планом?

— Это уж твое дело, — ответил Мартин.

За пять дней Джоны разгрузили и подготовили оборудование и начали работу в шахте. Они работали с максимальной производительностью. Пью был зачарован и даже напуган этой производительностью, их уверенностью и независимостью. Они в нем совершенно не нуждались. Клон и в самом деле можно считать первым полностью стабильным, самостоятельным человеческим существом, думал он. Выросши, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и интеллектуальном, и эмоциональном отношении. Что бы ни делал член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных близнецов. Никто больше им не нужен.

Двое из клона остались в куполе, занимаясь вычислениями и всякой писаниной, часто выбираясь на шахту для измерений и испытаний. Это были математики клона, Зайин и Каф. Как объяснила сама Зайин, все десятеро получили достаточную математическую подготовку в возрасте от трех до двадцати одного года. Но с двадцати одного до

двадцати трех они с Кафом специализировались в математике, тогда как другие занимались больше геологией, горным делом, электроникой, роботикой, прикладной атомикой и так далее.

— Мы с Кафом считаем, что мы в клоне ближе всего к настоящему Джону Чоу, — сказала Зайин. — Но, разумеется, в основном он был биоматематиком, а это уже не наша специальность.

— Мы нужнее здесь, — заявил Каф со свойственным ему самодовольством.

Пью с Мартином вскоре научились отличать эту пару от других. Зайин — по целостности характера, Кафа — лишь по обесцвеченному ногтю на безымянном пальце (Каф в шестилетнем возрасте попал себе по пальцу молотком). Без сомнения, существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентичное, а воспитание внесет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы. Жаловаться было не на что: они были милы, но в поведении чувствовалось стандартизированное американское дружелюбие.

— Вы родом из Ирландии, Оуэн?

— В Ирландии никого не осталось, Зайин.

— Но есть много американских ирландцев.

— Вот только ирландских нет. Пара тысяч на весь остров, сколько я знаю. Они не признавали ограничения рождаемости, и у них кончились запасы. После Третьего Голода из всех ирландцев выжили одни священники, а они дают обет безбрачия — почти все.

Зайин и Каф нервно улыбнулись. Они не встречались ни с предрассудками, ни с иронией.

— Тогда кто вы по национальности? — спросил Каф, и Пью ответил:

— Валлиец.

— Вы разговариваете с Мартином на валлийском языке?

«Вот это тебя не касается», — подумал Пью и ответил:

— Нет, это диалект Мартина. Аргентинский. Ведет происхождение от испанского языка.

— Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?

— От кого нам таиться? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке.

— Наш родной язык английский, — сказал Каф безучастно. Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим потому, что сам в нем нуждается.

— Уэллс — необычная страна? — спросила Зайин.

— Уэллс? А, Уэльс. Да, Уэльс необычен. — Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валлийски.

Тем же вечером они разговаривали по-аргентински.

— Они все время ложатся одними и теми же парами или каждую ночь меняются?

Мартин, казалось, удивился, и по лицу его промелькнуло нехарактерное для него стеснительное выражение, промелькнуло и сгнуло — любопытно все же.

— Думаю, они бросают монетку.

— Не шепчись, это звучит непристойно. Я думаю, у них график.

— Расписание?

— Чтобы никому обидно не было.

Мартин подавил вырвавшийся гнусный смешок.

— А нам? Нас-то пропустили.

— Им это в голову не приходит.

— А если я сделаю одной из них предложение?

— Она соберет остальных, и они примут решение комитетом.

— Я им не бычок. — Смуглое лицо Мартина налилось кровью. — Я им не позволю себя оце...

— Уймись, machismo. Ты правда собрался делать предложение?

Мартин мрачно пожал плечами:

— Пусть занимаются своим инцестом.

— Это инцест или мастурбация?

— Да мне плевать, лишь бы не шумели!

Попытки клона вести себя скромно очень скоро прекратились. Им не требовалось защищать собственное «я», а других они не замечали. С каждым днем Пью и Мартина все глубже захлестывал поток их эмоционально-сексуально-телепатического обмена, захлестывал и скатывался, не включая в себя.

— Еще два месяца терпеть, — сказал Мартин как-то вечером.

— Два месяца до чего? — огрызнулся Пью. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы.

— До смены.

Через шестьдесят дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. Пью помнил об этом прекрасно.

— Зачеркиваешь дни в своем календаре? — поддразнил он Мартина.

— Возьми себя в руки, Оуэн.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что сказал.

Они расстались, недовольные друг другом.

Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было два часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но освежен одиночеством. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись под яркой лампой, вычерчивая одну из своих элегантных, мастерски выполненных карт; на этой было изображено отвратительное лицо Либры. Кроме Мартина, дома не было никого, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда клона.

— Где наша Золотая Орда?

Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает. Затем выпрямился и обернулся к солнцу, расползшемуся по восточной равнине, словно громадная красная жаба, и взглянул на часы, которые показывали 18.45.

— Сегодня порядочные землетрясения, — сказал он, вновь наклоняясь над картой. — Чувствовал? Ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф.

На ролике дергалась и дрожала игла. Она никогда не прекращала здесь свой танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано пять крупных землетрясений. Два раза игла самописца вылезала за ленту. Спаренный с сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью: «Эпицентр 61' норд — 42'4" ост».

— На этот раз не в траншее.

— Мне показалось, что оно отличается от обычных. Резче было.

— На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как трясется земля. Удивительно, как ко всему привыкаешь.

— Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед?

— А я думал, ты его уже приготовил.

— Я жду клона.

Чувствуя, что проиграл, Пью достал дюжину обеденных пакетов, сунул два из них в автовар и вытащил вновь:

— Вот и обед.

— Я вот думаю, — сказал Мартин, подходя к столу. — А что, если какой-нибудь клон сам себя склонирует? Нелегально. Сделает тысячу дубликатов, десять тысяч, целую армию. Они смогут преспокойно захватить власть, разве не так?

— Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон? Искусственная плацента и так далее. Это нелегко сделать втайне, без собственной планеты... Когда-то давно, до большого Голода, когда Земля была поделена между национальными правительствами, об этом был разговор: склонируйте своих лучших солдат, создайте целые полки-клоны. Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру.

Они разговаривали дружески, совсем как раньше.

— Странно, — жуя, сказал Мартин. — Они же уехали рано утром.

— Да, все, кроме Кафа и Зайин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. Что случилось?

— Они не приехали на обед.

— Не беспокойся, с голоду не помрут.

— Они уехали в семь утра.

— Ну и что? — И тут Пью понял. Воздушные баллоны были рассчитаны на восемь часов.

— Каф и Зайин взяли с собой запасные баллоны.

— А может, у них есть запас в шахте?

— Был, но они привезли все баллоны сюда на заправку.

Мартин поднялся и показал на поленницу баллонов.

— В каждом скафандре есть сигнал тревоги.

— Сигналы не автоматические.

Пью устал и хотел есть.

— Садись и поешь, старик. Они сами о себе позаботятся.

Мартин сел, но есть не стал.

— Первый толчок был очень сильным. Он меня даже испугал.

Пью помолчал, потом вздохнул и сказал:

— Ну хорошо.

Без всякого энтузиазма они влезли в двухместный флаер, который всегда был в их распоряжении, и направились на север. Долгий рассвет окутал планету ядовито-красным туманом. Низкий свет и тени мешали разглядывать дорогу, создавали миражи — железные стены, сквозь которые свободно проникал флаер, превратили долину за Адской Пастью в низину, заполненную кровавой водой. У входа в туннель скопилось множество машин. Краны, сервороботы, кабели и колеса, автокопатели и подъемники причудливо выступали из тьмы, охваченные красным светом. Мартин соскочил с флаера и бросился в шахту. Тут же выбежал обратно и крикнул Пью:

— Боже, Оуэн, обвал!

Пью вбежал в туннель и метрах в пяти от входа увидел блестящую мокрую черную стену. Вход в туннель, увеличенный взрывами, казался таким же, как раньше, пока Пью не заметил в стенах тысячи тонких трещинок. Пол был мокрым и скользким.

— Они были внутри, — сказал Мартин.

— Они и сейчас там. Но у них наверняка найдутся запасные баллоны.

— Да ты посмотри на базальтовый слой, на крышу, Оуэн! Разве ты не видишь, что натворило землетрясение?

Низкий горб породы, нависавший раньше над входом в шахту, провалился внутрь в огромную котловину. Пью увидел, что все эти породы испещрены множеством тонких трещин. Из некоторых струился белый газ, он скапливался в образовавшейся котловине, и солнечный свет отражался от него, словно это было красноватое мутное озеро.

Мартин последовал за Пью и начал поиски, бродя среди поломанных машин и механизмов: Он обнаружил флаер, который врезался под углом в яму. Во флаере было два пассажира. Одного из них наполовину засыпало пылью, но приборы его скафандра указывали на то, что человек жив. Зайин висела на ремнях сиденья. Ноги ее были перебиты, скафандр разорван, тело замерзло и было твердым как камень. Вот и все, что им удалось найти. Согласно правилам и обычаям, они тут же кремировали мертвую лазерными пистолетами, которые носили с собой. Им никогда раньше не приходилось пускать их в ход. Пью, чувствуя, что его сейчас вырвет, втащил другое тело в двухместный флаер и отправил Мартина с ним в купол. Затем его вырвало, он вычистил скафандр и, обнаружив неповрежденный четырех-

местный флаер, последовал за Марином, трясясь так, словно холод Либры пронизал его тело.

В живых остался Каф. Он был в глубоком шоке. На затылке у него обнаружили шишку, но кости были целы.

Пью принес две порции пищевого концентрата и по стану аквавита.

— Давай, — сказал он.

Марин послушно взял аквавит.

Каф лежал не двигаясь, лицо его в обрамлении черных волос казалось восковым, губы были приоткрыты и из них вырывалось слабое дыхание.

— Это все первый толчок, самый сильный, — сказал Марин. — Он сдвинул горные породы. Должно быть, там находились залежи газа, как в тех формациях в тридцать первом квадрате. Но ведь ничто не указывало...

И тут земля выскользнула у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затрещали, закричали: ха-ха-ха!

— В четырнадцать часов было то же самое, — неуверенно произнес Марин. Но когда тряска затихла и все предметы вокруг прекратили танец, Каф вскочил, в нем всколыхнулась тревога.

Пью перепрыгнул через камень и уложил Кафа на койку. Тот отбросил его. Марин навалился ему на плечи. Каф кричал, боролся, задыхался, его лицо почернело.

Пальцы Пью сами инстинктивно отыскивали нужный шприц; пока Марин держал маску, он вонзил иглу в блуждающий нерв, возвращая Кафа к жизни.

— Вот уж не думал, что ты это умеешь, — сказал Марин, переводя дыхание.

— Мой отец был врачом. Но это средство не всегда помогает, — ответил Пью. — Жаль, что я не допил аквавита. Землетрясение кончилось? Что-то я не пойму.

— Не думай, что только тебя трясет. Толчки продолжают.

— Почему он задыхался?

— Я не знаю, Оуэн. Загляни в книгу.

Каф стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы были все еще темными, Марин с Оуэном наполнили бокалы бодрящим напитком и сели рядом, раскрыв медицинский справочник.

— Под рубриками «шок» или «ушиб» ничего не сказано о цианозе и удушье. Он не мог ничего наглотаться — ведь он в скафандре. Этот справочник нам так же полезен, как

«Бабушкина книга о лекарственных травах»... «Геморроидальные узлы», ха!

Пью бросил книгу на ящик. Она не долетела, потому что либо Пью, либо ящик еще не обрели спокойствия.

— Почему он не подал сигнала?

— Что?

— У тех восьми, которые остались в шахте, не было на это времени. Но ведь он-то и девушка были снаружи. Может, она стояла у входа и ее засыпало камнями. Он же оставался снаружи, возможно в дежурке. Он вбежал в туннель, вытащил ее, привязал к сиденью флаера и поспешил к куполу. И за все это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему?

— Наверно, из-за удара по голове. Сомневаюсь, понял ли он, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигнализировать. Они ждали помощи только друг от друга.

Лицо Мартина было похожим на индейскую маску с глубокими складками у рта и глазами цвета тусклого угля.

— Ты прав. Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение и он оказался снаружи, один...

В ответ Каф закричал.

Он свалился с койки, задыхаясь, в судорогах, размахивая рукой, сшиб Пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза белыми. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы.

— Оуэн, ты в порядке? Что с тобой, Оуэн?

— Я думаю, все в порядке, — сказал Пью. — Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?

Это был обрывок ленты компьютера, измазанный кровью Пью. Мартин отшвырнул его.

— Мне показалось, что это полотенце. Ты разбил щеку об угол ящика.

— У него прошел припадок?

— По-моему, да.

Они смотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между черными приоткрытыми губами.

— Похоже на эпилепсию. Может быть, поврежден мозг?

— Вкатить ему дозу мепробамата?

Пью покачал головой:

— Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Боюсь, что доза будет слишком велика.

— Может, он проспится и все пройдет?

— Я и сам бы поспал. Я на ногах не держусь.

— Тебе нелегко пришлось. Иди, а я пока посижу.

Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился.

— А вдруг мы могли что-то сделать — хоть попытаться.

— Они умерли, — мягко сказал Мартин.

Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, покачиваясь, нашел шприц, трижды пытался ввести его, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце Кафа.

— Искусственное дыхание «изо рта в рот», — приказал он. и Мартин подчинился.

Наконец Каф резко втянул воздух, пульс его стал равномерным, напряженные мышцы расслабились.

— Сколько я спал? — спросил Пью.

— Полчаса.

Они стояли, обливаясь потом. Земля дрожала, дом покачивался и сжимался. Либра снова принялась танцевать свою проклятую польку, свой гусиный танец. Солнце, поднявшись чуть повыше, стало еще больше и краснее: скудная атмосфера была насыщена газом и пылью.

— Что с ним творится, Оуэн?

— Я боюсь, что он умирает вместе с ними.

— С ними... Но они умерли, я же сказал.

— Девять умерло. Они все мертвы, раздавлены или задохнулись. Все они в нем, и он в них во всех. Они умерли. и теперь он умирает их смертями, один за другим.

— Господи, какой ужас! — сказал Мартин.

Следующий приступ был примерно таким же. Пятый — еще хуже. Каф рвался и бился, стараясь сказать что-то, но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее. Но и он сам ослаб. Восьмой приступ начался в 4.30. Пью и Мартин бились до половины шестого, стараясь удержать жизнь в теле, которое без сопротивления уплывало в царство смерти. Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа он не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшись ртом к его рту, вдыхал воздух в его опавшие легкие, пока сам не потерял сознания.

Пью очнулся. Купол был матовым, в нем не горел свет. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул, и его разбудил только голод.

Солнце поднялось высоко над темными равнинами, и планета прекратила свой танец. Каф спал. Пью и Мартин пили крепкий чай и глядели на него с торжеством собственников.

Когда он проснулся, Мартин подошел к нему:

— Как себя чувствуешь, старик?

Ответа не было. Пью занял место Мартина и заглянул в карие тусклые глаза, которые глядели на него, но ничего не видели. Как и Мартин, он сразу отвернулся. Он подогрел пищевой концентрат и принес Кафу.

— Выпей.

Он заметил, как напряглись мышцы на шее Кафа.

— Дайте мне умереть, — сказал юноша.

— Ты не умрешь.

Каф сказал, четко выговаривая слова:

— Я на девять десятых мертв. У меня нет сил, чтобы жить дальше.

Это подействовало на Пью, но он решил сражаться.

— Нет, — сказал он тоном, не терпящим возражений. — Они мертвы. Другие. Твои братья и сестры. Ты — не они. Ты жив. Ты — Джон Чоу. Твоя жизнь в твоих собственных руках.

Юноша лежал неподвижно, глядя в темноту, которой не было.

Мартин и Пью с обоими запасными роботами по очереди отправлялись на экспедиционном трейлере к Адской Пасти, чтобы спасти оборудование, уберечь его от зловещей атмосферы Либры, потому что ценность его выражалась в астрономических цифрах. Дело двигалось медленно, но они не хотели оставлять Кафа одного. Тот, кто оставался в куполе, возился с бумагами, а Каф сидел или лежал, глядя в темноту, и молчал. Дни проходили в тишине.

Затрещало, заговорило радио:

— Корабль на связи. Через пять недель будем на Либре, Оуэн. Точнее, по моим расчетам, через 34 земных дня и 9 часов. Как дела под куполом?

— Плохо, шеф. Исследовательская команда погибла в шахте. Все, кроме одного. Было землетрясение. Шесть дней назад.

Радио щелкнуло, и в него ворвались звуки космоса. Пауза — шестнадцать секунд. Корабль был на орбите вокруг третьей планеты.

— Все, кроме одного, погибли? А вы с Мартином невредимы?

— Мы в порядке, шеф.

Тридцать две секунды молчания.

— «Пассерина» оставила нам еще одну исследовательскую команду. Я могу перевести их на объект Адская Пасть вместо квадрата семь. Мы уладим это, когда прилетим. В любом случае мы сменим тебя и Мартина. Держитесь. Что-нибудь еще?

— Больше ничего.

Тридцать две секунды...

— Тогда до свидания, Оуэн.

Каф слышал этот разговор, и позднее Пью сказал ему:

— Шеф может попросить тебя остаться со следующей исследовательской командой. Ты знаешь здешнюю обстановку.

Зная порядки в глубоком космосе, он хотел предупредить юношу.

Каф не ответил. С тех пор как он сказал: «У меня нет сил, чтобы жить дальше», он не произнес ни слова.

— Оуэн, — сказал Мартин по внутренней связи. — Он сломался. С ума сошел.

— Он неплохо выглядит для человека, который девять раз умер.

— Неплохо? Как выключенный андроид! У него не осталось никаких чувств, кроме ненависти. Загляни ему в глаза.

— Это не ненависть, Мартин. Послушай, это правда, что он в определенном смысле был мертв. Я и представить не могу, что он чувствует. Он нас даже не видит. Ему слишком темно.

— В темноте, бывает, перерезают глотки. Он нас ненавидит, потому что мы — не Алеф, не Йод и не Зайин.

— Может быть. Но я думаю, что он одинок. Он нас не видит и не слышит. Это верно. Раньше ему и не требовалось никого видеть. Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил с самим собой, жизнь его была полна девятью «я». Он не понимает, как ты можешь жить сам по себе. Он должен научиться. Дай ему время.

Мартин покачал головой.

— Сломался, — сказал он. — И когда остаешься с ним один на один, запомни, что он может свернуть тебе шею одной рукой.

— Свернуть он может, — с улыбкой ответил Пью.

Они стояли перед куполом, программируя сервобота для починки сломанного тягача. Пью мог видеть оттуда Кафа под куполом, напоминавшего муху в янтаре.

— Передай мне вкладыш. Почему ты решил, что ему станет лучше?

— Он — сильная личность, можешь в этом не сомневаться.

— Сильная личность? Обломок личности. Девять десятых ее мертвы. Он же сам сказал.

— Но он-то не мертв. Он — живой человек по имени Джон Каф Чоу. Воспитание его было необычным, но в конце концов каждый мальчик расстается со своей семьей. Он тоже это сделает.

— Что-то не похоже.

— Подумай, Мартин. Для чего люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие ее представители. Погляди на меня. Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но я был так нужен Земле в глубоком космосе, что, когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное легкое и ликвидировали близорукость. А если бы на Земле был избыток здоровых молодых парней, неужели бы потребовались услуги близорукого валлийца с одним легким?

— Вот уж не знал, что у тебя искусственное легкое.

— Теперь будешь знать. Не жестяное легкое, а человеческое, часть чужого тела, выращенная искусственно, склонированная, точнее говоря. Так в медицине делают органы-заменители. С помощью клонирования, только частичного, а не полного. Теперь это мое собственное легкое. Но я хотел сказать о другом: сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Ученые пытаются поднять генетический уровень человечества. Поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильный и умный человек. Разве не логично?

Мартин хмыкнул. Сервобот загудел, разогреваясь.

Каф мало ел. Ему трудно было глотать пищу, он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он поте-

рял в весе восемь или десять килограммов. Но недели через три к нему начал возвращаться аппетит, и однажды он занялся разборкой имущества клона, перевернул спальные мешки, сумки, бумаги, которые Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками. Он рассортировал все, сжег кипу бумаг и мелочей, собрал остатки в небольшой пакет и снова погрузился в молчание.

Еще через два дня он заговорил. Пью попытался избавиться от дрожания ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось. Мартин улетел на ракете проверять карту Пампы.

— Черт возьми! — воскликнул Пью, и Каф отозвался голосом, лишенным выражения:

— Хотите, чтобы я это сделал?

Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе.

— Поставь какую-нибудь ленту, — сказал Пью как можно естественней, склонившись над соседним столом.

Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался хорал. Каф лег на койку. Звук поющих хором сотен человеческих голосов заполнил купол. Каф лежал неподвижно. Лицо его не выражало ничего.

В течение следующих дней он выполнил еще несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы с его стороны инициативы, и если его просили о чем-нибудь, он попросту не реагировал на просьбу.

— Он поправляется, — сказал Пью на аргентинском диалекте.

— Нет. Он превращает себя в машину. Делает лишь то, на что запрограммирован, и не реагирует на остальное. Это хуже, чем если бы он совсем ничего не делал. Он уже не человек.

Пью вздохнул.

— Спокойной ночи, — сказал он по-английски. — Спокойной ночи, Каф.

— Спокойной ночи, — ответил Мартин. Каф ничего не ответил.

На следующее утро Каф протянул за завтраком руку над тарелкой Мартина, чтобы достать гренки.

— Почему ты меня не попросил? — вежливо сказал Мартин, подавляя раздражение. — Я бы передал.

— Я и сам могу достать, — ответил Каф бесцветным голосом.

— Да, можешь. Но послушай: передать хлеб, сказать «спокойной ночи» или «привет» — все это не так уж важно, но, если один человек что-то говорит, другой во всех случаях должен ему ответить...

Молодой человек равнодушно глянул в сторону Мартина. Его глаза все еще не замечали людей, с которыми он говорил.

— Почему я должен отвечать?

— Потому что к тебе обращаются.

— А почему?

Мартин пожал плечами и рассмеялся. Пью вскочил и включил камнерез.

Потом он сказал:

— Отстань от него, Мартин.

— В маленьких изолированных коллективах очень важно не забывать о хороших манерах, раз уж работаешь вместе. Его этому учили. Каждый в глубоком космосе знает об этом. Так что же он сознательно отказывается от вежливости?

— Ты говоришь «спокойной ночи» самому себе?

— Ну и что?

— Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя?

— Тогда, клянусь Богом, все эти штуки с клонированием ни к чему, — сказал Мартин. — Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании?

Пью кивнул:

— Может, разумнее разделять клоны и воспитывать их с обычными детьми. Но из них составляются такие великолепные команды!

— Разве? Не уверен. Если бы эта команда состояла из десяти обычных серых инженеров-изыскателей, неужели бы все они оказались в одно время в одном и том же месте? Неужели бы они все погибли? А что, если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились в одном и том же направлении, в глубь шахты, может, чтобы спасти того, кто был дальше всех? Даже Каф, который был снаружи, сразу бросился в шахту... Это гипотеза. Но я полагаю, что из десяти обыкновенных растерявшихся людей хоть один выскочил бы на поверхность.

Проходили дни, красное солнце кралось по темному небу, но Каф все так же не отвечал на вопросы, а Пью с Мартином все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и некоторое время вообще с ним не разговаривал. Пью насвистывал валлийские песенки, и это надоело Мартину. Тогда Пью тоже на него обиделся и какое-то время не разговаривал с ним.

За день до прилета корабля Мартин объявил, что собирается в горы Мерионета.

— А я полагал, что ты наконец поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере, — мрачно заметил Пью.

— Каф тебе поможет. Я хочу еще разок взглянуть на траншею. Желаю успеха, — добавил Мартин на диалекте и ушел, посмеиваясь.

— Что это за язык?

— Аргентинский. Разве я тебе об этом не говорил?

— Не знаю. — Через некоторое время молодой человек добавил: — Боюсь, что я многое забыл.

— Ну и пусть, — мягко сказал Пью, внезапно осознав, как важен этот разговор. — Ты поможешь мне поработать на компьютере, Каф?

Тот кивнул.

У них было много недоделок, и работа отняла весь день. Каф был отличным помощником, быстрым и сообразительным, и чем-то напоминал самого Пью. Правда, его бесцветный голос действовал на нервы, но это можно было пережить — через день прибудет корабль — старая команда, товарищи и друзья.

Днем они сделали перерыв, чтобы выпить чаю, и Каф спросил:

— Что случится, если корабль разобьется?

— Они все погибнут.

— Что случится с вами?

— С нами? Мы передадим по радио SOS и будем жить на половинном рационе, пока не придет спасательный корабль с Третьей базы. На это уйдет четыре с половиной года. Мы наскребем припасов для троих на четыре-пять лет. Туго придется, но перебьемся.

— И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек?

— Конечно.

Каф больше ничего не сказал.

— Хватит рассуждать на веселые темы, — сказал Пью, поднимаясь из-за стола, чтобы вернуться к приборам. Он покачнулся, и стул вырвался из руки. Пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола.

— Ну и ну, — сказал он. — Что это было?

— Землетрясение, — ответил Каф.

Чашки плясали, звонко ударяясь о стол, ворох бумаг взвился над ящиком, крыша купола вздувалась и оседала. Под ногами рождался глухой грохот, наполовину звук, наполовину движение.

Каф сидел неподвижно. Землетрясением не испугаешь человека, погибшего при землетрясении.

Пью побелел, черные жесткие волосы разметались. Он был напуган. Он сказал:

— Мартин в траншее.

— В какой траншее?

— На линии большого сброса. В эпицентре здешних землетрясений. Погляди на сейсмограф.

Пью сражался с заклиненной дверью дрожащего шкафа.

— Что вы делаете?

— Надо спешить ему на помощь.

— Мартин взял ракету. Летать на флаерах во время землетрясения опасно. Они выходят из-под контроля.

— Заткнись ты, ради Бога!

Каф поднялся, и голос его был так же ровен и бесцветен, как и всегда.

— Нет никакой необходимости отправляться сейчас на поиски. Это ведет к неоправданному риску.

— Если услышишь, что он нажал на кнопку тревоги, немедленно сообщи мне по радиации, — сказал Пью, защелкивая шлем и бросаясь к люку.

Когда он выбежал наружу, Либра уже подобрала свои порванные юбки и вся она, до самого красного горизонта, отплясывала танец живота.

Из-под купола Каф видел, как флаер набрал скорость, взвился вверх в красном туманном свете подобно метеору и исчез на северо-востоке. Вершина купола вздрогнула, и земля кашлянула. К югу от купола образовался сифон, выплывший столб черного газа.

Пронзительно зазвенел звонок, и на центральном контрольном пульте вспыхнул красный свет. Под огоньком

была надпись «Скафандр №2», и от руки там было нацарапано «А. Г. М.». Каф не выключил сигнала. Он попытался связаться с Мартином, потом с Пью, но не получил ответа.

Когда толчки прекратились, Каф вернулся к работе и закончил то, что они делали с Пью. Это заняло часа два. Через каждые полчаса он пытался связаться со «скафандром №2» и не получал никакого ответа, затем радировал «скафандру №1» и тоже не получал ответа. Красный огонек потух примерно через час.

Подошло время ужинать. Каф приготовил себе ужин и съел его. Потом лег на койку.

Последние толчки улеглись, и лишь иногда по планете прокатывались отдаленный гул и дрожь. Солнце висело на западе, светло-красное, огромное, похожее на чечевицу, и все никак не садилось. Было тихо.

Каф поднялся и принялся расхаживать по заваленному вещами, неприбранному пустынному дому. Здесь царила тишина. Он подошел к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была чистая электронная музыка, лишенная гармонии и голосов. Музыка кончилась. Тишина осталась.

Форменный комбинезон Пью с оторванной пуговицей висел над кучей образцов породы. Каф смотрел на него.

Тишина продолжалась.

Детский сон: нет никого на свете, кроме меня. Во всем мире ни одного живого существа.

Низко над долиной, к северу от купола, сверкнул метеорит.

Рот Кафа открылся, будто он хотел что-то сказать, но не раздалось ни звука. Он быстро подошел к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумрак.

Звездочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Каф стоял у люка. Скафандр Мартина был покрыт пылью и оттого казался старым, покоробленным, словно поверхность Либры. Пью поддерживал его под руку.

— Он ранен?

Пью снял скафандр, помог Мартину раздеться.

— Перенервничал, — сказал он коротко.

— Обломок скалы упал на ракету, — сказал Мартин, усаживаясь за стол и размахивая руками. — Правда, меня

там не было. Я, понимаешь, приземлился и копался в угольной пыли, когда почувствовал, что все вокруг затряслось. Тогда я выбрался на участок вулканической породы, который присмотрел еще сверху. Так было надежнее и дальше от скал. И тут же увидел, как кусок планеты рухнул на мою ракету. Ну и зрелище! Тогда мне пришло в голову, что запасные баллоны с кислородом остались в ракете, так что я нажал на кнопку тревоги. Но по радио связаться ни с кем не смог — во время землетрясений здесь всегда так бывает. Я не знал, получили ли вы мой сигнал. А вокруг все прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать, чем же я буду дышать через пару часов, как увидел, что старик Оуэн кружит над траншеей в пыли и камнях, словно огромная уродливая летучая мышь...

— Есть будешь? — спросил Пью.

— Конечно, буду. А как ты здесь пережил землетрясение, Каф? Повреждений нет? Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? Что показывал сейсмограф? Мне не повезло, что я оказался в самой серединке. Чувствовал себя там как при пятнадцати баллах по Рихтеру, словно вся планета рассыпалась...

— Садись, — сказал Пью. — И ешь.

После того как Мартин поел, поток слов истощился. Мартин доплелся до койки, все еще стоявшей в том дальнем углу, куда он поставил ее, когда Пью пожаловался на его храп.

— Спокойной ночи, безлегочный валлиец! — крикнул он.

— Спокойной ночи.

Больше Мартин ничего не сказал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть желтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел, погрузившись в свои мысли.

Тишина продолжалась.

— Я кончил расчеты.

Пью благодарно кивнул.

— Я получил сигнал Мартина, но не смог связаться ни с ним, ни с вами.

Сделав над собой усилие, Пью сказал:

— Мне не следовало улетать. У него еще оставалось кислорода на два часа даже с одним баллоном. Когда я помчал-

ся туда, он мог направиться домой. Так бы мы все друг друга растеряли. Но я перепугался.

Тишина вернулась, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина.

— Вы любите Мартина?

Пью зло взглянул на него:

— Мартин мой друг. Мы работали вместе, и он хороший человек. — Он помолчал. Потом добавил через некоторое время: — Да, я его люблю. Почему ты спрашиваешь?

Каф ничего не отвечал, только смотрел на Пью. Выражение его лица изменилось, словно он увидел что-то, чего раньше не замечал. И голос его изменился:

— Как вы можете... как вы...

Но Пью не сумел ему ответить.

— Я не знаю, — сказал он. — В какой-то степени это вопрос привычки. Не знаю. Каждый из нас живет сам по себе. Что же делать, если не держаться за руки в темноте?

Станный, горящий взгляд Кафа потух, словно сожженный собственной силой.

— Устал я, — сказал Пью. — Ну и жутко же было разыскивать его в черной пыли и грязи, когда в земле раскрывались и захлопывались жадные пасти... Я пошел спать. Корабль начнет передачу часов в шесть.

Он встал и потянулся.

— Там клон, — сказал Каф. — Они везут сюда другую исследовательскую команду.

— Ну и что?

— Клон из двенадцати. Я их видел на «Пассерине».

Каф сидел в желтом тусклом свете лампы и, казалось, видел сквозь свет то, чего он так боялся: новый клон, множественное «я», к которому он не принадлежал. Потерянная фигурка из сломанного набора, фрагмент, не привыкший к одиночеству, не знающий даже, как можно отдавать свою любовь другому человеку. Теперь ему предстоит встретиться с абсолютом, с замкнутой системой клона из двенадцати близнецов. Слишком многое требовалось от бедного парня. Проходя мимо, Пью положил руку ему на плечо:

— Шеф не будет требовать, чтобы ты оставался здесь с клоном. Можешь вернуться домой. А может, раз уж ты космический разведчик, отправишься дальше с нами?

Мы найдем тебе дело. Не спеши с ответом. Ты справишься.

Пью замолчал. Он стоял, расстегивая куртку, чуть сгорбившись от усталости. Каф посмотрел на него и увидел то, чего не видел раньше. Увидел его, Оуэна Пью, другого человека, протягивающего ему руку в темноте.

— Спокойной ночи, — пробормотал полусонный Пью, залезая в спальный мешок. И он не услышал, как после паузы Каф ответил ему, протянув руку сквозь темноту.

ОДЕРЖАВШИЙ ПОБЕДУ

Деймон Найт, editor mirabilis, опубликовал этот рассказ в «Омни» под названием «Конец». Не помню, как он меня уговорил, но, кажется, ему показалось, что «Things»** вызывает в памяти тех гадов с лиловыми щупальцами, которые выползают на экраны телевизоров в час ночи. Но я вернула название потому, что, когда вы прочли рассказ, оно расставляет точки над «i». Мы пользуемся вещами, мы владеем ими, и они владеют нами, мы строим из вещей — кирпичей и слов, строим дома, города, дороги. Но дома рушатся, а дороги не доходят до цели. Остается бездна, провал, последний шаг к победе.*

Он стоял на берегу моря и смотрел вдаль, за пенную гряду облаков на горизонте, где поднимались или скорее угадывались неясные очертания Островов. Там, сказал он морю, там — мое королевство. Ну а море сказала ему в ответ те же слова, которые говорит всем людям. По мере того как из-за спины Лифа на море напал вечер, пенные облака на горизонте бледнели, ветер стихал, а где-то далеко засветилась уже то ли звезда, то ли огонек, то ли свет его надежды.

Things

Copyright © 1970 by Ursula K. Le Guin

Одержавший победу

© И. Тогосва, перевод, 1991

* Чудесный редактор (лат.). По аналогии с doctor mirabilis (чудесный доктор) — титулом, присвоенным церковью Роджеру Бэкону.

** По-английски может означать и «Вещи», и «Твари».

Снова был уже поздний вечер, когда он поднимался по улицам родного города к себе домой. Теперь знакомые магазинчики и дома соседей выглядели совсем пустыми, заброшенными; товары и домашняя утварь были вывезены или упакованы: люди готовились к Концу. Большая часть горожан участвовала сейчас в очередной церемонии покаяния в Храме на холме; остальные, из числа «гневных», ушли с Рейджерками в поля. А Лиф пока не решался ни уйти из собственного дома, ни собрать и вынести на двор вещи; его изделия и все в его доме было слишком тяжелым, чтобы с ним так просто можно было расправиться — и слишком прочным, чтобы сломать или сжечь. Только время, долгие века разрушат все это. Когда его изделия складывали в аккуратные штабеля или роняли с высоты, или даже специально швыряли оземь, надеясь разбить, они все равно образовывали нечто, напоминающее или даже очень похожее на обитаемый город. Так что Лиф и не пытался избавиться от них. Его двор по-прежнему был завален множеством кирпичей — тысячами и тысячами прекрасных кирпичей, сделанных его руками. Печь для обжига была холодна, однако полностью готова к работе; бочки с глиной, сухой известью и известковым раствором, тварило, строительный инструмент — лотки, тачки, лопатки, мастерки — все было на месте. Один из парней с улицы Ростовщиков как-то спросил его, усмехаясь:

— Ты никак собираешься кирпичную стену построить да и спрятаться за ней, когда миру Конец придет, а, старик?

Другой его сосед остановился по пути в Храм и некоторое время задумчиво смотрел на бесконечные штабеля, кучи, груды, курганы отлично сформированных, прекрасно обожженных кирпичей золотисто-красного цвета — того, каким бывает солнце на закате, — а потом вздохнул, ибо тяжело даже ему было смотреть на всю эту красоту:

— Вещи, вещи! Освободись от вещей, Лиф, освободись от того груза, что тянет тебя вниз! Пойдем с нами — и мы вместе поднимемся над Концом этого мира!

Лиф взял из кучи один кирпич, аккуратно положил его в ряд уже почти готового штабеля и лишь смущенно улыбнулся в ответ.

Когда все наконец разошлись кто куда, сам он не пошел ни в поля — уничтожать посевы и скот, ни в Храм — молиться; он двинулся вниз, на берег моря, на самый краешек этого гибнущего мира, дальше которого была только вода.

Вот и сегодня, когда он вернулся на заваленный кирпичом двор, то не захотел с безумным хохотом предаваться разрушительному отчаянию, подобно его соседям Рейджерам, не захотел облегчать тоску в слезах вместе с теми, кто молился в Храме на холме. В душе своей он ощущал пустоту; а еще ему очень хотелось есть. Лиф был плотным коренастым мужчиной, прочно стоявшим на земле, так что даже яростный морской ветер здесь, на самом краю земли, оказался не в силах сдвинуть его с места.

— Привет, Лиф! — поздоровалась с ним вдова с улицы Ткачей; она попалась ему навстречу почти у самого дома. — Я видела, как ты поднимаешься от моря, а больше никого не видала с тех пор, как солнце село. Здесь вечерами становится так темно и тихо, гораздо тише... — Она так и не договорила, зато спросила: — Ты ужинал? А то я как раз собираюсь доставать жаркое из духовки; нам с малышом никогда в жизни не справиться с таким кусищем мяса до наступления Конца. Будет очень жаль, если такая прекрасная еда пропадет зря.

— Что ж, спасибо тебе большое за приглашение, — сказал Лиф, снова надел свою куртку, и они стали спускаться по улице Каменщиков на улицу Ткачей. Вокруг было темно, ветер с моря продувал крутые улочки насквозь.

В уютном, освещенном лампой домике вдовы Лиф поиграл с ее сынишкой, последним рожденным в городе ребенком. Пухлый малыш как раз пытался встать. Лиф поставил его на ножки, мальчик засмеялся и упал, а вдова тем временем накрывала на стол: достала хлеб, вытащила из духовки жаркое. Потом они уселись ужинать, и даже малыш старательно трудился с помощью четырех новеньких зубов над горбушкой хлеба.

— Что ж это ты не пошла вместе со всеми на холм или в поля? — спросил Лиф, и вдова ответила так, словно причина у нее была более чем уважительная:

— О, так ведь у меня же маленький!

Лиф осмотрелся: этот уютный домик построил когда-то ее муж, каменщик, один из его заказчиков.

— Хорошо тут у вас, — сказал он. — Я уж, по-моему, с год такого мяса не пробовал.

— Да-да, я понимаю! Домов ведь больше не строят...

— Ни единого! — сказал он. — Ни одной стеночки не поставили, ни одного курятника, даже дырки ни одной не залатали. Ну а твое ремесло как? Ткать-то еще приходится?

— Да; кое-кто непременно хочет встретить Конец во всем новом. Это вот мясо я купила у Рейджера, который всех своих овец разом прирезал. А заплатила ему теми деньгами, что получила за кусок тонкого полотна от княжеской дочери. Ей хочется сшить по случаю Конца новое платье! — Вдова как-то не то насмешливо, не то сочувственно фыркнула и продолжала: — Но теперь не осталось больше ни льна, ни шерсти, так что ни прясть, ни ткать не из чего. Поля сожжены, овец всех прирезали...

— Да, — сказал Лиф, наслаждаясь прекрасно приготовленной бараниной. — Черные времена наступили, хуже не бывает.

— Да и хлеб-то, — продолжала вдова, — теперь откуда возьмешь? А воду? Люди ведь в колодцы отраву подсыпают! Что-то и я заговорила как те, что плачут да каются в Храме, да? Ешь, пожалуйста, еще, Лиф. Молодой барашек — самое вкусное блюдо на свете, так и муж мой всегда говорил, пока осень не наступала. А уж осенью он начинал говорить, что нет ничего вкуснее жареной свининки. Давай-давай! Отрежь еще кусок да побольше!..

В ту ночь Лифу и приснился сон. Обычно он спал как мертвый, без сновидений — так спят во дворе сделанные им кирпичи. Но на этот раз он плыл и плыл по волнам снов, всю ночь напролет плыл к тем желанным Островам, а когда проснулся, неопределенности как не бывало: все его неясные догадки словно высветило солнцем, которое неизбежно затмевает свет звезд. Теперь ему все стало ясно, он знал, что делать дальше. Но как же он во сне перенесся туда, на Острова? Он ведь не летел над водой, не шел по ее поверхности, не плыл в ее глубине подобно рыбе; и тем не менее пересек серо-зеленые, волнующие ветром водяные холмистые просторы и попал на Острова! Он слышал зовущие его голоса, видел огни городов...

Одна мысль занимала его теперь: как человеку перебраться через море? Он вспомнил, как полые стебли травы легко плывут по ручью, и догадался, что можно, наверное, сплести из травы большой матрас, лечь на него и грести руками; однако почти сразу в его пробном изделии стали образовываться дыры, стебли рассыпались, разваливались под напором воды — они были слишком тонкими и непрочными, а связки ивовых прутьев, что горой лежали когда-то во дворе корзинщика, теперь уже были все сожжены. На

тех Островах, во сне, он видел то ли тростник, то ли какую-то еще гигантскую траву высотой метров в пятнадцать, с коричневыми толстыми стеблями — пальцами не обхватишь. Стебли тянулись к солнцу, и на них трепетали бесчисленные продолговатые зеленые листья. Вот это да! Если бы ему такие стебли приспособить, так можно бы и за море поплыть. Только у них-то подобных растений нету. Здесь вообще кроме травы ничего не растет. Хотя в Храме на холме с давних пор хранилась ручка от ножа, сделанная из твердого коричневого материала, который, по слухам, назывался деревом; только вот деревья эти произрастали где-то далеко, в иных землях. Не плыть же в самом деле по бурным морским волнам на ручке от ножа?

Промасленные шкуры тоже неплохо держатся на воде, вот только дубильщики кож уже несколько недель бездельничали — больше шкур для продажи не приносили. Все. С тем, что здесь осталось, ничего не придумаешь. Туманно-белым ветреным утром он перетащил лоток и самую большую тачку на берег моря и опустил их на поверхность тихих вод залива. И они поплыли, по-настоящему поплыли! Правда, чуть-чуть погрузившись в воду. А стоило ему одной рукой слегка нажать на них сверху, как и лоток, и тачка сразу наполнились водой и затонули. Да, это не то, подумал он. Тяжести они не выдержат.

Тогда он снова поднялся на крутой берег, прошел по улицам, у себя во дворе наполнил тачку прекрасно обожженными, но бесполезными теперь кирпичами и покатил ее вниз. В последние годы рождалось совсем мало детей, так что любопытная ребятня вокруг не собиралась. Только двое типов из семейства Рейджеров, все еще не протрезвевшие после вчерашнего чудовищного пира, исподлобья глянули на него, стоя в темном дверном проеме, когда он шел по залитой солнцем улице. Весь тот день он возил на берег кирпичи, готовил раствор, а на следующее утро — хотя сон про Острова так больше и не приснился — начал что-то строить на исхлестанном ветрами и мартовским дождем берегу. Здесь под рукой было достаточно песка для раствора. Он сложил нечто вроде небольшого сосуда, хитро выложенного, с закругленными боками и похожего на рыбу. Кирпичи для этого приходилось класть как бы по спирали, что оказалось довольно сложно. Если на воде может держаться наполненная воздухом тачка, то почему не сможет эта кирпичная рыбка? Она к тому же будет и очень прочной. Но

когда застыл раствор и Лиф, напрягшись, с трудом перевернул свое произведение и столкнул в набегающие волны, кирпичная рыба сразу же стала погружаться все глубже и глубже и зарылась во влажный песок, словно морской моллюск или песчаная муха. Волны заливали ее, отбегали назад и снова набегали, а он все пытался вычерпать из своей «рыбки» воду, пока огромная волна, зеленая с белой шапкой, не налетела на нее и не поволокла за собой. Волна ударила «рыбку» о берег, и на песке в полосе прибоя осталась лишь груда кирпичей. Лиф стоял рядом, мокрый до ушей, вытирая соленую влагу с лица. Ничего там, на западе, нет! Только гигантские морские валы да дождевые облака... Нет! Острова все-таки там! Он точно знал это, он сам видел их — они были покрыты высоченными травами, раз в десять выше человеческого роста. Там золотились поля, по которым волнами проходил морской ветерок; там высились белые прекрасные города, стройные башни смотрели с холмов в морскую даль, слышались голоса пастухов, что пасли стада на сочных пастбищах...

Все-таки мое ремесло — кирпичи делать да строить, а не с морем сражаться, решил Лиф, внимательно обдумав свои действия. Теперь они казались ему довольно-таки глупыми, и он торопливо двинулся по мокрой от дождя боковой тропе наверх, за новой тачкой кирпичей.

Теперь, освободившись от власти дурацкой затеи с плаванием по воде, он заметил наконец, что Кожевенная улица совершенно опустела. Дубильня тоже разворочена и пуста. Лавки кожевников зияют разверстыми черными пастями, а окна жилых комнат над лавками темны и слепы. В конце улицы какой-то старый сапожник жег костер, в котором с ужасающей вонью горела целая куча новых, ненадеванных башмаков. Рядом с сапожником терпеливо ожидал оседланный ослик, прядая ушами и фыркая от противного дыма.

Во дворе Лиф снова наполнил тачку кирпичами. На этот раз, когда он покатил ее вниз на берег, откидываясь назад и с трудом осаживая на крутых улицах свой тяжелый груз, скользя и едва сохраняя равновесие на извилистой тропе, спускающейся к морю, где его чуть не сдуло сильным ветром, за ним увязались двое. Потом подошли еще человека два-три с улицы Ростовщиков, потом — еще несколько с тех улиц, что возле рыночной площади, так что, когда Лиф смог наконец выпрямиться и вздохнуть — у самой кромки

моря, где черная пенящаяся вода лизала его босые грязные ноги и пот высыхал на разгоряченном лице, — на берегу уже собралась небольшая толпа. Люди стояли вдоль глубокой колеи, продавленной колесом его тяжелой тачки. У них был тот же равнодушно-праздный вид, что и у пьяноватых Рейджеров тогда, утром. Так что Лиф и внимания на них обращать не стал, хотя заметил, что на вершине утеса стоит вдова с улицы Ткачей и смотрит вниз с перепутанным лицом.

Он закатил тачку в море и, когда вода достигла его груди, опрокинул кирпичи в воду, а потом легко выбрался на берег с сильной приливной волной, волоча за собой полную пены морской тачку.

Кое-кому из семейства Рейджеров это уже надоело, и он пошел прочь по берегу. Высокий парень с улицы Ростовщиков, окруженный кучкой таких же, как сам он, лентяев, усмехаясь спросил Лифа:

— Что ж ты их прямо с утеса не сбросишь, старина?

— Так они тогда только на песок упадут, — пояснил Лиф.

— А, так ты их утопить хочешь! Прекрасно! Знаешь, кое-кто уж решил, что ты что-то из них строить задумал здесь, на берегу! Так парни из тебя самого раствор сделать были готовы. Пусть-ка эти кирпичи в холодной водичке помокнут! А ты молодец, старина!

И тип с улицы Ростовщиков, ухмыляясь, двинулся со своей компанией дальше, а Лиф пошел по тропе вверх за новой порцией.

— Приходи ужинать, Лиф, — встревоженным голосом сказала ему вдова на вершине утеса; сынишку она крепко прижимала к груди — уж больно ветер был сильным.

— Приду, — сказал он. — И буханку хлеба принесу. Осталась парочка про запас — с тех пор, когда хлебопеки еще здесь были. — И он улыбнулся вдове, но та не ответила на его улыбку. Они пошли рядом, и через некоторое время она спросила:

— Ты выбрасываешь свои кирпичи в море, да, Лиф?

Он громко рассмеялся и ответил:

— Да.

И на лице у нее появилось странное выражение — одновременно печальное и успокоенное. Впрочем, за ужином, в своем уютном светлом домике она казалась спокойной и естественной, как всегда. Они с аппетитом ели сыр с черствым хлебом.

Весь следующий день он продолжал возить кирпичи на берег — тачка за тачкой. Если даже Рейджеры и видели это, то наверняка считали, что и он тоже занят — как и они сами, как и все вокруг — *разрушением*. Прибрежная отмель была довольно пологой, так что до настоящей глубины было еще далеко, и он мог заниматься своим делом почти незаметно для посторонних, так как кирпичи все время находились под водой — он начал укладывать их во время отлива, при низкой воде. Правда, во время прилива работать было очень тяжело, потому что море вокруг кипело, плевалось ему прямо в лицо и волны с грохотом обрушивались ему на голову. Однако он продолжал работать. Ближе к вечеру, в сумерках он принес на берег длинные железные прутья и сделал крепежные скобы, чтобы волны не подмыли и не разрушили его стену, в которой было уже целых два с половиной метра. Даже при отливе никто из «гневных» не смог бы ничего заподозрить. Парочка пожилых горожан, возвращавшихся из Храма с очередного покаяния, встретила его, когда он с лязгом и скрипом тащил пустую тачку по камням мостовой: встречные мрачно улыбнулись Лифу.

— До чего же хорошо освободиться наконец от власти вещей, — сказал один тихонько, а второй согласно кивнул.

На следующий день — хотя снов про Острова так больше и не было — Лиф продолжал строить. Отмель начала резко уходить вглубь, и теперь он делал так: вставал на ту часть стены, которую только что сложил, и рядом с собой вываливал в море из тачки аккуратно уложенные кирпичи; потом вставал на кучу кирпичей и продолжал работу по горло в воде, задыхаясь, выныривая на поверхность и вновь погружаясь, но стараясь класть кирпичи точно в том направлении, которое заранее определил воткнутыми в дно железными прутами. Потом снова шел по серому пляжу, поднимался по тропе, грохотал по затихшим улицам города, направляясь за очередной порцией строительного материала.

Вдова, встретившись с ним у кирпичного двора, сказала вдруг:

— Разреши мне помогать тебе, хотя бы сбрасывать их с утеса: это ведь по крайней мере раза в два сократит тебе время.

— Грузная тачка слишком тяжела для тебя, — отвечал он.

— Ой, да ничего! — воскликнула она.

— Ну ладно, помогай, если хочешь. Но кирпичи-то, они, черти, тяжелые! Так что ты особенно много не нагружай. Я тебе и тачку поменьше дам. А твой мышонок зато сможет тоже прокатиться.

Итак, вдова начала помогать ему. Стояли красивые дни; серебристый туман по утрам застилал берег моря, рассеиваясь к полудню, когда начинало пригревать весеннее солнце. На прибрежных утесах и в расселинах зацвели травы. Больше на берегу не осталось ничего, что могло бы цвести. Теперь дамба уходила в море уже на много метров, и Лифу пришлось выучиться тому, чего раньше не умел никто, разве что рыбы: теперь он мог плавать как на поверхности воды, так и под водой, не касаясь при этом земной тверди.

Он никогда прежде не слыхивал, чтобы человек плавал в море, однако не слишком над этим задумывался — слишком был занят весь день напролет. Вокруг него крутилась морская пена, всплывали пузырьки воздуха, когда он нырял, и капли воды оставались на коже, когда он выныривал, и приползали туманы, и шел апрельский дождь, и влага небесная сливалась со влагой морской. Порой Лиф чувствовал себя почти счастливым в этом мрачноватом зеленом мире, где невозможно было дышать; он упорно укладывавшие под водой странно твердыми и странно легкими кирпичи вдоль намеченного курса, и лишь потребность в воздухе заставляла его выныривать на волнующуюся под сильным ветром поверхность моря, задыхаясь и поднимая тучи брызг.

Он строил с утра до ночи. Ползал по песку, собирая кирпичи, которые его верная помощница сбрасывала ему с обрыва, потом нагружал тачку и тащил ее по дамбе в море: дамба была совершенно прямая, сверху — с полметра воды. Добравшись до ее конца, он сбрасывал кирпичи в море, нырял и начинал кладку, потом возвращался на берег за новой порцией. В город он поднимался только вечером, совершенно измотанный, изъеденный соленой водой до чесотки, голодный как акула. Они делили с малышом и вдовой ту нехитрую трапезу, которую ей удавалось приготовить. Была уже поздняя весна, стояли долгие теплые тихие вечера, но город казался очень мрачным, темным и каким-то застывшим.

Как-то раз, когда он, несмотря на усталость, все же заметил разительные перемены в городе и заговорил об этом, вдова пояснила:

— Ой, так ведь они же давно все уехали? Мне кажется...

— Все? — Он помолчал. — И куда же они уехали?

Она пожала плечами. И подняла на него свои темные глаза. Они сидели за освещенным столом напротив друг друга в полной тишине. Она долго и задумчиво смотрела на него.

— Куда? — переспросила она. — А куда ведет твоя морская дорога, Лиф?

Он вздрогнул и застыл.

— На Острова, — наконец промолвил он, потом с облегчением рассмеялся и тоже посмотрел ей в глаза.

Она даже не улыбнулась. Только сказала:

— А они там есть? Неужели это правда: там есть Острова?

Потом оглянулась и посмотрела на спящего мальчика. В открытую дверь вливалось тепло позднего весеннего вечера, темным покрывалом окутавшего улицы, по которым больше никто не ходил, где никто больше не жил и не зажигал свет в своем доме. Потом женщина наконец снова взглянула на Лифа и сказала:

— Знаешь, Лиф, кирпичей ведь совсем мало осталось. Всего несколько сотен. Тебе, наверное, придется сделать еще. — И она тихонько заплакала.

— О Господи! — сказал Лиф, подумав о том, что его подводная дорога длиной всего метров в сорок, а в этом море от берега до берега... — Так я поплыву туда! Ну успокойся, не плачь, милая. Неужели ты думаешь, что я могу оставить вас с мышонком одних? После того как ты столько кирпичей мне на берег перетаскала? Ведь ты так старалась, что чуть ли не на голову мне их высыпала!.. После того как ты Бог знает из каких загадочных трав и ракушек готовила нам еду? После того как мы с тобой столько раз сидели за этим вот столом, греясь у разожженного тобой огня? Неужели я могу забыть твои ласковые руки, твой смех? И оставлю тебя одну, в слезах? Ну успокойся, не плачь. Дай мне подумать, как нам всем вместе добраться до Островов.

Но он знал, что добраться ему туда не на чем. Во всяком случае, кирпичей ему не хватит. Все, что было в его силах, он уже сделал: сорок метров дамбы, уходящей в море.

— Как ты думаешь, — спросил он после долгого молчания, — она за это время успела уже убрать со стола и перемыть посуду: теперь, когда Рейджеры уехали, вода в их колодце снова, вот уже много дней, была чистой и прозрачной, — как ты думаешь: может быть, это... это... — ему оказалось очень трудно договорить последнее слово, но она стояла рядом, притихнув, и ждала, так что он все-таки выговорил, — это и есть Конец?

И сразу стало очень тихо. И в этой единственной освещенной комнате города, и во всех остальных темных комнатах темных домов, и на всех улицах, и на сожженных полях, и на заброшенных землях — замерло все. Замер, казалось, сам воздух. Все замерло и в Храме на холме, и даже на небесах. Повсюду разлилось молчание, нерушимое, всеобъемлющее, не дающее ответа. И только издали доносились живые звуки моря, и еще — гораздо ближе — слышалось тихое дыхание спящего ребенка.

— Нет, — сказала женщина. И снова села напротив него, положив руки на стол, тонкие, загорелые до черноты руки с нежными, цвета слоновой кости ладонями. — Нет, — повторила она. — Конец и будет всему концом. А это — все еще *ожидание* Конца.

— Тогда почему же здесь остались... только мы одни?

— Ах вот что! — удивилась она. — Но ты же все время был занят своими кирпичами, а я — малышом...

— Завтра мы должны уходить, — сказал он, еще немного помолчав. Она только согласно кивнула.

Они поднялись еще до рассвета. Есть в доме было нечего, так что она сложила в сумку кое-какие детские вещички, а он сунул за ремень нож и мастерок, оба надели теплые плащи — он взял плащ, принадлежавший раньше ее мужу, — и, покинув домик, пошли под холодными еще лучами едва проснувшегося солнца по заброшенным улицам, к морю. Он впереди, она следом; на руках она несла спящего ребенка, прикрыв его полой плаща.

Лиф, не сворачивая ни на северную дорогу, ни на южную, прошел прямо, мимо рыночной площади, к утесу и по каменистой тропе стал спускаться на берег. Она не отставала. Оба молчали. У самой кромки воды он обернулся к ней.

— Я буду поддерживать тебя над водой, пока хватит моих сил, — сказал он.

Она кивнула и тихонько ответила:

— Да, мы пойдем по той дороге, которую ты построил, как можно дальше.

Он взял ее за руку и повел прямо в воду. Вода была холодна. Обжигающе холодна. Холодный свет зари играл на пенистых гребнях волн, с шипением лизавших песок. Когда они ступили на дамбу, то почувствовали, какая она на удивление прочная и ровная, так что мальчик, проснувшийся было, снова уснул у женщины на плече, прикрытый полкой плаща.

Они шли дальше, а волны все яростнее били в стену из кирпича: начинался прилив. Потом высокие валы стали окатывать их с ног до головы; одежда, волосы — все теперь промокло насквозь. Но вот они достигли конца дамбы, которую он столь упорно строил. Совсем недалеко, почти у них за спиной виден был песчаный берег; песок в тени утеса казался черным; над утесом высились молчаливые бледные небеса. Вокруг кипели дикие волны, несли на гребнях клочья пены. А впереди — лишь безбрежное, беспокойное море, немыслимая бездна, темная пропасть.

Огромная приливная волна, стремясь к берегу, ударила их с такой силой, что они едва устояли на ногах; ребенок проснулся, разбуженный грубым шлепком моря, и заплакал. Станный был этот слабый жалобный плач в безбрежности холодного, злобно шипящего моря, которое всегда говорит людям одно и то же.

— Нет, я не могу! — заплакала мать, но только крепче сжала руку мужчины и еще теснее прижалась к нему.

Подняв голову, чтобы сделать последний шаг туда, где не было ни границ, ни пределов, он увидел вдруг на западе, на вздымающихся волнах какой-то темный силуэт, потом — подпрыгивающий в воздухе огонек, мелькание белого паруса, напоминающего грудку ласточки в ярких лучах солнца. Ему показалось, что над морской далью раздаются голоса.

— Что это? — спросил он, но женщина не ответила: склонив голову к ребенку, она пыталась унять его слабый плач, словно бросавший вызов неумолчному шуму моря. Лиф застыл, взглядываясь в безбрежную даль, и снова увидел белизну паруса и танцующий над волнами огонек. Огонек этот, покачиваясь, приближался к ним, навстречу великому свету зари, что разгоралась у них за спиной.

— Подождите! — донеслось до них с той загадочной штуковины, что плыла по серым, с пенными гребнями волнам. — Подождите немного! — Голоса людей сладкой музыкой звучали над морем, и парус уже белым крылом почти склонялся над головой Лифа, и он уже видел лица, видел тянущиеся к нему руки, слышал, как незнакомцы зовут его:

— Идите к нам, на судно, не бойтесь! И мы вместе поплывем на Острова...

— Держись, милая, — нежно сказал он женщине, и они сделали последний шаг.

ВЫМЫШЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Большинство людей «живут в тихом отчаянии», и многие рассказы рождаются им же. Мы были в Англии, шел ноябрь месяц, на улице темно в два часа дня, шел дождь, мой чемодан с рукописями потерялся где-то в Саутхэмптоне, я несколько месяцев ничего не писала, я не могла понять, что говорит зеленщик, а он не понимал меня. Это было отчаяние, только тихое — гордость, вы же понимаете. Так что я села и принялась безнадежно царапать бумагу. Слова, слова, слова. Я дошла до фразы « — Попробуй побыть Амандой, — с кислым видом предложил тот, кто был рядом» и застряла. Год спустя («Бритиш Рэйл», к их чести, вернула мне чемодан, мы вернулись в Орегон, шел дождь) я нашла рукопись, и продолжала писать, и дошла до конца. Я так и не выяснила, как же должен называться рассказ — название, к моему восхищению, подобрала Вирджиния Кидд, мой агент.

Подобные рассказы я называю «фонтанными». Если писатель по какой-то причине не может работать, однажды у него вышибает пробку, и пиво выплескивается из бочонка и заливает весь ковер. Перед вами вот такой фонтан.

-И это Земля? — вскричал он, ибо все вокруг внезапно переменилось.

— Да, это Земля, — сказал тот, кто был с ним рядом, — впрочем, ты никуда с нее и не улетаешь. Вот в Замбии, напри-

мер, люди скатываются в бочонке вниз по склону горы, как бы тренируясь перед космическим полетом. К твоему сведению: Израиль и Египет успели полностью уничтожить растительность в своих пустынях, «Ридерз Дайджест» купил контрольный пакет акций синдиката «Дженерал Миллз», население Земли каждый четверг увеличивается на 30 миллионов, госпожа Жаклин Кеннеди-Онассис в субботу выходит замуж за Мао Цзэдуна, а Россия заразила Марс плесневым грибком.

— Ну что ж, — сказал он, — значит, все осталось по-прежнему.

— Почти, — согласился тот, кто был рядом. — Между прочим, замечательно сказал Жан-Поль Сартр: «Ищи ад — в других».

— Пошел он к черту, этот Жан-Поль Сартр. Я хочу знать, где я.

— В таком случае скажи сперва, кто ты.

— Я — это я.

— Ну и?..

— Мое имя?..

— Да.

Он стоял, чувствуя, как глаза наполняются слезами, а колени беспомощно дрожат и подгибаются от мысли, что он не может вспомнить свое имя. Он никто, нуль, ничтожество, просто некий «икс». Он обладал плотью, но не сущностью.

Двое стояли на опушке леса — он и тот, кто был рядом. Лес казался знакомым, хотя и утратил яркие краски, листва была грязной, а крайние ветви оголились из-за гербицидов. Прямо перед их носом неторопливо уходил в чащу молодой олень, исчезал не спеша, как бы теряя имя: уже не олень, а просто дикое существо с прелестными ласковыми глазами; и существо это в последний раз оглянулось на них из густой тени деревьев, прежде чем окончательно раствориться в чаще.

— Это же Англия! — воскликнул Безымянный, хватаясь за последнюю хрупкую соломинку. Но тот, кто был рядом, откликнулся:

— Англия давным-давно затонула.

— Затонула?

— Да. Или, если тебе так больше нравится, опустилась в морскую пучину. Теперь над морем виднеется только самая

макушка Сноудон* — 14 футов. Называется Новый уэльский риф.

Безымянный задрожал: ему казалось, что он тоже погружается в морскую пучину. Он был раздавлен этим известием.

— О! — простонал он, упав на колени и пытаясь воззвать к чьей-то помощи, но не сумел вспомнить, к чьей помощи вызывают в минуту отчаяния. Кажется, имя того, к кому вызывают, начинается с буквы «Т». Да, он в этом почти уверен... Он заплакал.

Тот, кто был рядом, уселся на траву и, легко коснувшись его плеча, проговорил:

— Ну-ну, успокойся, не принимай это так близко к сердцу.

Его ласковый голос придал Безымянному мужества. Он взял себя в руки, вытер рукавом лицо и посмотрел на того, кто был рядом. Вообще-то, они чем-то походили друг на друга. Еще один такой же, как он сам. Впрочем, тоже безымянный. Есть ли смысл на него смотреть?

Их накрыла тень: Земля продолжала вращаться вокруг своей оси. Тени деревьев вытягивались все дальше к востоку, и лицо того, кто был с ним рядом, потемнело.

— Я думаю, — осторожно проговорил Безымянный, — что нам лучше выйти на солнце. А то эти... вон там... отбрасывают слишком густую тень. — Он указал на предметы, окружавшие их, огромные, почти черные внизу, а наверху — самых различных оттенков зеленого. Он никак не мог вспомнить, как они называются и есть ли у каждого собственное имя. Интересно, а у него самого и у того, кто с ним рядом, общее имя? Или каждый имеет свое? — Мне кажется, от этих... лучше держаться подальше, тогда быстрее все вспомнишь, — сказал он.

— Конечно, — сказал тот, кто был рядом. — Хотя особой разницы, уверен, ты не почувствуешь.

Когда они отошли подальше от леса и устроились на солнышке, он сразу припомнил, что лес называется «лесом», а странные большие предметы — «деревьями». Однако же так и не смог вспомнить, имеет ли каждое дерево свое собственное, отличное от других имя. Если да, то ни одного из этих имен в памяти у него не сохранилось. Мо-

* Гора Сноуди находится в живописном горном районе на севере Уэльса. (Здесь и далее примеч. пер.)

жет быть, он никогда не был лично знаком ни с одним из деревьев?

— Что же мне делать? — спросил он вслух.

— Ну, например, ты можешь назвать себя любым именем, какое тебе по вкусу. А почему, собственно, нет?

— Но я хочу знать свое настоящее имя!

— Часто это нелегкая задача. А пока ты мог бы повесить на грудь табличку с каким-нибудь именем. Это абсолютно нормально и к тому же очень удобно для других: легче познакомиться. Ну, выбирай себе имя — любое! — И тот, кто был рядом, протянул ему синенькую коробочку с надписью «Свободные имена».

— Нет, — гордо заявил Безымянный, — я назовусь только своим настоящим именем.

— Правильно. А нос ты вытереть, случайно, не хочешь? — Тот, кто был рядом, протянул ему бумажную салфетку.

Безымянный взял ее, высморкался и сказал:

— Я назову себя... — И в ужасе застыл.

Тот, кто был рядом, ласково смотрел на него.

— Как я могу назвать себя, если не знаю, кто я такой?

— Как же ты узнаешь, кто ты такой?

— Если бы у меня что-нибудь было... Если бы я что-нибудь сделал...

— И благодаря этому считался существующим?

— Ну конечно!

— Эта идея мне не приходила в голову. Но в таком случае не важно, какое имя у тебя будет, подойдет любое; в конце концов, имеет значение лишь то, что ты делаешь.

Безымянный встал.

— Я буду существовать! — твердо заявил он. — Я назову себя Ральф.

Джинсы плотно обтягивали его сильные ноги, шея была повязана платком, густые выющиеся волосы взмокли на висках от пота. Стоя спиной к Аманде, он постучал по башмаку кнутовищем. Она в своем стареньком сером платье сидела в густой тени пеканового дерева. Он стоял на самом солнцепеке, разгоряченный, сердитый.

— Ну и дура же ты, — сказал он.

— Почему это, мистер Ральф? — Веселый певучий голос, южный выговор. — Я всего лишь чуточку норов показываю.

— Ты ведь должна, верно, понимать, что мне, янки, принадлежит вся земля в этой округе! Да и вся эта страна при-

надлежит мне! И ферма твоя по сравнению с моей — все равно что грядка с арахисом на огороде у кого-нибудь из моих черномазых!

— Ничего подобного! Не хотите ли присесть в теньке, мистер Ральф? Уж больно там распалились, на солнышке-то.

— Что ты себе позволяешь! — прошипел он, оборачиваясь. И увидел ее — белокожую, как лилия, в стареньком платье; ее кожа будто светилась в тени огромных старых деревьев. Белая лилия! И вдруг он упал к ногам Аманды, страстно сжимая ее в могучих объятиях. Аманда затрепетала.

— Ах, мистер Ральф, — слабо вскрикнула она, — что все это значит?

— Я мужчина, Аманда, ты женщина. Мне вовсе не нужна твоя земля. Мне всегда была нужна только ты, моя белая лилия, моя маленькая бунтовщица! Ты нужна мне, Аманда! Скажи, что станешь моей! Выйдешь за меня?

— Выйду, — едва слышно выдохнула она, склоняясь к нему, хрупкая, как белый цветок. И губы их слились в долгом, страстном поцелуе. Но и это, похоже, совсем не помогло.

Может быть, нужно, чтобы прошло лет двадцать—тридцать?

— Ах ты, сука, — пробормотал он, оборачиваясь. И увидел ее: абсолютно обнаженная, она лежала в тени pekanovого дерева, спиной привалившись к стволу и чуть приподняв колени. Он бросился к ней, на ходу расстегивая джинсы. Их тела слились на жесткой траве, где кишели сороконожки. Он фыркал, как дикий жеребец, она стонала и кричала в экстазе. И все, конец!

А теперь что?

Безымянный стоял близ опушки леса и безутешно смотрел на того, кто был рядом.

— Мужчина ли я? — допытывался он. — А ты, вероятно, женщина?

— Меня не спрашивай, — угрюмо отрезал тот.

— По-моему, это самая важная вещь. Первоочередная!

— Не так уж, черт побери, это важно.

— Ты хочешь сказать, что не имеет значения — мужчина я или женщина?

— Ну конечно, имеет. И для меня тоже. Но куда важнее, какой именно мужчина и какая женщина. А может — ни то ни другое? Что, если бы Аманда была, например, чернокожей?

— Но пол-то?

— О, черт! — воскликнул, теряя терпение, тот, кто был рядом. — Так ведь и у червей, и у всяких там ленивцев тоже есть пол! Даже Жан-Поль Сартр обладал половыми признаками — и что это доказывает?

— Как? Пол — это нечто реальное. Я хочу сказать, по-настоящему реальное: он означает и обладание, и действие, причем в самой активной форме. Когда мужчина обладает женщиной, он тем самым доказывает, что действительно существует!

— Понятно. А что, если ты женщина?

— Я был Ральфом.

— Попробуй побыть Амандой, — с кислым видом предложил тот, кто был рядом.

Повисло молчание. Тени все больше вытягивались к востоку, ползли от леса по траве. Маленькие птички кричали: «Чик-чик-чирик». Безымянный сидел, нахохлившись и обхватив руками колени. Тот, кто был рядом, вытянулся на животе и что-то рисовал сосновой иглой на песке. Выглядел он печальным. Тень уже снова добралась до него.

— Прости, — сказал Безымянный.

— Ничего, — откликнулся тот, кто был рядом. — В конце концов, это было не по-настоящему.

— Послушай! — Безымянный вдруг вскочил. — Я понял, что произошло! Вроде путешествия — сел и едешь неизвестно куда. В этом-то все и дело.

Верно. Он путешествовал. Плыл на маленьком каноэ. По длинной, узкой, темной, блестящей полосе воды. Крыша над головой и стены вокруг были из бетона. Его окружала почти полная темнота. Было ли то озеро, ручей или просто канализационная труба? Но плыл он явно против течения, куда-то вверх. Грести было нелегко, и тем не менее каноэ продолжало медленно и беззвучно подниматься вверх по реке, а темная сверкающая вода уплывала назад, за корму. Он греб совершенно бесшумно, весло входило в воду, как нож в масло. Его большая черная с перламутром электрогитара лежала на переднем сиденье. Он знал, что у него за спиной есть еще кто-то, но ничего не говорил. Ему не было позволено ни говорить, ни даже смотреть по сторонам, так что, если они утратят то, что называется «бдительностью», — не его вина. Он, конечно же, не мог бросить весла: течение тут же завладело бы лодкой и просто перевернуло ее. И где он тогда окажется? Он закрыл глаза и

продолжал грести — взмах и такой же бесшумный гребок. У него за спиной не раздавалось ни звука. Вода тоже молчала. Молчал и бетон. Он не был уверен, действительно ли движется вперед или просто висит в неподвижности, а черная вода упрямо и неудержимо бежит под ним. Он, наверное, никогда уже не увидит света дня... Наружу, наружу!

Тот, кто был рядом, похоже, даже и не заметил, что Безымянный где-то путешествовал, и по-прежнему лежал, рисуя на песке сосновой иглой, а потом вдруг сказал:

— Ну как, что-нибудь вспомнил?

Безымянный покопался в памяти, надеясь, что путешествие пошло ему на пользу. Но теперь он помнил еще меньше, чем прежде. Кладовая была пуста. На полках и в ящиках полно всякого хлама: старые игрушки, детские колыбельные, старинные предания, бабушкины сказки — но абсолютно ничего пригодного для взрослого человека, ни капли собственности, никакого обладания хоть чем-то, ни крошки успеха. Он методично рылся в своей памяти, обследуя уголок за уголком, — с таким упорством ищет пищу изголодавшаяся крыса. В конце концов он неуверенно произнес:

— Я действительно помню Англию...

— Да неужели? А может, Омаха*?

— Но я помню, как был в Англии!

— Правда? — Тот, кто был рядом, сел, рассыпав по песку сосновые иглы. — Значит, ты действительно помнишь, что существовал! Как жаль, что Англия затонула!

Они снова помолчали.

— Я потерял все.

В глазах того, кто был рядом, стояла темнота; тьма окутала все Восточное полушарие Земли, катившейся по крутому склону ночи.

— Я — никто.

— Ну, по крайней мере тебе известно, что ты человек, — сказал тот, кто был рядом.

— И что мне с того? У меня нет ни имени, ни пола — ничего. С тем же успехом я мог бы оказаться червем или ленивцем!

— Ты с тем же успехом мог бы оказаться Жаном-Полем Сартром.

* Омаха — город в Восточной Небраске на р. Миссури

— Я? — возмутился Безымянный. И взбешенный столь тошнотворным предположением, резко вскочил на ноги. — Я, разумеется, никакой не Жан-Поль Сартр! Я — это я. — И тут же обнаружил, что так оно и есть; его звали Льюис Д. Чарльз, и он знал, что человек с этим именем — он сам. Что это его собственное имя. Что стоит он на земле, и вокруг него лес, деревья со своими корнями и ветвями.

Но тот, кто был рядом, исчез.

Льюис Д. Чарльз посмотрел в рыжие глаза запада, потом в черные глаза востока. И крикнул что было сил:

— Вернись! Пожалуйста, вернись!

И, пошатываясь, побрел к лесу. Он отыскивал неправильное имя. Резко повернувшись и совершенно утратив инстинкт самосохранения, он бросился прямо в лесную чащу, не разбирая тропинок. Он как бы заставил себя самого сойти с намеченного пути, чтобы, если получится, отыскать того человека, от которого только что отвернулся.

Оказавшись среди деревьев, он тут же снова позабыл обретенное имя. Забыл, что, собственно, ищет здесь. Интересно, что же это он потерял? Все глубже и глубже уходил он в мир теней и густой листвы, на восток, в те ночные леса, где жгучим страхом горели безымянные тигры*.

* Имеется в виду знаменитое стихотворение Уильяма Блейка «Тигр»:

Тигр, тигр, жгучий страх,
Ты горишь в ночных лесах...
(перевод К. Бальмонта)

Тигр, по мнению многочисленных исследователей, символизирует ярость разрушения и очистительную энергию, необходимую, чтобы сокрушить заблуждения и зло мира и проложить путь к свету через темные заросли людских самообманов и жестокостей, составляющих сущность современного бытия. Ночные леса, чащаба у Данте и Мильтона олицетворяют земное бытие.

ОБШИРНЕЙ И МЕДЛИТЕЛЬНОЙ ИМПЕРИЙ...

И вновь деревья.

Помнится, что, перед тем как впервые опубликовать этот рассказ в «New Dimensions 1», Роберт Силверберг попросил меня сменить его название. Я и сама видела, что большинство читателей уже к середине рассказа сочтут его слишком уж буквальным, но оно показалось мне настолько красивым и было настолько подходящим, что мистер Силверберг сдался на мои уговоры. Это цитата из «К застенчивой возлюбленной» Марвелла:

«Раскинет крону пышную любовь

Обширней и медлительней империй...»

Как и «Девять жизней», этот рассказ не относится по жанру к психомифам; это обычная «сайнс фикшн», где действие развивается скорее по психологической линии, чем по линии действия-приключения. И хотя физические действия так или иначе рождают эмоции и являются толчком для психической деятельности, мне уже поднадоело работать в приключенческом жанре: часто создается впечатление, что, чем больше там активных действий, тем меньше происходит на деле. Меня же всегда в первую очередь привлекали процессы, протекающие во внутреннем мире персонажей. У каждого из нас в подсознании таятся лесные дебри — бескрайние и неисследованные. И каждый из нас каждую ночь до утра блуждает в них в одиночку.

Vaster than Empires and More Slow
Copyright © 1971 by Ursula K. Le Guin
Обширней и медлительней империй...
© Издательство «Полярис», перевод, 1997

В пышной листве моих деревьев сокрыт маленький жест уважения. Главный герой «Творца снов» Роджера Желязны (одного из самых лучших фантастических романов, какие я читала) носит имя Чарльз Рендер. Синдром, о котором говорится в этом рассказе, я назвала именно в его честь.

В самые первые десятилетия деятельности Лиги Земля еще посылала свои космические корабли в бесконечно долгие экспедиции за границы мира, уже заселенного экспедициями Хайна и исследованного до мелочей. Они искали истинно неизведанные, новые земли. Все известные миры объединялись вокруг Хайна, а землян (самых, кстати, открытых и спасенных хайнцами) это не устраивало: им хотелось вырваться из семьи и жить особняком. Им хотелось открыть нечто совершенно новое. Хайнцы, как терпеливые, чадолюбивые родители, поощряли эти поиски и даже субсидировали корабли и экипажи (как, впрочем, и для некоторых других миров, входящих в Лигу).

Всех добровольцев, из которых формировались экипажи «Запредельного Поиска», объединяло одно: нормальными их назвать было никак нельзя.

Ну как можно назвать нормальным человека, отправляющегося за тридевять земель добывать информацию, которая попадет на Землю лишь пять—десять веков спустя? Ведь в те времена еще не пользовались ансиблем, и потому из-за космической интерференции мгновенная связь была возможна лишь в пределах ста двадцати световых лет; так что исследователи запредельного были полностью изолированы. К тому же они понятия не имели, что могут застать на Земле, когда вернутся (если, конечно, вернутся). Да ни один человек, проживший хоть какое-то время в Лиге, будь он в здравом уме, ни за какие блага мира не согласился бы добровольно отправиться на несколько веков в кругосветное путешествие по Вселенной. Вот поэтому в поисковики шли люди, стремящиеся уйти от действительности, неудачники и отщепенцы. И все поголовно они имели психические отклонения.

И вот десять таких ненормальных однажды поднялись на борт челнока, отправляющегося из космопорта в Смеминге.

Все три дня лету к своему будущему кораблю, «Гаму», они потратили на довольно неловкие попытки завязать знакомство и сблизиться. («Гам» — слово из таукитянского — пренебрежительное обращение к детям или животным; что-то вроде «щенок».) В команде было два китянина, два хайнца, одна белденианка и пятеро землян. Корабль был построен на тау Кита, но арендован земным правительством.

На четвертые сутки челнок пришвартовался к «Гаму», и члены его разношерстного экипажа, стремясь попасть на борт, начали один за другим, извиваясь, протискиваться в узкий переходник — насмерть перепуганные сперматозоиды, возмечтавшие оплодотворить Вселенную. Челнок отчалил, и навигатор вывел «Гама» на курс. Несколько часов его еще можно было разглядеть из Смеинга, а потом корабль, отойдя на расстояние нескольких сотен миллионов миль, прощально померчал и... внезапно исчез.

Когда десять часов двадцать девять минут, или же двести пятьдесят шесть лет, спустя «Гам» вновь появился в космическом пространстве, он теоретически должен был оказаться в районе звезды КГ-Е-96651. Там он и оказался, что подтверждала ярко сверкавшая по курсу золотая точка. Где-то внутри сферы радиусом в четыреста миллионов километров должна была находиться и зеленоватая планетка, определенная в китянской лоции как «Мир-4470». Теперь оставалось ее только найти. Это было так же просто, как перевернуть четырестамиллионкилометровый стог сена в поисках зеленоватой иголки. Задача осложнялась тем, что двигаться в пределах звездной системы на скорости даже приближенной к световой было чревато взрывом как КГ-Е-96651, так и Мира-4470, не говоря уже о самом «Гаме». Поэтому корабль был вынужден ползти на ракетном приводе, делая не больше ста тысяч миль в час. Но математик-навигатор Аснанифоил был твердо уверен в том, что знает, где должна быть искомая «иголка», и обещал добратся до нее в течение десяти земных суток. Тем временем члены команды все еще притирались друг к другу.

— Видеть его больше не могу! — взорвался, брызгая слюной, Порлок — специалист по точным наукам (химия плюс физика, астрономия, геология и т. д.). — Этот тип просто чокнутый. Не представляю себе другой причины, по которой он оказался в Поиске, кроме той, что наши боль-

шие начальники решили провести над нами эксперимент по выживанию. Как на морских свинках.

— В хайнских лабораториях мы обычно предпочитали хомяков, — мягко заметил хайнец Маннон (гуманитарные науки: психология плюс психиатрия, антропология, экология и т. д.). — Я имею в виду — вместо морских свинок. Но, конечно, мистер Осден — явление исключительное. Это первый случай полного излечения от синдрома Рендера — одного из подтипов инфантильного аутизма. До сих пор считалось, что этот психоз неизлечим. Великий земной аналитик Хаммергельд предположил, что в данном случае причиной аутизма является сверхразвитая способность к эмпатии. На основе этой теории он разработал специальный курс процедур, и первым пациентом, прошедшим этот курс, был мистер Осден. Он жил у доктора Хаммергельда до восемнадцати лет, и терапия, как видите, оказалась успешной.

— Успешной?!

— Естественно. Он полностью избавился от аутизма.

— Но он же абсолютно невыносим!

— Видишь ли, — бросив кроткий взгляд на пузырьки слюны в усах Порлока, продолжал Маннон, — когда встречаются два незнакомца — ну, к примеру, ты и мистер Осден, — тут же неосознанно вступает в действие твоя защитная реакция; она воздействует на твое поведение, манеры, делает их подспудно агрессивными, а ты настолько привыкаешь к подобной системе отношений, что начинаешь считать ее совершенно естественной. Мистер Осден, будучи острым эмпатом, прекрасно все это ощущает. Его собственные эмоции мешаются с твоими, причем до такой степени, что он сам уже не может различить, что лично его, а что — только твое. Подчеркиваю, что твоя реакция на незнакомого человека абсолютно нормальна, и вполне естественно, что тебе может в нем что-то не понравиться — ну там, манера одеваться, форма носа или мало ли еще что... Но дело в том, что Осден-то все это чувствует, и, поскольку его аутизм в процессе терапии был полностью снят, ему ничего не остается, как прибегнуть к крайней форме защитной реакции — агрессии, которую, между прочим, спроецировал на него (пусть и непреднамеренно) именно ты.

Маннон, похоже, завелся надолго, и Порлок его перебил:

— Что бы ты там ни говорил, ничто не дает человеку права быть сволочью.

— Так он что, может подслушивать наши чувства? — всполошился второй хайнец в команде — биолог Харфекс.

— Это действительно сходно со слухом, — вступила в разговор, не отрывая глаз от кисточки, при помощи которой она тщательно покрывала ногти флюоресцентным лаком, Оллероо — ассистент специалиста по точным наукам. — На ушах-то у нас нет век, и мы не можем слушать или нет по собственному желанию. Вот так же и с эмпатией — ее не отключишь одним волевым импульсом. Он вынужден воспринимать наши эмоции, хочет сам того или нет.

— А что, он и наши *мысли* читать может? — испуганно оглядывая остальных, прерывающимся голосом спросил инженер Эсквана.

— Нет, — фыркнул Порлок. — Эмпатия и телепатия — не одно и то же! Телепатия — миф. Никто на это не способен.

— Верно, — с вкрадчивой улыбкой поддакнул Маннон. — Вот только незадолго до отлета с Хайна мне на глаза попался очень интересный рапорт с одного из недавно вновь открытых миров: этнолог Роканнон сообщал в нем, что явился свидетелем применения представителями местной мутировавшей гуманоидной расы определенной техники телепатии. Что самое интересное, так это то, что подобной технике можно научиться. Я, правда, читал не весь рапорт, а его краткий обзор в одном из журналов, однако...

И Маннон снова завелся как минимум на полчаса. Но остальные уже успели заметить, что, пока он токует, на его фоне прекрасно можно говорить о своих делах: он словно и не замечал ничего.

— Так почему же он все-таки нас так ненавидит? — спросил Эсквана.

— Да разве может хоть кто-нибудь тебя ненавидеть, душка Андер? — хихикнула Оллероо, мазнув ноготь его большого пальца светящимся ядовито-розовым лаком.

Инженер вспыхнул и расплылся в смущенной улыбке.

— Но он именно так себя и ведет, словно всех нас ненавидит, — вернулась к теме координатор Хайто — хрупкая женщина с ярко выраженным азиатским типом лица и совершенно не соответствующим подобной внешности резким, низким и сиплым голосом молодой лягушки-быка. — Ну хорошо, допустим, он страдает от нашей неосознанной

враждебности, но тогда зачем ему усугублять ее своими постоянными нападками на нас? Прости, Маннон, но я невысокого мнения о терапии доктора Хаммергельда; аутизм все же много приемлемее в общении, чем...

Но тут она прикусила язык: в дверях кают-компаний стоял Осден.

Он казался не человеком, а наглядным пособием по анатомии. Его кожа была неестественно белой и настолько тонкой, что все кровеносные сосуды просвечивали сквозь нее: словно карта на ватмане, исчерченная голубыми и красными дорогами. Его адамово яблоко, мускулатура вокруг рта, кости и связки выступали буграми настолько, что каждая деталь воспринималась в отдельности, будто специально подготовленный муляж для изучения строения человеческого тела. Волосы у него были буро-рыжими, цвета запекшейся крови, а брови и ресницы можно было разглядеть только при самом ярком освещении. Он не был настоящим альбиносом, и поэтому его глубоко запавшие глаза не были красными, но ни серыми, ни голубыми назвать их тоже было нельзя. Они вообще не имели цвета — их взгляд был прозрачен и чист, словно ледяная вода в проруби. Да и все лицо было лишено какого бы то ни было выражения — как анатомический рисунок или лик манекена.

— Согласен, — фальцетом заявил он. — Любой возврат к аутизму был бы для меня приемлемее, нежели постоянная попытка задышаться в вонь ваших дешевых и вторичных чувствешек. Почему от тебя так несет ненавистью, а, Порлок? Что, не можешь выносить самого моего вида? Так поди займись онанизмом, как прошлой ночью, — это хоть как-то улучшит исходящие от тебя вибрации... Кто, черт побери, переложил мои записи? Не смейте трогать моих вещей! Никто из вас! Я этого не потерплю!

— Осден, — спокойно прогудел своим густым низким басом Аснанифоил, — ну почему ты такая сволочь?

Андер Эсквана в ужасе закрыл лицо руками, словно закрываясь от этой кошмарной сцены. Оллероо, напротив, уставилась на Осдена равнодушным взглядом — мол, она здесь так, сторонний наблюдатель.

— Что вам не по вкусу? — проговорил Осден. Он даже не смотрел в сторону Аснанифоила и вообще старался, насколько ему это позволяло тесное помещение, держаться на максимальном расстоянии от остальных. — На себя посмотрите: с чего мне вдруг ради вас менять свой характер?

Харфекс, человек сдержанный и осторожный, ответил:

— Не вдруг. Нам предстоит несколько лет провести в обществе только друг друга. У нас было бы намного меньше проблем, если бы...

— До вас что, до сих пор не дошло, что вы мне все до лампочки? — бросил Осден, сгреб свои пленки с записями и вышел.

Эсквана вдруг резко обмяк в кресле и мгновенно заснул. Аснанифоил начал чертить в воздухе волнистые линии, беззвучно бормоча «ритуальную арифметику».

— Его присутствие на борту нельзя объяснить иначе как диверсией нашего большого начальства. Теперь я в этом убедился окончательно, — горячо зашептал на ухо координатору Харфекс, беспокойно оглядывая через ее плечо остальных. — Они заранее запланировали провал нашей миссии.

Порлок уставился мокрыми от слез глазами на пуговицу от ширинки, которую он бессмысленно вертел в руках.

— Я же говорила вам, что все они тронутые, а вы посчитали это преувеличением.

Но в то же самое время их никак нельзя было назвать полностью сумасшедшими и невменяемыми. «Запредельный Поиск» старался все-таки подбирать в свои команды людей достаточно образованных, культурных и умеющих вести себя в обществе. Им ведь все же предстояло провести очень много времени в тесноте корабля, и потому требовались люди, способные терпимо, с пониманием, отнестись к депрессиям, маниям, фобиям и капризам других, чтобы в коллективе поддерживались близкие к нормальным отношения. По меньшей мере, большую часть пути. Осдена, однако, трудно было назвать интеллигентным человеком, он не имел специального образования — так, нахватался без всякой системы знаний в различных областях наук, — а уживаться с другими не только не умел, но, похоже, и не желал учиться. Он попал в экспедицию только потому, что обладал уникальным даром — способностью к сверхэмпатии, или, говоря проще, он был природным биоэмпатическим реципиентом широкого профиля. Его талант не был избирательным: Осден воспринимал волны эмоциональных вибраций от всего, что вообще способно чувствовать. Он мог разделить и вожделение белой крысы, и боль раздавливаемого таракана, и фототропию мотылька. Вот большое начальство и решило, что в чуждых мирах будет очень удоб-

но иметь под рукой человека, способного воспринять, кто и что здесь чувствует вообще и по отношению к экспедиции в частности. Осдена даже удостоили особого звания — сенсор.

— Что такое эмоция, Осден? — как-то спросила его Томико Хайто, все еще пытаюсь завязать с ним дружеские отношения. — Ну, что ты там можешь воспринять своей сверхэмпатией?

— Омерзение, — ответил он в своей обычной раздражающей манере слишком тонким для нормального мужчины голосом. — Психические испражнения представителей животного царства. Я уже по уши провалился в ваше дерьмо.

— Я только попыталась, — как можно спокойнее заметила она, — что-то узнать о тебе. Ну, какие-нибудь факты...

— Какие факты? Ты пыталась залезть в меня. Чуток побаиваясь, чуток любопытствуя, а в остальном — с преогромным отвращением. Навроде того, как распотрошить дохлого пса, чтоб понаблюдать, как в нем копошатся глисты. Так вот, заруби себе на носу, что мне это непотребно. Я желаю быть один! — Его кожа пошла красно-фиолетовыми пятнами, а голос взлетел до визга. — Катайся в своем дерьме одна, ты, желтая ведьма!

— Да успокойся же, — сказала она, еле сдерживаясь, и почти сбежала в свою каюту.

Да, он, конечно же, был прав, описав мотивы ее поведения с такой точностью; да, ее вопросы были только преамбулой к дальнейшему разговору, слабой попыткой заставить его заинтересоваться. Ну и что в этом плохого? Разве подобная попытка является актом неуважения к кому бы то ни было? Правда, в тот момент когда она задавала их, в ней действительно было маловато искреннего интереса; она скорее жалела его: бедный, озлобленный, высокомерный ублюдок, мистер Освежеванный, как прозвала его Оллероо... Интересно, какого же отношения он к себе ждет, продолжая вести себя подобным образом? Любви, что ли?

— Я думаю, он просто не в состоянии перенести, когда кто-то его жалеет, — предположила Оллероо, не отрывая глаз от полировки ногтей.

— Но он же тогда не способен ни с кем установить нормальные человеческие отношения. Все, чего добился доктор Хаммергельд, — так это развернул его аутизм внутрь его...

— Бедный мудака, — вздохнула Оллероо. — Томика, а ты не будешь против, если Харфекс забежит сегодня вечером на пару минут?

— А ты что, не можешь пойти к нему в каюту? Мне уже обрыдло торчать в кают-компании, любуясь этой ошкуренной горькой редькой.

— Вот. Ты же ненавидишь его. То есть я хочу напомнить, что он это прекрасно чувствует. И еще хочу напомнить, что прошлую ночь я именно провела в каюте Харфекса. Но если это станет системой, то Аснанифоил, с которым он живет, тоже разохотится. Так что мне было бы много удобнее здесь.

— Ну так обслужи обоих, — отрезала Томика с грубостью, присущей только оскорбленной добродетели. Она происходила из восточноазиатского региона Земли, где царили строгие пуританские отношения. И до сих пор еще была девственницей.

— Но мне больше одного за ночь не надо, — с незамутненным спокойствием объяснила Оллероо. На Белдене, Планете Садов, откуда она была родом, ни целомудренности, ни колеса так и не изобрели.

— Ну тогда попробуй, каков в постели Осден, — огрызнулась Томика. Причины ее резких перепадов настроения для нее самой нередко оставались загадкой, но в данный момент причина была очевидна: взрыв раздражения был спровоцирован ее комплексом неполноценности и чувством вины.

Маленькая белденианка вскинула на нее распахнутые глаза и застыла с кисточкой для лака в руке:

— Томика, как ты можешь говорить такие непристойности?

— А что такого?

— Это было бы так гадко! Осден же мне ни капельки не нравится!

— Вот уж не думала, что для тебя это имеет значение, — равнодушно бросила Томика, забрала свои записи и, выходя из каюты, добавила: — Надеюсь, вы с Харфексом, или с кем там еще, успеете закончить до последнего звонка. Я слишком устала сегодня.

Оллероо забилась в рыданиях, роняя слезы на тщательно вызолоченные соски. Плакала она по любому поводу. А Томика плакала в последний раз, когда ей было десять лет от роду.

Маловато радости было на борту этого корабля, однако, когда Аснанифоил с помощью компьютеров вышел к Миру-4470, ее немножко прибавилось. Планета лежала прямо по курсу, сверкая, словно темно-зеленый драгоценный камень на дне гравитационного колодца. И по мере того как нефритовый диск рос на экранах, в команде росли взаимопонимание и терпимость. Даже эгоизм и грубость Осдена теперь работали на то, чтобы сплотить остальных.

— А может, он был введен в экипаж в качестве мальчика для битья. Или, как говорят на Земле, козла отпущения, — высказал предположение Маннон. — Может, и в самом деле его противостояние нам всем приводит, в общем и целом, к положительным результатам...

И ни один из них не посмел его перебить — настолько сильным в тот момент было желание поддерживать добрые отношения.

Корабль вышел на орбиту вокруг планеты. На ее ночной стороне не светилось ни одного огонька, а на дневной не было видно ни одной дороги, ни единой постройки.

— Людей здесь нет, — прошептал Харфекс.

— Конечно, нет, — пробурчал Осден из-под напыленного на голову пластикового пакета, который, по его словам, предохранял его от вибраций находившихся рядом с ним остальных членов команды. Для наблюдений ему был выделен персональный экран. — Мы находимся в двухстах световых годах от границ Хайнской экспансии, и снаружи вы не найдете ни одного человека. Причем нигде. Неужели вы считаете природу такой душой, чтобы она дважды повторяла свои ошибки?

Никто даже не обернулся в его сторону; все взгляды были прикованы к экранам, на которых плыл нефритовый диск. Там была жизнь. Но там не было человека. А все они среди людей всегда чувствовали себя белыми воронами, и потому эта картина не рождала в их сердцах чувства одиночества и заброшенности, а наоборот — вселяла покой. Даже Осден лишился своей обычной непроницаемой маски: он слегка нахмурился.

Приводнение на океанскую гладь, взятие проб воздуха, высадка. Корабль со всех сторон окружали травянистые растения: сочные зеленые стебли кивали на ветру пышными метелками макушек и, слегка задевая экраны нацеленных на них видеокамер, запудривали линзы обильной пылью.

— Создается впечатление, что на планете одна фитосфера, — сказал Харфекс. — Осден, ты нащупал там хоть что-нибудь разумное?

Все головы обернулись к сенсору, но тот молча встал из-за экрана и налил себе чашку чая. Он не собирался отвечать. Он вообще очень редко снисходил до ответа на прямо поставленный вопрос.

Туго затянутые ремни военной дисциплины были абсолютно неприменимы к сумасшедшим ученым — ни у одного из них нет своего капрала в голове, заставляющего мозг выполнять приказы начальства. Их иерархические отношения строились на чем-то сходном с парламентской процедурой и регулировались системой мягких полуприказов. Однако (пусть даже по совершенно непостижимым для нее соображениям) большое начальство назначило доктора Томико Хайто координатором экспедиции, и она в первый раз за весь полет решила воспользоваться данной ей властью.

— Мистер сенсор Осден, — выдавила она из себя, — будьте добры ответить мистеру Харфексу.

— Интересно, как это я могу «нащупать» хоть что-то снаружи, если вокруг меня постоянно копошатся, как червяки в банке, девять психически неуравновешенных гуманоидов? Когда у меня будет что сказать, не бойтесь — скажу. Я прекрасно знаю свои обязанности сенсора. Но если вы, координатор Хайто, еще хоть раз позволите себе мною командовать, я подумаю о том, чтобы их с себя сложить.

— Отлично, мистер сенсор, я полагаю, что в дальнейшем мне не понадобится вам приказывать. — Голос Томико был абсолютно спокоен, но Осден, стоявший все это время к ней спиной, вздрогнул, словно получил физический удар.

Предположение биолога полностью оправдалось: производя ряд проб и анализов, они не обнаружили на планете ни малейшего намека на животные формы жизни — даже никаких микроорганизмов. Никто в этом мире не ел другого. Единственным способом существования был фотосинтез. Планета была безграничным царством растений, и ни одно из них не походило на те, что встречались до сих пор представителям царства человека. Бесконечное разнообразие форм и расцветок: зеленые, красные, пурпурные, коричневые... И полная тишина. Единственным, что здесь двигалось, был теплый ветерок — он лениво задевал листья

и стебли и гонял облачка светло-зеленой пыльцы над бескрайними лесами, прериями, степями, лугами... на которых не росло ни единого цветка; ничья нога еще не ступала по этой девственной земле, ничьи глаза никогда не любовались этой пышной зеленью. Теплый печальный мир. Безмятежно-печальный.

Поисковики спокойно, словно на пикнике, бродили по лугу, заросшему сиреневыми травами, и тихонько переговаривались друг с другом. Они не смели говорить громко, опасаясь нарушить великое, царившее здесь миллионы лет безмолвие ветра и листьев, листьев и ветра — то нарастающее, то стихающее, но неизбыточное. Они говорили почти шепотом, но, будучи людьми, не могли не говорить.

— Бедняга Осден! — прыснула биотехник Дженни Чонг, пилотируя маленький разведывательный вертолет к Северному полюсу планеты. — Иметь в голове такую сверхточную аппаратуру — и быть не в состоянии ее применить. Какой облом!

— Он сказал мне, что ненавидит растения, — со смешком отозвалась Оллероо.

— Хочешь сказать, что он сам похож на растение? По крайней мере до тех пор, пока мы его не задеваем?

— Я бы тоже не сказал, что мне вся эта растительность по душе, — заметил Порлок, глядя на расстилавшиеся внизу багровые приполярные леса. — Все одно и то же. Ни малейшей мысли. Ни малейших изменений. Человек, останься он здесь один, рехнется в пять минут.

— Но они все живые, — сказала Дженни Чонг. — И Осден ненавидит их именно за это.

— Ну, он все-таки не настолько ублюдок, — великодушно вступилась Оллероо.

Порлок бросил на нее косой взгляд:

— Ты что, и с ним спала?

Белденианка вспыхнула и разрыдалась:

— У вас, землян, на уме одно непотребство!

— Да нет, он ничего такого не хотел сказать, — поспешила вмешаться Дженни Чонг. — Ведь правда, Порлок?

Химик внезапно расхохотался, и его усы украсились гирляндой брызг слюны.

— Да Осден не переносит даже, когда к нему прикасаются, — сквозь слезы всхлипнула Оллероо. — Я его как-то случайно задела плечом в коридоре, так он оттолкнул меня с

такой гадливостью, словно я грязная... вещь. Мы все для него только вещи.

— Он — дьявол! — внезапно взвился Порлок с такой яростью, что обе женщины испуганно вздрогнули. — Он уничтожит всю нашу команду, не одним способом, так другим. Попомните мои слова! Да его нельзя на пушечный выстрел подпускать к нормальным людям!

Они приземлились на Северном полюсе. Полночное солнце еле тлело над невысокими холмами. Сухие ломкие зелено-бордовые палки растений торчали во всех направлениях. Хотя здесь везде существовало только одно направление — на юг. Подавленные великим безмолвием, поисковики молча достали свои инструменты и принялись за работу — три копошащихся вируса на теле неподвижного космического великана.

Осдена никто не приглашал в исследовательские экспедиции; никто не просил его сопровождать очередной вылет ни в качестве фотографа, ни пилота, ни связиста. Сам он тоже не изъявлял ни малейшего желания в них участвовать и потому редко покидал центральную базу. Там он часами просиживал за компьютером, делая сводку результатов изысканий Харфекса. Еще он помогал Эскване, в обязанности которого входила профилактика оборудования, но на радиоинженера общение с ним действовало таким специфическим образом, что он просыпал двадцать пять часов из тридцати двух, составлявших местные сутки. И даже несмотря на это, мог заснуть в любой момент, прямо над паяльником.

Однажды координатор решила не отправляться на вылет, а провести весь день на базе, чтобы спокойно составить отчет. Кроме нее оставалась только Посвет Ту, с которой Маннон провозился все утро, чтобы вывести из состояния превентивной кататонии. Теперь она отлеживалась в своей комнате. Томико, одним глазом наблюдая за Осде-ном с Эскваной, заносила информацию в банк данных. Так прошло два часа.

— Ты, очевидно, собираешься для соединения этой цепи использовать микроманипуляторы-860, — раздался тихий нерешительный голос Эскваны.

— Естественно!

— Прости, но я вижу, что у вас только 840-е...

— Так будут 860-е! Я, к твоему сведению, еще не успел поменять. У меня не тысяча рук! Вот когда я не буду знать,

что делать дальше, тогда и начну спрашивать твоих советов, инженер!

Томико выждала с минуту и оглянулась. Эсквана спал, уронив голову на стол и засунув в рот большой палец.

— Осден!..

Тот промолчал и даже не обернулся. Лишь легкое нетерпеливое движение плечами показало, что он слушает.

— Ты не можешь не знать, в чем слабость Эскваны.

— Я не в ответе за его ненормальные физические реакции.

— Зато ты в ответе за себя. На этой планете без Эскваны нам не обойтись, а вот без тебя — вполне. Поэтому если ты не способен контролировать свою враждебность, то тебе, пожалуй, следует отказаться от общения с ним.

Осден отложил инструменты и встал.

— Да с удовольствием! — взвизгнул он. — Ты же не способна даже вообразить, что значит постоянно подвергаться вместе с ним приступам его неосознанного страха, разделять его патологическую трусость, быть вынужденным вместе с ним трястись как овечий хвост от малейшего шороха!

— Ты что это, пытаешься оправдаться передо мной за свое свинское к нему отношение? Я-то думала, в тебе больше самоуважения... — Томико внезапно обнаружила, что ее трясет от ярости. — Если твои эмпатические способности действительно позволяют тебе разделять с Андером его фобии и осознать всю глубину его несчастья, то почему же это не вызывает в тебе ни капли сочувствия?

— Сочувствие... — пробормотал Осден. — Сострадание. Да что ты можешь знать о сочувствии?

Томико удивленно воззрилась на него, но он продолжал стоять к ней спиной.

— Не позволишь ли мне вслух назвать своими именами те эмоции, что ты сейчас, в данную минуту соизволила почувствовать по отношению ко мне? — через минуту вновь заговорил он. — Я могу определить их даже точнее, чем ты сама. Я уже наловчился мгновенно анализировать любые вибрации, как только они меня достигают. И я принял все твои эмоции по полной программе.

— А что ты, интересно, от меня ожидал еще? Думаешь, я буду вежливо сносить все твои выходки?

— Да какое значение имеют мои выходки, ты, тупая кретинка? Ты что, думаешь, что любой нормальный человек — это источник любви? Мне судьбой предоставлен выбор —

быть либо ненавидимым, либо презиаемым. Не будучи ни женщиной, ни трусом, я предпочитаю вызывать к себе ненависть.

— Чушь. Самозащита. У каждого человека...

— Но я не человек, — перебил ее Осден. — Это вы все — люди. А я сам по себе. Я *один*.

Потрясенная столь бездонным солипсизмом, Томико несколько минут не могла выдать из себя ни слова; наконец она бросила без всякой жалости, как, впрочем, и без злобы:

— Ну так пойд и удавись!

— Тебе этот путь больше подходит, Хайто, — глумливо усмехнулся он. — Я не подвержен депрессиям, и потому для меня сеппуку* не является лекарством от всех болезней. Есть еще предложения?

— Тогда уходи. Полностью отдели себя от нас. Забирай вертолет и отправляйся на сбор образцов. Лучше в лес. Харфекс лесами еще не занимался. Возьми под контроль любой гектар леса в пределах радиосвязи. На связь будешь выходить в восемь и двадцать четыре часа ежедневно.

Осден вышел и с этой минуты в течение пяти дней напоминал о себе лишь лаконичными сообщениями по два раза в сутки. Атмосфера на базе резко изменилась к лучшему. Эсквана теперь бодрствовал по восемнадцать часов. Посвет Ту достала свою любимую лютню и теперь с утра до вечера распевала гимны (раньше Осден, которого от музыки коржило, запрещал ей это). Маннон, Харфекс, Дженни Чонг и Томико прекратили принимать транквилизаторы. Порлок что-то там продистиллировал в лаборатории и в одиночку продегустировал. Потом долго маялся похмельем. Аснанифоил вместе с Посвет Ту закатали всенощную нумерологическую эпифанию — мистическую оргию на языке высшей математики — верх блаженства для любой таукитянской религиозной души. Оллероо переспала со всеми мужчинами. Работа пошла семимильными шагами.

Но на шестой день райской жизни пришел конец. Специалист по точным наукам с выпученными глазами опрометью вылетел на поляну, на которой находилась центральная база, и, не тратя времени на обход по протоптанной тропинке, помчался напролом сквозь обступавшие лагерь стволы сочных трав.

* Сеппуку — то же, что харакири. (Примеч. пер.)

— Там в лесу... Что-то есть... — запыхавшись, выпалил он. Руки и усы его тряслись мелкой дрожью. — Что-то большее. Оно двигалось. Я оставил в том месте отметку и поспешил убраться. А оно шло за мной. Оно будто бы скользило по ветвям. И не отставало. Оно меня преследовало. — Он с ужасом оглядел сбежавшуюся команду.

— Сядь, Порлок. Успокойся. Приди в себя и попробуй проанализировать свои впечатления. Ты *что-то* видел...

— Не то чтобы видел. Это было какое-то движение. Направленное. Я... я н-не знаю, что это было... Но оно двигалось *само*... По деревьям... Ну, по этим древовидностям... Да плевать, как они называются, главное — оно бродило по ним. И на самой опушке.

— Некому на тебя здесь нападать, Порлок, — утрюмо проговорил Харфекс. — Здесь даже микробов нет. А больших животных *нет и быть не может*.

— А что, если это просто какая-то лоза упала с дерева у тебя за спиной или рухнул подгнивший ствол?

— Нет, — стоял на своем Порлок. — Оно направленно двигалось ко мне. И очень быстро. А когда я обернулся, отпрянуло в гущу веток и спряталось. И еще я слышал какой-то треск. Если это не животное... то один Бог знает, что это может быть! Оно было большим. Примерно с человека. Вроде рыжеватое. Но толком я не видел и не могу с уверенностью это утверждать.

— Это был Осден. Не наигрался в Тарзана в детстве, — нервно хихикнула Дженни Чонг.

Томико не выдержала и прыснула, но Харфекс остался серьезным, как гробовщик.

— Бродить одному среди этих древовидных трав небезопасно для здоровья, — наконец тихо, напирая на каждое слово, заговорил он. — Я давно это заметил и потому отложил исследование леса на потом. Колыхание густо растущих ветвей этих пастельных оттенков (и особенно в сочетании с люминофорами) создает гипнотический эффект. А корбочки спор взрываются со столь равными интервалами, что это создает впечатление какой-то искусственности. Но я думал, что это действует так только на меня, и не хотел пока делиться своими субъективными впечатлениями. Однако, если кто-то подвержен гипнозу больше, чем я, это вполне могло вызвать у него галлюцинации...

Порлок яростно затряс головой и, облизнув сухие губы, упрямо возразил:

— Оно там было. Оно двигалось вполне целеустремленно. Оно пыталось напасть на меня со спины.

Когда в двадцать четыре часа Осден вышел на связь, Харфекс рассказал ему о случае с Порлоком.

— Не обнаружили ли вы, мистер Осден, хоть чего-нибудь, что могло бы подтвердить наличие в лесу движущейся, сознательной жизнеформы?

— С-с-с... — сардонически прошипело радио, а затем раздался резкий безапелляционный фальцет сенсора: — Нет. Чушь собачья.

— Вы пробыли в лесу дольше, чем мы все, вместе взятые, — с безупречной вежливостью продолжал Харфекс. — Не пришли ли вы к тем же выводам, что и я, а именно: что данные растительные формы способны своим монотонным колыханием вызывать гипнотический эффект и в конечном итоге привести к галлюцинациям наблюдателя?

— С-с-с... Я согласен, что Порлок имеет большие проблемы с головой. Заприте его лучше в лаборатории, где он меньше наломает дров. От меня еще что-то надо?

— Пока больше ничего, — буркнул Харфекс, и Осден тут же отключился.

Никто не мог подтвердить рассказ Порлока, однако никто не мог и опровергнуть его. Сам же он был абсолютно уверен, что некто большой пытался напасть на него со спины. Поставить его слова под сомнение было легко, но в то же время ни один из членов экспедиции ни на минуту не забывал, что находится в чужом мире. И ни один из них не мог не признать, что каждого, кто вступал под сень инопланетных деревьев, брала оторопь и по спине легким холодком пробегал невольный страх. Харфекс предложил называть все-таки эти древовидные растения деревьями.

— Ведь это то же самое, только совсем другое, — объяснил он.

Все рано или поздно побывали в лесу и сошлись на том, что чувствуют там себя чрезвычайно неуютно и не могут отделаться от впечатления, что спиной ощущают чью-то слежку.

— Нет, с этим необходимо разобраться, — сказал наконец Порлок и потребовал, чтобы его, как и Осдена, направили в лес во временный лагерь, чтобы он смог бы заняться наблюдениями всерьез.

С ним вызвались идти Оллероо и Дженни Чонг, но только при условии, что они будут вместе. Харфекс направил

группу в лес неподалеку от центральной базы, находившейся на широкой равнине, занимавшей четыре пятых континента D. Он запретил им брать с собой оружие и потребовал не уходить слишком далеко и все время оставаться в пределах связи. Как и Осден, они дважды в сутки были обязаны отчитываться.

Прошло три дня. Потом Порлок сообщил, что на берегу реки заметил между деревьями движение чего-то большого, неопределенной формы. На следующую ночь Оллероо сообщила, что слышала, как кто-то ходит вокруг палатки. Она клялась, что ей это не приснилось.

— На этой планете не может быть животных, — упорно продолжал твердить Харфекс.

И вдруг Осден пропустил свой утренний рапорт.

Томико просидела у приемника целый час, а затем вместе с Харфексом вылетела в тот район, откуда пришло последнее сообщение от сенсора. Но когда вертолет пошел кругами над предполагаемым районом поисков, раскинувшееся внизу шелестящее море пурпурно-зеленых листьев, веток и метелок привело ее в отчаяние.

— Как мы сможем найти его в этой каше?

— Он сообщал, что остановился на ночлег на берегу реки. Надо искать аэрокар: от него он далеко уйти не мог. Собирать образцы — работа довольно кропотливая... А вот и река.

— А вот и его аэрокар! — воскликнула Томико, уловив в листве столь необычный для пастельных тонов этого мира резкий металлический блик. — Двигай туда.

Они зависли над берегом, и Томико сбросила веревочную лестницу. Оба начали спускаться, и вскоре пышная растительность сомкнулась над их головами.

Как только ее ноги коснулись земли, координатор тут же расстегнула кобуру, однако, бросив взгляд на невооруженного Харфекса, решила пока пистолета не вынимать. Но руки с кобуры тоже не сняла. Несмотря на то что они находились всего в нескольких метрах от реки, здесь царил полная тишина. Под кронами деревьев царил сырой полумрак. Вокруг колоннами уходили ввысь совершенно одинаковые стволы. Но при ближайшем рассмотрении все-таки между ними были некоторые различия: на одних мягкое покрытие было гладким, на других — бугристым; одни были буровато-зелеными, другие — коричневыми; все они были оплетены толстыми лианами и увешаны фестонами

эпифитов; голые мощные ветви, лишь на макушке увенчанные пучком жестких темных блюдцеподобных листьев, тянулись вверх, создавая природную крышу, достигавшую двадцати—тридцати метров в толщину. Почва под ногами пружинила, как старый матрац с выпирающими пружинами корней и отводков.

— Вот его палатка, — сказала Томико и вздрогнула от звука собственного голоса, так грубо нарушившего первоизданную тишину.

В палатке они обнаружили спальный мешок Осдена, несколько книг и коробку с продуктами.

«Надо покричать, позвать его», — подумала координатор, но вслух предложить это почему-то не решилась. Харфекс тоже не высказал подобного предложения, и они стали обследовать окрестности палатки, двигаясь кругами и стараясь все время держаться в поле зрения друг друга, что в сгущавшихся сумерках становилось все трудней.

Томико споткнулась о тело Осдена примерно в трехстах метрах от палатки и, если бы не ярко белевшие в сумраке страницы выпавшей из его рук записной книжки, вообще могла бы пройти мимо. Он лежал ничком между двумя огромными деревьями. Его затылок и плечи были залиты кровью, которая уже начала подсыхать.

Рядом тут же возникло лицо Харфекса — здесь, под сводом лесов, его обычно и так слишком белая хайнская кожа казалась зеленоватой.

— Он мертв?

— Нет. Он без сознания. Его кто-то ударил. Сзади. — Говоря, Томико быстро ощупала его голову. — Удар был нанесен оружием... или инструментом... Никак не могу найти рану.

Они перевернули тело Осдена, и тот открыл глаза. Придерживая его голову, Томико склонилась к самому лицу раненого: его бледные губы дрогнули... И тут внезапно ее захлестнул панический страх. Она завизжала и бросилась бежать, не разбирая дороги, спотыкаясь о корни и больно ушибаясь о стволы. Харфекс помчался вслед за ней и, поймав ее, крепко прижал к себе. Ощувив тепло его рук, Томико тут же пришла в себя.

— Что с тобой? Что такое? — мягко спросил он.

— Сама не знаю, — всхлипнула Томико. Ее сердце все еще колотилось как сумасшедшее, а перед глазами всеплы-

ло. — Страх... Ужас... Я испугалась, когда... когда посмотрела ему в глаза.

— Да, мне тоже стало как-то не по себе. Странно...

— Все. Со мной все уже в порядке. Пойдем, надо ему помочь.

Поспешно и не особо церемонясь с бесчувственным телом Осдена, они отволокли его к берегу и, чтобы поднять в вертолет, продели ему под мышки веревочную петлю. Обвиснув, как тюк, Осден стал плавно подниматься вверх, качаясь поплавром в толще лиственного моря. Тело втащили в кабину, и уже через минуту вертолет поднялся высоко в небо, подальше от колеблющейся багрово-зеленой поверхности леса. Томико установила автопилот на обратный маршрут и перевела дыхание. Их с Харфексом глаза встретились.

— Я страшно перепугалась. До полусмерти. Никогда со мной такого не было.

— Я тоже... чувствовал какой-то необъяснимый страх, — признался Харфекс. Он выглядел так, словно разом постарел лет на десять. — У меня это было не так сильно, как у тебя... Но совершенно беспричинный, какой-то животный ужас...

— Это началось, когда я посмотрела ему в лицо. Мне в тот момент показалось, что он пришел в сознание.

— Эмпатия?.. Надеюсь, он хоть расскажет, что же такое на него напало.

Осден, словно сломанный, заляпанный грязью и кровью манекен, в неловкой позе лежал на заднем сиденье, куда они его в спешке закинули, думая не столько об удобстве раненого, сколько о своем жгучем стремлении поскорее убраться из леса.

Их появление на базе вызвало всеобщую панику. Бессмысленная жестокость, с которой было осуществлено нападение, породила у всех самые зловещие опасения. Никто не знал, что и думать. И поскольку Харфекс упрямо продолжал отрицать возможность появления на планете животных, посыпались версии — одна фантастичнее другой: о разумных растениях, о древоподобных монстрах и даже о травяном сверхразуме, управляющем психополем на физическом уровне. Скрытая фобия Дженни Чонг расцвела во всей красе, и та ни о чем больше не могла говорить кроме как о темных «эго», крадущихся по пятам людей. Они с Оллероо и Порлоком в тот же день вернулись на базу, и

теперь никакие силы не заставили бы ни одного члена экспедиции высунуть за пределы лагеря даже кончик носа.

Осден, пролежавший три или четыре часа без помощи, потерял много крови, а так как при этом получил еще и сотрясение мозга, то первое время он находился на грани жизни и смерти.

— Доктор... — слабым голосом звал он в бреду. — Доктор Хаммергельд...

Двое бесконечных суток лихорадка сменялась полукомой и вновь приступами горячечного бреда, но наконец больной все же пришел в сознание. Убедившись, что за его жизнь можно больше не опасаться, Томико пригласила в его комнату Харфекса.

— Осден, можешь ты нам рассказать, кто на тебя напал?

Блеклые глаза вопросительно уставились на Харфекса.

— На тебя напали, — мягко, но настойчиво продолжала Томико. — Может, ты пока не в состоянии это вспомнить. Кто-то на тебя напал. Ты шел по лесу...

— А! — вскрикнул он, и глаза его лихорадочно блеснули, а лицо мучительно напряглось. — Лес... Там, в лесу...

— Что было в лесу?

Осден судорожно вздохнул, затем черты лица расслабились: судя по выражению глаз, он совладал с собой. Помолчав немного, он ответил:

— Не знаю.

— Так ты видел того, кто на тебя напал? — спросил Харфекс.

— Не знаю.

— Ты же сейчас вспомнил.

— Не знаю.

— От твоего ответа могут зависеть жизни всех нас! Ты обязан рассказать, что видел!

— Не знаю, — раздраженно всхлипнул Осден. Он был настолько слаб, что даже не мог скрыть, что что-то знает, но не желает рассказывать.

Порлок, подслушивающий под дверь, от волнения изжевал свои усы. Харфекс навис над Осденом и рывкнул:

— Ты расскажешь все или...

Томико пришлось прибегнуть к физическому вмешательству.

Необычайным усилием воли Харфекс взял себя в руки и молча ушел к себе, где тут же принял двойную дозу транквилизаторов. Остальные с потерянными лицами по

лагерю, не в силах говорить друг с другом. Осден даже в такой ситуации ухитрился противопоставить себя всем. Но теперь они от него зависели. Томико продолжала ухаживать за ним, еле сдерживая неприязнь, желчным комком застрявшую в горле. Этот кошмарный эгоизм, питавшийся чужими эмоциями, эта чудовищная самоуверенность вызывали гораздо большее отвращение, чем любое физическое уродство. Такие ублюдки не имеют права на существование. Такие не должны жить. Их надо убивать в младенчестве. Так почему бы не разmozжить ему голову прямо сейчас?..

Осден дернулся и попытался приподнять безвольные руки, чтобы заслониться, а по его мраморно-белым щекам заструились слезы.

— Не надо, — просипел он. — Не надо...

Томико словно проснулась. Она села прямо и, помедлив, взяла его за руку. Он слабо воспротивился и попытался вырваться, но даже на это у него не хватило сил.

Они долго молчали, наконец Томико тихо заговорила:

— Осден, прости меня. Мне очень жаль. Я желаю тебе только добра. Ну позволь мне почувствовать к тебе хоть что-то доброе. Я не хотела причинить тебе вреда на самом деле. Слушай, я все поняла. Это был один из нас. Что — нет? Нет, не отвечай, только покажи как-нибудь, права я или нет. Хотя, боюсь, я все же не ошиблась... Да, на этой планете есть животные. Их десять. Мне даже не так уж важно, кто именно это сделал. В конце концов, дело сейчас не в этом. Но я знаю, что в любом случае это была не я. Да, я начинаю понимать. Но осознать по-настоящему, Осден... Понять тебя... Если б ты знал, как нам это трудно. Но послушай: а что, если вместо ненависти и страха ты можешь вызвать любовь... Неужели тебя никто не любил?

— Никто.

— Но почему? Неужели никто и никогда? Все люди вокруг тебя оказались такими равнодушными и ленивыми? Ужасно. Нет-нет, лежи спокойно, все хорошо. Ну прислушайся, ведь сейчас-то ты не чувствуешь ненависти? Ну? Сейчас-то, по крайней мере, идет симпатия, сочувствие, добрые пожелания. Ты чувствуешь это, Осден?

— Вместе... с чем-то другим, — почти беззвучно прошептал он.

— Наверное, это фон, созданный моим подсознанием. Или эмоции кого-нибудь находящегося поблизости. Слушай, когда мы нашли тебя там, в лесу, я попыталась тебя

перевернуть, и ты на минуту пришел в сознание. От тебя прямо-таки разлило паническим страхом — я вся пропиталась им в одну секунду. Это что, ты меня так боялся?

— Нет.

Она все еще держала его за руку и тут почувствовала, что его кисть расслабляется. Похоже, он начинает задремывать, как человек, измученный болью и внезапно получивший временное облегчение.

— Лес... — сонно пробормотал он. — Страх...

Томико решила оставить его в покое и просто смотрела, как он засыпает, так и не выпуская его руки. Она прекрасно осознавала, что за эмоция в данный момент рождается в ее душе, как осознавала и то, что Осден ее сразу почувствует. Существовала только одна эмоция, или состояние души, способная изменить все разом, полярно перестроить все отношения. В хайнском языке и любовь, и ненависть обозначаются одним словом «онта». Нет, Томико не была влюблена в Осдена, но то, что она чувствовала к нему, было именно «онта», причем пока еще ближе к ненависти. Она держала его за руку и ощущала рожденные прикосновением токи, связывающие, объединяющие их. А он всегда так нетерпимо относился к любому физическому контакту... Жесткое кольцо мускулов вокруг рта, придававшее лицу вечно брезгливое выражение, смягчилось, и вдруг Томико увидела то, чего не видел еще ни один из членов их команды, — очень слабую, но улыбку... Но она тут же растаяла, как тень, и Осден глубоко заснул.

Все-таки он был крепко сколочен: уже на следующий день попытался садиться и ощутил голод. Харфекс снова хотел его допросить, но Томико запротестовала. На двери комнаты она повесила кусок полиэтилена, как делал Осден в своей каюте на корабле.

— Это что, действительно ограждает тебя от чужих эмоций? — поинтересовалась она.

— Нет, — сухо ответил Осден. Однако в последнее время он стал общаться с ней без обычной грубости.

— А-а, тогда это что-то вроде предостережения другим.

— Отчасти. Но с другой стороны — и самоубеждение. Доктор Хаммергельд считал, что это может мне помочь... Может, и помогает, отчасти.

И все же Осден знал, что такое любовь. Дитя-уродец, задыхавшееся от безлюбия, равнодушия и чудовищных эмоций взрослых, было избавлено от всего этого одним-

единственным человеком. Человеком, научившим его дышать и жить. Давшим ему все, что необходимо, — свою защиту и любовь. Отец-Мать-Бог в едином лице — никак не меньше.

— Он все еще жив? — спросила Томико, потрясенная вселенским одиночеством Осдена и профессиональной жестокостью великих ученых.

Ответом ей послужил визгливый смешок, неприятно резанувший по нервам:

— Он мертв уже два с половиной столетия! Ты что, забыла, где мы находимся? Все мы бросили свои семьи...

А там, за пластиковым занавесом, остальные восемь обитателей Мира-4470 продолжали свое странное, томительно бессмысленное существование. Они лишь изредка переговаривались приглушенными голосами. Эсквана спал; Посвет Ту снова отлеживалась после эпилептического припад-ка; Дженни Чонг пыталась расставить лампы в своей комнате таким образом, чтобы вообще не отбрасывать тени.

— Все они перепуганы до смерти, — говорила Томико, сама ощущая затаившийся в глубине души липкий противный страх. — Все они запугали себя своими фантастическими предположениями по поводу того, кто на тебя напал: вид плотоядной картошки, клыкастый шпинат или еще какая гадость... Даже Харфекса это не миновало. Возможно, ты и прав в том, что не торопишься встать и начать снова общаться с ними. Так лучше для нас всех. Но почему мы все настолько слабы, что не хотим посмотреть в лицо действительности и признать очевидное? Мы что, действительно все сходим с ума?

— А скоро будет еще хуже.

— Почему?

— Здесь-таки *кто-то* есть, — вырвалось у Осдена, но он спохватился и так крепко сжал губы, что кольцо мышц вокруг них легло как бастион.

— Разумный?

— Скорее... осязающий.

— В лесу?

Он кивнул.

— И кто же?

— Страх. — Осден весь подобрался, и руки его нервно зашарили по одеялу. — Когда я упал там, в лесу, то не потерял сознания. Или, по крайней мере, даже если и отключался, то несколько раз приходил в себя. Не могу сказать

точно. Наверное, так себя ощущает полностью парализованный человек.

— В какой-то мере ты и был им.

— Я лежал на земле. И даже головы не мог поднять. Не мог отвернуть лица от всей этой грязи, лиственного мусора, что покрывает в местных лесах землю. Все это лезло мне в глаза и ноздри, а я не мог... не мог шевельнуться. Глаз открыть не мог. Словно был похоронен заживо. Словно уже потонул в этом слое перегноя, стал его частью. Я знал, что лежу между двумя стволами, хотя и не видел их. Не мог видеть. Наверное (это я теперь понял), я решил так, потому что чувствовал их корни. Они вились прямо подо мной и уходили глубоко-глубоко в землю. Мои руки были в крови (это я тоже чувствовал). А кровь все текла и текла, пока листья и земля не облепили мое лицо удушливой маской. Вот тут я ощутил страх. Страх, все усиливающийся. Словно *они* наконец-то *узнали*, что я лежу здесь, на них, под ними, среди них; что именно я — то, чего они так боятся, но в то же время там был и просто страх, сам по себе. А я не мог перестать распространять волны страха, не мог встать и уйти. Потом, похоже, я отключился, но когда снова пришел в себя, страх продолжал пронизывать меня с еще большей силой. А я все еще не мог подняться. Даже шевельнуться. Но ведь и они не могли.

У Томико по затылку пробежал холодок, и внутри стал поднимать голову загнанный вглубь тошнотворный ужас.

— Они? Кто «они», Осден?

— «Они»... или «оно», или «это» — не знаю. Страх. Страхи.

— Чего это он крутит? — подозрительно сощурился Харфекс после того, как Томико пересказала ему последний разговор с Осденом. Она до сих пор не подпускала его к своему пациенту, понимая, что того нужно пока оградить от вспыльчивого хайнца. Но, к сожалению, у самого Харфекса эти предосторожности вызвали приступ паранойи, и он решил, что координатор и сенсор объединились в тайный союз и скрывают от него какую-то очень важную информацию об опасности, нависшей над большей частью команды.

— Это то же самое, как если бы слепой попытался описать слона. Осден не способен слышать или видеть... ощущение, как и любой из нас.

— Но он его все-таки ощутил, дорогуша, — прошипел Харфекс с еле сдерживаемой яростью. — Причем не только

и не столько эмпатически, сколько своим собственным черепом. Оно подошло и шарахнуло его по башке каким-то тупым предметом. Так неужто он даже краем глаза не уловил ни единой детали?

— И кого же он должен был увидеть, Харфекс? — вкрадчиво спросила Томико, но хайнец не услышал в ее интонации скрытого намека.

Скорей всего он даже мысли не допускал о подобном. Бояться всегда чужаков. Убийцей может оказаться любой иностранец, иноземец, просто чужой — но никак не один из нас. Во мне — любимом и прекрасном — зла нет!

— Первый удар сбил его с ног и лишил сознания, — терпеливо объяснила Томико. — Осден ничего не видел. Но когда пришел в себя один-одинешенек в лесу, то ощутил жуткий страх. И то был не его собственный страх — а воспринятый им эмпатически от кого-то еще. В этом он полностью уверен. И абсолютно уверен, что тот страх не исходил ни от одного из нас. Таким образом, это служит прямым доказательством, что далеко не все растения здесь бесчувственны.

— Хочешь запугать меня, Хайто, — мрачно пробурчал Харфекс. — Я только не понимаю, зачем тебе это надо.

Он встал, давая понять, что разговор закончен, и, ссутулившись, словно ему было не сорок лет, а, по меньшей мере, восемьдесят, побрел к своему лабораторному столу.

Томико оглядела остальных и ощутила, как растет их отчаяние. Ее едва возникшее, еще такое хрупкое, но уже такое глубокое взаимопонимание с Осденом помогало ей удерживаться на краю безумия и придавало сил. Но как же другие? Если уж Харфекс начал терять голову, чего ждать от остальных? Порлок и Эсквана заперлись в своих комнатах, остальные пока работали или, по крайней мере, старались себя чем-нибудь занять. И все же в их поведении было что-то неестественное. Сначала координатор не понимала, что же ее насторожило, но потом заметила, что все выбрали себе места так, чтобы иметь возможность наблюдать за лесом. Оллероо, игравшая с Аснанифоилом в шахматы, сидела к окну спиной, но и она, постоянно понемножку передвигая свой стул, вскоре оказалась сидящей бок о бок со своим партнером.

Томико тихонько подошла к Маннону, исследовавшему какой-то паукообразный бурый корень, и предложила ему решить эту маленькую психологическую шараду. Он

мгновенно уловил суть вопроса и ответил с непривычным для него лаконизмом:

— Держать врага в поле зрения.

— Какого такого врага? А ты-то сам что чувствуешь, Маннон? — Она уцепилась за соломинку надежды, что там, где биолог потерпел поражение, может разобраться психолог.

— Я лично чувствую тревогу, причем отовсюду. Но я не эмпат. Мою тревогу можно в равной мере объяснить как стрессовым состоянием, являющимся естественной реакцией на нападение на члена нашей команды, так и стрессом более широкого профиля, вызванным нахождением в чужом мире и близостью того, что мы называем «лесом», — хотя на самом деле это не более чем весьма приблизительная метафора.

Несколько часов спустя Томико была разбужена среди ночи воплями Осдена, которого мучили кошмары. Маннон дал ему успокоительное, и она снова почти мгновенно погрузилась в собственные дебри снов и блуждала по ним без дорог до самого утра. А утром Эсквана не проснулся. Его не разбудила даже лошадиная доза стимулятора. Он спрятался в свой сон, как улитка в раковину, будучи не в силах больше переносить напряжение бодрствования, и теперь лежал в позе эмбриона, засунув большой палец в рот — безучастный ко всему окружающему миру.

— Прошло два дня, и двое выбыло. Десять негрятят, девять негрятят... — бормотал, не обращаясь ни к кому, Порлок.

— А следующим негретенком будешь ты! — взорвалась Дженни Чонг. — Сделай-ка себе анализ мочи, Порлок.

— Он скоро доведет нас всех до полного сумасшествия, — вскочил тот, размахивая руками. — Неужели вы этого не видите? Вы что, все оглохли и ослепли? Неужели вы не чувствуете эманации, которыми он на нас воздействует? Вы только прислушайтесь, ощутите, *что* изливается на нас из его комнаты, из его гнилых мозгов! Он нас всех сведет с ума! Мы рехнемся от страха!

— Ты это о ком? — пробасил, возвышаясь огромной волосатой горой над шуплым землянином, Аснанифоил.

— А что, тебе еще имя нужно называть? Да пожалуйста: Осден! Осден! Осден! А почему, ты думаешь, я пытался его убить? Это была самозащита! Я должен был спасти нас всех! Потому что вы ни черта не видите и не понимаете, *что* он

нам готовит! Сначала он саботировал экспедицию тем, что повсюду заводил свары, чтобы нас перессорить, но этого ему показалось мало, и он стал отравлять нас страхом. Он генерирует его так мощно, что мы уже не можем ни спать, ни думать... Как огромное радио, которое, не издавая ни звука, все работает и работает... И никому не дает ни заснуть, ни услышать свои мысли. Хайто и Харфекса он уже полностью подчинил себе, но остальных-то можно еще спасти! Я должен был попытаться! Кто, как не я?!

— Не очень-то это у тебя получилось, — сухо заметил появившийся в дверях своей каюты полуголый, похожий на скелет, Осден. — Я и то смог бы ударить сильнее. Да черт возьми, поверьте мне наконец, это не я пугаю вас до полусмерти, Порлок! Это идет оттуда, из лесу!

Тот бросился на Осдена с явным намерением придушить, но Аснанифоил поймал Порлока за шиворот и придерживал все то время, которое понадобилось Маннону, чтобы сделать успокоительный укол. Но пока его уводили, Порлок продолжал кричать что-то бессвязное о гигантских радиостанциях. Через несколько минут лекарство оказало свое действие, и Порлока уложили рядышком с Эскваной.

— С ним порядок, — облегченно вздохнул Харфекс. — А теперь, Осден, может, ты все же расскажешь нам, что знаешь? Причем желательно все.

— Но я ничего не знаю, — ответил Осден.

Он еле держался на ногах, и Томико поспешила усадить его в шезлонг.

— На третий день работы в лесу мне показалось, что я ощутил... нечто.

— Почему же ты не сообщил об этом сразу?

— Потому что я, как и любой из вас, принимаю транквилизаторы.

— И все равно ты должен был доложить об этом.

— Тогда вы отозвали бы меня назад на базу. А этого мне хотелось меньше всего. Вы все уже поняли, что включение меня в состав экспедиции было большой ошибкой. Я просто не в состоянии общаться с девятью невротиками, запертыми со мной на таком крошечном пространстве. Мне это не по силам. Подав заявление в «Запредельный Поиск», я свалил большого дурака, а наше начальство свалило дурака не меньшего, приняв меня.

Все молчали, но по тому, как у Осдена дернулись плечи и поджались губы, Томико поняла, как болезненно он ощутил всеобщее согласие с его словами.

— В любом случае я не хотел возвращаться на базу. К тому же меня взяло любопытство: как это я ухитрюсь воспринимать эмоции там, где нет ни единого существа, их генерирующего? Тогда еще они не продуцировали ничего плохого. Да и вообще вибрации были слабенькие, почти неуловимые — как сквозняк в запертой комнате; как движение, пойманное краем глаза. Ничего конкретного.

Всеобщее внимание несколько его подбодрило: он говорил именно потому, что видел, как его слушают. Знали бы они, насколько он зависит от их прихотей: когда они чувствовали к нему неприязнь, он вынужден был так себя вести, чтобы ее оправдать; когда они высмеивали его, он эпатировал их еще больше; теперь они слушали, и он должен был говорить. Он был беспомощен перед ними, он был рабом их эмоций, настроений и капризов. И их было здесь семеро — слишком много, чтобы найти взаимопонимание сразу со всеми. Вот и приходилось скакать, как блоха, от одного настроения к другому. Даже сейчас, когда Осден своим рассказом, казалось бы, полностью завладел всеобщим вниманием, они не переставали думать о чем-то еще: Оллероо вдруг внезапно открыла для себя, что Осден не лишен привлекательности; Харфекс параноически все искал в его словах скрытый подтекст; сознание Аснанифоила, вообще не способное подолгу задерживаться на чем-то одном, уже устремилось в дебри абстрактной математики, а Томико разрывалась между чувством долга и своими комплексами. Отвлечшись, Осден заговорил тише, начал запинаться и обнаружил, что потерял нить рассказа.

— Я... Я думаю, что дело тут в деревьях, — сказал он и, окончательно сбившись, замолчал.

— Нет, не в деревьях, — покачал головой Харфекс. — У этих... не более развитая нервная система, чем у любого другого растения на Хайне или Земле. Нет у них нервной системы. Ни у одного.

— Ты так и не увидел за деревьями леса, как говорят у вас на Земле, — невесело усмехнулся Маннон. — А что ты скажешь о тех корневых узлах, над которыми мы с тобой бьемся уже вторую неделю, а?

— А что в них такого?

— Ничего. Они связывают деревья между собой. Только и всего. А теперь представь на минутку, что ты понятия не имеешь, как устроен мозг животного, а тебе выдали для его исследования одну-единственную взятую наобум клетку? Как ты думаешь, сумеешь ты выяснить, частью чего это является и какие функции выполняет все образование? Сможешь ты по отдельно взятой клетке определить способность мозга к ощущениям, сознанию?

— Нет. Потому что одна клетка ничего не чувствует. Она способна лишь реагировать на механические раздражители — не более. Ты что, хочешь сказать, что каждое из здешних растений — что-то вроде клетки и что они объединяются в общий «мозг»?

— Ну, не совсем так. Я просто обращаю твое внимание на то, что все они связаны между собой этими корневыми узлами под землей и эпифитами в кронах. Наличие этой связи отрицать никак нельзя. Ведь даже в степях самые жиденькие травки и те имеют подобные узлы. С чего бы это? Я прекрасно знаю, что сознание и способность ощущать не являются физическими объектами — их невозможно вытащить на кончике скальпеля при резекции мозга. Это функции соединенных между собой клеток. Но если существует связь, то не исключено, что и ей присущи подобные функции...

Хотя, конечно, это маловероятно. Я даже не собираюсь убеждать вас в том, что сам верю в эту гипотезу. Более того, я думаю, что если бы это действительно было так, то Осден все-таки смог бы это ощутить и объяснить нам...

И Осден вдруг заговорил, словно в трансе:

— Способность ощущать, не имея чувств. Слепо, глухо, бездвижно. Лишь слабая возбудимость или раздражение в ответ на прикосновение. Реакция на солнечный свет, на свет вообще, на воду, на минеральные вещества, всасываемые корнями из земли. Это даже сравнить нельзя с сознанием животного. Ближе нету. Присутствие, бытие без осознания. Полное неведение о собственном существовании. Нирвана.

— Но откуда же тогда взялся страх? — тихо спросила Томико.

— Не знаю. Я же не способен определять степень разумности объекта, я могу лишь воспринять, есть эмоция или нет... Несколько дней я просто ощущал смутный дискомфорт. Но вот тогда, когда я лежал там между двумя

деревьями, когда моя кровь попала на их корни... — лоб Осдена покрылся каплями пота, — вот тогда-то и появился страх. Страх в чистом виде, — добавил он дрожащим голосом.

— Ну, допустим, такое образование существует, — задумчиво проговорил Харфекс. — Но если это и так, я уверен, что оно не в состоянии отреагировать на присутствие самопередвигающегося существа. Для подобного организма воспринять наше присутствие не легче, чем нам, скажем, осознать бесконечность.

— Когда я думаю о бесконечности, меня ужасает ее полное безмолвие, — прошептала Томико. — Но Паскаль был способен осознать бесконечность. Может, именно через страх.

— Лесу мы могли показаться чем-то вроде лесного пожара, — продолжал развивать свою гипотезу Маннон. — Или урагана. Чего-то опасного. Для растения все, что передвигается, — опасно. Все, что не имеет корней, — чуждо, неприемлемо. И если у него все же есть сознание, то стоит ли удивляться, что он смог осознать присутствие Осдена — человека, чей мозг открыт для всех, человека, чувствующего обостренно. И вот этот человек лежит, излучая страх и боль, прямо внутри этого лесоорганизма. Вот он и испугался...

— Только не говори «он»! — перебил его Харфекс. — Это не существо, не личность! Это не более чем функция...

— Там только страх, — сказал Осден.

На минуту в комнате повисла тишина. Все молча прислушивались к безмолвию снаружи.

— Это что-то вроде того, что я все время ощущаю у себя за спиной? — робко спросила Дженни Чонг.

Осден кивнул:

— Вы все это ощущаете. Даже своими притупленными чувствами. А Эсквана просто не смог это перенести, потому что его эмпатические способности развиты лучше, чем у вас. Он даже мог бы сам научиться проецировать эмоции, но был всегда для этого слишком слабovolен и предпочитал роль медиума.

— Осден, — встрепелась Томико, — но ты-то умеешь проецировать. Так попробуй передать этому лесу наши добрые намерения. Пусть он поймет, что мы не причиним ему вреда, и перестанет нас бояться. Ведь если у него есть некий механизм, позволяющий ему проецировать то, что мы

воспринимаем как эмоцию, почему бы не попробовать найти с ним общий язык? Пошли ему сообщение: «Мы дружелюбны и неопасны».

— Ты должна знать, что ни один эмпат не способен лгать в проекции эмоций, Хайто. Я не могу послать им то, чего нет.

— Но мы действительно не желаем ему ничего плохого.

— Правда? Там, в лесу, где вы меня подобрали, ты тоже была столь прекраснодушно настроена?

— Нет. Я была в ужасе. Но ведь это же не относилось ни к лесу, ни к растениям.

— Да какая разница? Ты же все равно это излучала. Неужели вы до сих пор не поняли, — наконец прорвало Осдена, — почему с самого первого дня мы с вами — со всеми вами — так невзлюбили друг друга? Неужели вы не почувствовали, что я, получив от вас удар агрессии или антипатии, мгновенно возвращаю его обратно? Как и любое проявление симпатии, кстати. Это моя самозащита. Тут я ничем не лучше Порлока. Я был вынужден разработать эту технику зеркального отражения, потому что не имел естественной защиты от разрушительного воздействия эмоций других. И в результате ваша первоначальная антипатия ко мне как к уроду стала расти, как снежный ком, пока не превратилась в прочную ненависть. Какой-то порочный замкнутый круг! Теперь-то вы можете меня понять? Лес сейчас продуцирует одну-единственную эмоцию — страх. Так чем еще я могу ему ответить, если привык отражать?

— Ну и что нам теперь делать? — спросила Томико.

— Переносить лагерь, — тут же предложил Маннон. — На другой континент. Если там тоже есть эти лесоорганизмы, то, возможно, они нас заметят нескоро — если заметят вообще.

— Это будет для всех большим облегчением, — кивнул Осден.

Теперь команда смотрела на него совсем другими глазами. Он открылся им, и они увидели глубоко несчастного человека, загнанного в ловушку своих сверхразвитых чувств. До них постепенно стало доходить то, что уже давно поняла Томико: его эгоизм, его грубое, неприязненное отношение к ним было их собственным творением. Это они построили клетку, заперли его в ней и морщили носы, наблюдая за возмутительными манерами превращенного ими в обезьяну человека.

Никому не пришло в голову отнестись к нему с искренним доверием, если уж любви с первого взгляда он не способен был вызвать. А теперь уже слишком поздно. Будь у Томико побольше времени и возможности общаться наедине, она, наверное, смогла бы наладить с ним нормальные, основанные на доверии гармоничные отношения. Но времени не было: все поглощала работа, которую необходимо было сделать и которая не оставляла ни минуты на культивацию столь сложных отношений. Однако на то, чтобы по-немногу, исподволь накапливать взаимную симпатию и ползти к любви черепашным шагом, времени все же хватало. Она чувствовала, что в силах осуществить это, но, взглянув на Осдена, поняла, что ему этого будет недостаточно. Его пылавшее от сдерживаемого возмущения лицо свидетельствовало о том, что ему крайне неприятно всеобщее жалостливое любопытство. И даже ее сострадание не способно исправить положение.

— Тебе лучше прилечь, — торопливо сказала она, — а то рана снова начала кровоточить.

Осден послушно ушел к себе.

На следующий день исследователи запаковали оборудование, размонтировали ангар и жилые помещения, погрузились на борт «Гама» и отправились на другую сторону Мира-4470. Они долго летели над бескрайними зелеными и красными равнинами, лениво плещущимися теплыми морями, пока не опустились посреди заранее выбранной преирии на континенте G: двадцать тысяч квадратных километров, поросших опыляемыми ветром травами. На сотни километров вокруг не было не только леса, но даже одиночных деревьев. Виды трав здесь никогда не перемешивались, предпочитая расти как бы колониями. Исключение составляли лишь вездесущие сапрофиты.

Весь день команда монтировала новый лагерь и тридцать два часа спустя уже праздновала новоселье. Эсквана все еще спал, а Порлока продолжали накачивать наркотиками, зато все остальные воспрянули духом.

— Здесь можно дышать спокойно! — периодически облегченно вздыхал каждый.

Осден встал с постели и на дрожащих от слабости ногах доковылял до двери. Там он остановился и долго-долго смотрел на волнующееся в вечерних сумерках море трав, которые на самом деле травами не являлись. Ветерок пах пылью и шуршал в траве. А больше — ни звука. Эмпат не

двигался. Настала ночь, и в небе загорелись звезды, заглядывая в окна самого обособленного в мире человеческого дома. Ветер улегся, и наступила полная тишина. Сенсор слушал.

Томико Хайто тоже напряженно вслушивалась в ночь. Она лежала, вытянувшись, на постели и слушала, как кровь бьется в ее артериях; она слушала дыхание спящих, легкие порывы ветра, бег черных мыслей, мягкие шаги приближающихся снов, плавное движение Вселенной к большому взрыву, вкрадчивую поступь смерти. Но долго этого выносить она оказалась не в силах и, вскочив с постели, почти сбежала из тесного крошечного мирка своей комнатки.

Нынешней ночью из всей команды спал лишь Эсквана. Порлок, спеленутый смирительной рубашкой, ворочался, пытаясь выпутаться, и ругался на чем свет стоит на своем родном языке. Оллероо с Дженни Чонг с унылыми лицами играли в карты. Посвет Ту заперлась в блоке физиотерапии. Аснанифоил рисовал мандалу. Маннон с Харфексом сидели в комнате Осдена.

Томико сменила ему повязку на голове и только сейчас обратила внимание на то, что его рыжеватые волосы выглядят несколько необычно — в них появились седые пряди. Ее руки задрожали. Все молчали.

— Откуда и здесь появиться страху? — вспорол тишину ее резкий голос.

— Не только деревья; травы тоже...

— Но мы же в двадцати тысячах километров от места, где были сегодня утром. Мы на другой стороне планеты.

— А, это все равно, — угрюмо произнес Осден. — Это один большой зеленый организм. Много ли потребуется времени, чтобы отфутболить мысль из одного конца мозга в другой?

— Оно не может думать. Оно на это не способно, — по привычке возразил Харфекс. — Это всего лишь сеть, по которой идут некие процессы. Все эти переплетающиеся ветви, вездесущие эпифиты, корневые узлы — все это способно лишь передавать электрохимические импульсы. Если выразиться точнее, то тут нет отдельных растений как таковых. Это единая система, а пыльца, разносимая ветром, служит своеобразным способом связи между континентами. Нет, в это невозможно поверить. Не может вся биосфера планеты быть единой коммуникативной сетью. Причем осязающей,

но не обладающей сознанием, бессмертной и изолированной...

— Изолированной... — повторил Осден. — Вот оно! Вот откуда страх. Дело не в том, что мы способны передвигаться или можем нести разрушение. Дело в том, что мы просто есть. Мы — нечто иное. Чужое. Здесь никогда не было ничего чужого, отдельного от этого мира.

— Ты абсолютно прав, — почему-то шепотом поддержал его Маннон. — Оно никогда не имело равных себе. Не имело врагов. Оно ни с кем не общалось, кроме себя самого. Оно всегда было одно и вообразить себе не могло, что существует кто-то еще.

— Тогда, интересно, как отражается его самость на борьбе видов за выживание?

— Может, и никак, — ответил Осден. — С чего это ты полез в телеологию, Харфекс? Ты что, хайнец, что ли? Чем заковыристей задачка, тем больше кайфа с ней возиться?

Но Харфекс никак не прореагировал на укол. Было похоже, что он сломался.

— Мы должны убираться отсюда, — грустно сказал он.

— О, вот теперь-то ты понял наконец, почему я всегда так стремился убраться от вас всех подальше, оградить себя от вашего присутствия, — с болезненной настойчивостью вернулся Осден к своей проблеме. — Ведь что приятного в том, что все бояться кого-то?.. И если бы это касалось только животных. С ними я как раз могу справиться. Да я уживусь скорее с тигром или коброй — более развитый интеллект даст мне определенные преимущества. Мне лучше работать в зоопарке, чем в человеческом коллективе... Если бы я только мог справиться с этим чертовым тупым овощем! Если б только он был не таким огромным и подавляющим!.. Сейчас я воспринимаю от него только все тот же панический страх. Но раньше, до всего, я ведь ловил его безмятежность и спокойствие! Тогда я еще не понимал его и потому не мог настроиться на прием. Я не знал, как он огромен. Это то же самое, как попытаться воспринять весь солнечный свет сразу или осознать ночь. Все ветра и штили одновременно. Зимние звезды и летние звезды в один единый момент бытия. Привыкнуть иметь корни, но зато — ни единого врага. Быть целостным. Понимаешь? Некому на тебя посягать. Нет ни одного врага. Быть полностью...

«Он никогда так откровенно не говорил раньше», — подумала Томико а вслух сказала:

— Ты беззащитен перед ним, Осден. Он влияет на тебя, на твою личность. И ты уже меняешься. Если мы немедленно отсюда не улетим, то первым, кто сойдет здесь с ума, будешь ты.

Он не ответил. Медленно-медленно повернул он голову в ее сторону и впервые за все время их знакомства встретился с Томико взглядом. И, не отводя от нее своих прозрачных, как вода, глаз, вдруг злобно усмехнулся:

— А много мне помог здравый смысл? Но твоя-то работа здесь не доделана, Хайто.

— Надо, надо убираться отсюда, — пробормотал Харфекс.

— А если я сдамся, — сказал Осден, словно размышляя вслух, — может, тогда мне удастся с ним связаться?

— Под «сдамся» ты подразумеваешь, — заметно волнуясь, осторожно заговорил Маннон, — насколько я тебя понял, отказ отсылать полученную эмоцию к ее источнику. То есть в данном случае, вместо того чтобы возвращать растительному существу его страх, попытаться абсорбировать его эмоцию. Но это либо убьет тебя на месте, либо отбросит обратно к твоему крайнему аутизму.

— Но почему? — удивился Осден. — Оно излучает неприятие. Но оно не обладает интеллектом, а я обладаю.

— У вас разные весовые категории. Разве способен мозг одного человека достичь взаимопонимания со столь огромным и чуждым разумом?

— Мозг одного человека способен постичь принцип строения Вселенной, — отпарировала Томико, — и выразить его одним словом — «любовь».

Маннон с удивлением смотрел на обоих, не зная, что ответить. Молчал и Харфекс.

— В лесу мне будет легче, — сказал Осден. — Кто-нибудь из вас полетит со мной?

— Когда?

— Теперь же. Пока никто не успел свихнуться и впасть в буйство.

— Я полечу, — сказала Томико, и одновременно с ней Харфекс заявил:

— Никто не полетит.

— Я не могу, — замялся Маннон. — Я... я боюсь. Я могу разбить вертолет.

— Надо взять с собой Эсквану. Если мне удастся выйти на связь, он может послужить нам медиумом.

— Координатор, вы одобряете план сенсора? — официальным тоном спросил Харфекс.

— Да.

— А я нет. Но полечу с вами.

— Думаю, мы это переживем, Харфекс. — Томико не отрывала глаз от лица Осдена. Эта белая уродливая маска преобразилась на глазах и сейчас притягивала ее взгляд выражением страстного нетерпения юного любовника, стремящегося на первое свидание.

Оллероо и Дженни Чонг, все еще пытающиеся отвлечься от своих страхов игрой в карты, вдруг разом затрепали, как перепуганные дети:

— Но эта тварь в лесу навалится на вас и...

— Что, боитесь темноты? — осклабился Осден.

— Но посмотрите на Эсквану, Порлока... Даже Аснани-фоил...

— Вам оно не причинит никакого вреда. Это не более чем импульс, пробегающий между синапсами. Ветер, колышущий ветки. Страшный сон.

Спящего Эсквану погрузили на заднее сиденье, а Томико села за пульт управления. Харфекс и Осден молча смотрели на постепенно растущую на горизонте тонкую полосу леса, все еще отделенную от них милями и милями серой равнины.

Наконец они долетели до границы смены цвета, пересекли ее, и теперь под ними расстиралось темное, почти черное море листьев.

Томико стала выискивать место для приземления. Она спускалась все ниже и ниже, несмотря на то что все в ней противилось этому, несмотря на страстное желание улететь отсюда подальше. Здесь, в лесу, мощь излучения была намного сильнее. Людей то и дело пронизывали темные волны отторжения и неприятия. Впереди показалось светлое пятно: макушка холма, слегка возвышающаяся даже над самыми высокими из окружавших ее темных крон не-деревьев, корневых систем, частей одного целого. Томико направила вертолет туда. Но посадка прошла довольно плохо — пальцы скользили, словно были намазаны сухим мылом.

Лес сомкнулся вокруг — черный в ночной темноте.

Томико окончательно струсила и закрыла глаза. Эсквана застонал во сне. Харфекс дышал как паровоз, но даже не

пошевелился, когда Осден, перегнувшись через него, распахнул дверь.

Эмпат встал; его спина и повязка на голове были едва различимы в свете приборных лампочек панели управления. Он перешагнул через Харфекса и замер на секунду в дверном проеме.

Томико затрясло. Она скорчилась в кресле, не в силах даже поднять головы.

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, — шептала она. — Нет. Нет. Нет.

Осден скользнул вниз и растворился в обступившем вертолет мраке. Ушел.

«Я иду!» — прогремел беззвучный голос.

Томико закричала. Харфекс поперхнулся; он попытался привстать, но снова упал в кресло и больше не двигался.

Томико в ужасе нырнула внутрь себя и сконцентрировалась на центре своего существа — слепом глазе живота. Снаружи был только страх, страх, страх.

И вдруг он исчез.

Она подняла голову. Медленно расцепила судорожно сведенные пальцы. Потом села прямо. Ночь была очень темной, и над лесом горели звезды. И больше не было ничего.

— Осден, — позвала она, но из ее горла не вырвалось ни звука.

Она повторила попытку, и над холмом разнесся жалобный зов одинокой лягушки-быка. Ответа не было.

Только сейчас до нее стало доходить, что с Харфексом что-то не в порядке. Она зашарила в темноте, пытаясь найти его голову, — оказалось, что он сполз с сиденья. И вдруг в мертвой тишине кабины раздался голос:

— Хорошо.

Это был голос Эскваны. Томико включила внутренний свет и увидела радиоинженера, спящего в обычной скрюченной позе.

Его рот открылся и произнес:

— Все хорошо.

— Осден...

— Все хорошо, — повторили губы Эскваны.

— Где ты?

Молчание.

— Вернись.

Начал подниматься ветер.

— Я остаюсь здесь.

— Ты не можешь остаться...

Молчание.

— Ты будешь здесь одинок, Осден!

— Слушай. — Голос был слабым, слова — еле разборчивыми, словно их заглушало ветром. — Слушай. Я желаю тебе всего самого хорошего.

Томико снова стала звать его, но больше ответа не получила. Эсквана лежал неподвижно. А Харфекс был еще неподвижнее.

— Осден! — закричала она в ночную темноту, разрывая неустойчивое на ветру безмолвие лесосущества. — Я вернусь. Мне нужно срочно доставить Харфекса на базу. Я вернусь, Осден!

Тишина и шелест листьев на ветру.

Все необходимые исследования Мира-4470 восьмерка исследователей завершила через сорок одни сутки. Сначала Аснанифоил и женщины по очереди ежедневно летали на поиски Осдена в район той лысой горы, где он остался памятной всем ночью. Хотя Томико в глубине сердца так до конца и не была уверена, что правильно определила и указала место посадки, совершенной наобум, когда голова кружилась от страха. В этом безграничном лесу были и другие холмы. Исследователи оставили Осдену кучу тюков со всем необходимым: продуктов на пятьдесят лет, одежду, инструменты, палатку. Потом поиски прекратили — очень трудно в дебрях бесконечных древесных лабиринтов, в чьих темных коридорах полы пронизаны корнями, а стены сплетены из лиан, найти человека, который сам не хочет, чтоб его нашли. Они могли пройти мимо на расстоянии вытянутой руки и не заметить его в вечном сумраке, царящем в этих лесах.

Но он был жив — потому что страх исчез, словно его не было никогда.

Томико пыталась найти рациональное объяснение тому, что сумел сделать Осден, но никак не могла это сформулировать — слова разбегались, как тараканы. Он вобрал страх в себя и, приняв его, сумел преодолеть. Он отказался от себя самого, от своей сущности; он полностью растворился в чуждом ему мире, где нет места никакому злу. Он постиг искусство быть любимым и отдал себя всего, без остатка. Но рациональным это объяснение назвать никак нельзя.

Люди из «Запредельного Поиска» в последний раз шли под густой кроной, сквозь живую колоннаду, окруженные дремлющей тишиной и спокойствием, жизнью, едва ли осознающей их присутствие и полностью к ним равнодушной. Здесь не было времени. И расстояния не имели никакого значения. О, нам бы мира и времени вдосталь... Планета кружилась, сменяя солнечный свет великой тьмой ночи; ветра — что лета, что зимы — были прекрасны, и светлая пыльца летела легкими облачками над океанами.

После многих лет исследований и световых лет пути «Гам» вернулся на то место, где два столетия назад находился космопорт Смеинга. Но там все-таки нашлись люди, которые приняли отчеты команды (хоть и с большим скептицизмом) и списали потери: «Биолог Харфекс — умер от страха; сенсор Осден — остался в качестве колониста».

ВЫШЕ ЗВЕЗД

Большинство при словах «научная фантастика» представляет себе рассказ, который крутится вокруг какой-нибудь возможной или невозможной технологической штуковины — «зеленого сойлента», машины времени, подводной лодки. Это, конечно, научная фантастика, но ограничиваться в определении жанра такими рассказами — все равно что оставить от Соединенных Штатов один Канзас.

Когда я писала «Выше звезд», я думала, будто знаю, что делаю. Как и в раннем рассказе «Мастера», я вела речь не о приспособлении, машине или гипотезе, а о самой науке — о концепции науки. И о том, что происходит, когда концепция науки сталкивается с не менее могучими и совершенно противоположными ей идеями, воплощенными в правительства: так бывало, когда астрономия XVII века столкнулась с папством, или генетика в 1930-х — со Сталиным. Но я облекла рассказ в форму психомифа, истории вне реального времени, ни в прошлом, ни в будущем, отчасти чтобы сделать ее обобщением, отчасти потому, что наука у меня служит синонимом искусства. Что случится, если загнать творческий ум в подполье?

Вот такой вопрос я задала себе, и мне казалось, что я знаю ответ. Рассказ виделся мне простой аллегорией. Но под землей исследовать не так легко. Символы, которые казались простыми значками, оживают, обретают значения, о которых писатель не думал и объяснить их не может. Много позднее я наткнулась у Юнга в его «О природе души» на следующие строки: «Стоит представлять эго-сознание окруженным мириадами сияющих огней... Интроспективная интуиция... воспроизводит состояние бессознательного: звездные небеса,

звезды в черной воде, черная земля, смешанная с золотым песком». И он цитирует алхимика: «*Seminate aurum in terram albam foliatam*» — драгоценный металл, заключенный в слоях белой глины.

Быть может, это рассказ не о науке и не об искусстве, а о разуме, моем или чьем угодно, когда он оборачивается внутрь себя.

Деревянный дом и надворные постройки занялись сразу и в несколько миг^{ов} сгорели дотла, а вот купол обсерватории огню поддаваться не желал: покрытый толстым слоем штукатурки, с кирпичной обводкой, он покоился на мощном фундаменте. В конце концов они сложили разбитые телескопы, инструменты, книги, таблицы, чертежи в кучу посреди обсерватории, облили все это маслом и подожгли. Деревянная подставка большого телескопа загорелась, и в действие пришли его часовые механизмы. Крестьяне, собравшиеся у подножия холма, видели, как купол, белевший на фоне зеленоватого вечернего неба, вздрогнул и повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, а из прорезавшей купол щели повалил желтовато-черный дым и снопы искр — жутко смотреть.

Темнело. На востоке появились первые звезды. Громко прозвучали команды, и солдаты, угрюмые, в темных мундирах, цепочкой спустились на дорогу и в полном молчании ушли.

А крестьяне еще долго стояли у подножия холма. В их монотонной, убогой жизни пожар — великое событие, чуть ли не праздник. Наверх, правда, крестьяне подниматься не стали и, поскольку становилось все темнее, ближе и ближе жались друг к другу. Через некоторое время они начали расходиться по своим деревням. Некоторые оглядывались — на холме все было недвижимо. За куполом, похожим на улей, неторопливо кружились звезды, но купол не спешил привычно повернуться за ними вслед.

Примерно за час до рассвета по извилистой дороге, ведущей на вершину холма, промчался всадник. Возле руин, в которые превратились мастерские, он спрыгнул с коня и приблизился к куполу. Дверь обсерватории была выломана.

В проломе виднелся едва заметный красноватый огонек — это тлела мощная опорная балка, рухнувшая на землю и выгоревшая до самой сердцевины. В обсерватории было трудно дышать от кислого дыма. В дымной полутьме двигалась, отбрасывая перед собой тень, какая-то фигура. Иногда человек останавливался, наклонялся, потом неуверенно брел дальше.

Вошедший окликнул:

— Гуннар! Мастер Гуннар!

Странный человек застыл, глядя в сторону входа. Потом быстро выхватил что-то из кучи мусора и полуобгоревших обломков и механическим движением сунул находку в карман, глаз не сводя с двери. Потом подошел поближе. По-красневшие глаза человека почти скрывались меж распухшими веками, он дышал с трудом, судорожно хватая воздух; волосы и одежда его местами обгорели и были перепачканы пеплом.

— Где вы были?

Человек как-то неопределенно показал себе под ноги.

— Там есть подвал? Значит, там вы и спасались от огня? Ах ты, Господи, в землю ушел! Надо же! А я знал, я знал, что отыщу вас здесь. — Борд засмеялся каким-то полу-безумным смехом и взял Гуннара за руку. — Пойдемте. Ради Бога, пойдемте отсюда. Уже светает.

Астроном неохотно пошел за ним, глядя не на светлеющую полосу на востоке, а в щель купола, где все еще виднелось несколько ярких звезд. Борд буквально вытащил его из обсерватории, заставил сесть в седло, а потом, взяв коня под уздцы, быстро стал спускаться по склону холма.

Одной рукой астроном держался за луку седла. Другую руку — ладонь и пальцы ее были сожжены раскаленным докрасна обломком металла, за который он нечаянно схватился, роясь в куче мусора, — он прижимал к бедру. Прижимал бессознательно, потому что этой боли практически не ощущал. Порой, правда, органы чувств кое-что сообщали ему, например: *Я сижу на лошади. Становится светлее.* Но эти обрывки информации никак не складывались в целостную картину. Он задрожал от холода, когда утренний ветер поднялся и зашумел в темных деревьях, меж которыми вела их узкая тропинка, тонувшая в зарослях ворсянки и вереска; но и деревья, и ветер, и светлеющее небо, и даже холод — все это было для него чем-то посторонним, несущим

щественным, потому что сейчас он способен был видеть только одно: ночь, с треском разрываемую пламенем пожара.

Борд помог ему спуститься с коня. Теперь все вокруг было залито солнечным светом, солнечные блики играли на скалах, вздымавшихся над рекой. У подножия скал виднелась какая-то черная дыра, и Борд чуть ли не силой поволок его туда, в эту черноту. Там не было ни жары, ни духоты, наоборот — прохладно и тихо. Как только Борд позволил ему остановиться, он кулем повалился на землю — ноги уже не держали его; и, опершись своими дрожащими обожженными ладонями о землю, он почувствовал холод камня.

— Вот уж действительно — в землю ушел, клянусь Господом! — сказал Борд, разглядывая израненные рудокосами стены шахты, на которых плясал огонек его свечи. — Я вернусь. Ночью скорее всего. Не выходите наружу. И далеко вглубь тоже не забирайтесь. Это старая штольня, в этой стороне работы уже несколько лет не ведутся. А в старых штольнях всякое может быть — ямы, обвалы... Наружу все же ни в коем случае не выходите! Затаитесь. Как только уберут ищеек, мы переправим вас через границу.

Борд повернулся и в темноте стал пробираться к выходу. Давно уже стих звук его шагов, когда астроном наконец поднял голову и оглядел мрачные стены вокруг, освещенные лишь крошечной свечой. Чуть помедлив, он погасил ее. И тогда его со всех сторон обступила пахнущая землей тьма, непроницаемая и безмолвная. Перед глазами поплыли какие-то зеленые фигуры, золотистые пятна, медленно растворяющиеся во тьме. Эта плотная и прохладная темнота казалась целительной для воспаленных глаз и истерзанного мозга.

Если он и думал о чем-то, сидя там, во мраке, то мысли эти нельзя было облечь в словесную оболочку. Его знобило от чудовищного переутомления, от того, что он чуть не задохнулся в дыму и несколько раз сильно обжегся, и рассудок его, похоже, слегка помутился. Может быть, впрочем, голова его всегда работала не совсем так, как надо, хотя идеи порождала обычно ясные и светлые. Но разве нормально, например, чтобы человек двадцать лет убил на то, чтобы шлифовать линзы, строить телескопы, пялиться на звезды и что-то там считать, составляя таб-

лицы и списки, да еще рисовать карты таких миров, о которых никто и понятия не имеет, до которых никому дела нет, до которых вообще нельзя добраться, которые ни увидеть, ни потрогать нельзя. А теперь все это — плоды всей его жизни — погребло и в огне сожжено. Ну а то, что осталось от его собственной брэнной оболочки, только для могилы и годится. Да он, собственно, уже и так похоронен.

Однако мысль о том, что он уже в могиле, под землей, отчетливой не была. Гораздо сильнее ощущал он почти непосильное бремя гнева и горечи, оно разрушало мозг, подавляло рассудок. А вот темнота подземелья, казалось, даже облегчала эту тяжесть. К темноте он привык, ночью-то и начиналась для него настоящая жизнь. Сейчас вокруг были тяжелые глыбы, низкие своды глубокой шахты, но ненависть давит сильнее, чем толща гранита, а жестокость куда холоднее глины. Здесь же его окружала, обнимала чернота девственных глубин земных. Он, дрожа от боли, лег и отдался этим объятиям, потом боль отпустила, и он уснул.

Разбудил его свет. Это граф Борд зажег огнивом свечу. Лицо графа светилось оживлением: румяные щеки, веселые голубые глаза меткого стрелка и охотника, яркий рот, чувственный и упрямый.

— Они идут по следу, — сказал граф. — Они знают, что вам удалось спастись.

— Зачем?.. — сказал астроном. Голос его звучал глухо; горло и глаза все еще были сильно воспалены после пожара. — Зачем они преследуют меня?

— Зачем? Неужели вам нужны еще какие-то объяснения? Чтобы отправить вас на костер, разумеется! За ересь! — Голубые глаза Борда сверкали в полумраке, отражая свет свечи.

— Но ведь все и так разрушено, все, что я сделал, сгорело.

— О да, земля наконец остановлена! Но лису-то они упустили, а им непременно нужна добыча! Хотя черта с два я вас им отдам!

Глаза астронома, светлые и широко поставленные, уперлись в глаза графа:

— А почему?

— Вы меня, наверно, глупцом считаете, — сказал Борд с усмешкой, похожей скорее на волчий оскал — оскал волка

загнанного и готового защищаться. — Да я и впрямь веду себя глупо. Глупость сделал, что предупредил вас. Вы же все равно не послушались, как всегда. И глупо, что сам я вас слушал. Но мне так нравилось вас слушать. Мне нравились ваши рассказы о звездах, о путях планет и концах времен. А ведь другие говорили со мной только о семенном зерне или приплоде скота и ни о чем другом, понимаете? И вообще — я не люблю солдат и этих чужеземцев, я не люблю, когда людей допрашивают и сжигают на кострах. Вот вроде есть ваша правда, есть их правда, а что знаю о правде я? Разве я ученый, чтобы знать, где подлинная правда? Разве известны мне пути звезд? Может, правы вы. Может, они. Зато я точно знаю, что было такое время, когда вы сидели за моим столом и говорили со мной. Что же, прикажете мне теперь спокойно смотреть, как вас поведут на костер? Они говорят, что это святой огонь, он очищает, а вы называли огнями божьими звезды. Что же вы спрашиваете: «Почему?» Зачем задавать глупые вопросы глупцу?

— Простите, — сказал астроном.

— Что знаете вы о других людях? — продолжал граф. — Вы думали, они оставят вас в покое. И вы думали, что я допущу, чтобы вас сожгли. — Он смотрел на Гуннара, освещенный пламенем свечи, и ухмылялся, скаля зубы, как загнанный волк, но в голубых его глазах светилось веселье. — Ведь мы живем внизу, на земле, понимаете, а не там, среди звезд...

Борд принес трутницу, три сальные свечи, бутылку с водой, кусок горохового пудинга и холщовый мешок с хлебом. Он пробыл недолго и перед уходом снова предупредил астронома: ни в коем случае не выходить из шахты.

Очнувшись ото сна, Гуннар вновь ощутил какую-то странную тревогу, почти страдание. Но, в отличие от других, он страдал не от того, что вынужден прятаться в норе, под землей, спасая собственную шкуру. Страдания его были куда сильнее: он не мог определить времени.

Он тосковал вовсе не о настенных часах и не о сладостном перезвоне церковных колоколов в деревнях, сзывающих на утреннюю или вечернюю молитву, и не о точных и капризных часовых механизмах из его лаборатории, от которых в значительной степени зависели сделанные им

открытия; нет, тосковал он не об обычных часах, а о небесных.

Не видя неба, не определишь и вращения земли. Все явления времени — яркий круг солнца, фазы луны, кружение планет и созвездий вокруг Полярной звезды, смена знаков Зодиака — все это теперь утрачено для него, порвана основа, на которую ложились нити его жизни.

Здесь времени не было.

— Господи, — молился астроном Гуннар во тьме своего подземелья, — как хвала моя могла оскорбить тебя? Все, что когда-либо видел я в телескоп, — это лишь мимолетный отблеск твоего величия, мельчайший элемент созданного тобой Порядка. Не мог же ты взрывать к слабым моим знаниям, Господи. Да и верившие моему слову были поистине малочисленны. Может, напрасно дерзнул я описать, сколь велики деяния твои? Но как мог я удержаться, Господи, когда ты позволил мне увидеть бескрайние звездные поля свои? Мог ли я молчать, увидев такое? Господи, не карай меня снова, позволь мне восстановить хоть самый маленький телескоп. Я никому ничего не скажу, никогда больше не обнародую свои труды, раз они оскорбляют твою Святую Церковь. Я ни слова не произнесу об орбитах планет или природе звезд. Я буду нем, Господи, дай мне лишь видеть их!

— Какого черта! Потихе, мастер Гуннар. Я вас еще на полпути услышал, — раздался вдруг голос Борда, и астроном, открыв глаза, увидел свет его фонаря. — На вас устроили настоящую охоту. Теперь вы у нас колдун! Они клянутся, что видели вас спящим в собственном доме, когда запирали двери снаружи, но на пепелище костей ваших так и не нашли.

— Я действительно спал, — сказал Гуннар, прикрывая глаза. — Пришли они, эти солдаты... Мне давно уже следовало послушаться вас. Я спустился в подземный ход, ведущий в обсерваторию. Я его сделал для того, чтобы холодными ночами быстрее можно было добраться до камина и отогреть пальцы — они становились совершенно непослушными. — Он вытянул свои почерневшие, покрытые волдырями пальцы и рассеянно посмотрел на них. — Потом их топот послышался у меня над головой...

— Вот вам еще кое-какая еда. Что за черт! Вы что, так ничего и не ели?

— А разве уже много времени прошло?

— Ночь и день. Сейчас снова ночь. Дождь идет. Послушайте, мастер Гуннар, в моем доме сейчас живут двое — из этих черных ищеек. Слути Церкви, черт бы их побрал, и я еще должен оказывать им гостеприимство. Ведь это мое поместье, они здесь у меня в гостях. Мне сейчас трудно к вам приходиться. А никого из своих людей я сюда посылать не хочу. Что, если эти святые отцы спросят их: «Знаете, где колдун? Поклянетесь ли перед Господом, что не знаете, где он?» Так вот пусть лучше и не знают. Я приду — когда смогу. Как вам здесь, ничего? Еще немного потерпите? А там я вас мигом отсюда вытащу и за границу переправлю — пусть только эти двое из моего дома уберутся. И, пожалуйста, не говорите больше так громко, а то они настырные и вездесущие, как мухи. Вполне и в эти старые штольни заглянуть могут. Вам бы лучше подальше забраться. А я непременно вернусь. Ну что ж, с Богом. Счастливого оставаться, мастер Гуннар.

— С Богом, граф. Счастливого вам пути.

Еще раз сверкнули перед ним голубые глаза Борда, на неровных сводах шахты заплясали тени — это граф взял в руки фонарь и тронулся в путь. Потом все исчезло во мраке: Борд, дойдя до поворота, погасил фонарь; и Гуннар услышал, как он спотыкается и чертыхается, пробираясь к выходу.

Через несколько минут Гуннар зажег свечу и немного поел — сначала черствого хлеба, потом отщипнул корочку горохового пудинга, запивая еду водой из бутылки. На этот раз Борд принес еще три карава хлеба, немного солонины, еще две свечи и бурдюк с водой да еще толстый шерстяной плащ. От холода Гуннар в общем-то не страдал. На нем была та самая куртка из овчины, в которой он всегда работал холодными ночами в обсерватории, а то и спал, когда, спотыкаясь, добирался на рассвете до постели и не было сил раздеться. Это была очень теплая куртка, правда, немного обгоревшая на рукавах — это когда он рылся на педице — и вся перепачканная сажей, но по-прежнему родная, привычная, как собственная кожа. Он сидел, чувствуя ее тепло, ел и глядел за пределы хрупкого желтого круга света, образованного свечой, во тьму уходящего вдаль туннеля. В голове звучали слова Борда: «Вам бы лучше забраться подальше». Поев, он увязал продовольствие в плащ, взял узел в одну руку, в другую руку свечу и двинулся

в путь, уходя по боковой штольне куда-то вниз, в глубь земли.

Пройдя несколько сотен метров, он вышел к главному поперечному штреку, от которого отходило множество боковых, коротких, ведущих в довольно просторные пещеры. Он повернул налево и вскоре оказался в обширном помещении, имевшем как бы три уровня. Верхний был расположен под самым сводом, до которого оставалось всего метра полтора. Свод был хорошо укреплен деревянными столбами и балками. В самом дальнем углу, за мощным столбом кварцевой породы, оставленным рудокопами в качестве дополнительной подпорки, он устроил новое логово: вытащил из узла трутницу, свечи, продукты, воду и разложил все так, чтобы легко можно было найти в темноте, а плащ расстелил на полу, прямо на осколках выработанной породы. Потом потушил свечу, которая уже на четверть стала короче, и лег в полной темноте.

Он уже три раза побывал в том, первом туннеле, но никаких следов Борда там не обнаружил; тогда, вернувшись в свой лагерь, Гуннар стал исследовать припасы. Имелось в наличии: два карава хлеба, полбурдюка воды и солонина, к которой он и не притрагивался, и еще четыре свечи. Он предполагал, что последний раз Борд приходил дней шесть назад, впрочем, с тем же успехом могло пройти и три дня, и восемь... Его томила жажда, но он не осмеливался напиться вдоволь, поскольку воды оставалось мало, а источника рядом не было.

И он решил искать воду.

Сначала он считал шаги. Через сто двадцать шагов, обнаружив, что крепления сильно обветшали и почти не держат породу, кусками которой проход наполовину засыпан, он вышел к вертикальному стволу шахты, где еще сохранилась ветхая деревянная лестница. Однако, спустившись на следующий горизонтальный уровень, он забыл про счет и пошел так. Здесь он сначала нашел рукоять сломанной кирки, потом — брошенную шахтерскую каску, за обручем которой все еще торчал огарок свечи. Он сунул огарок в карман и пошел дальше.

Он все шел и шел вперед как заведенный, одурев от монотонного движения по одинаковым с виду туннелям с деревянными креплениями. За ним по пятам следовала тьма, обгоняла его, уходила вперед.

Свеча почти догорела, на пальцы, обжигая их, потек горячий свечной жир. Гуннар выронил огарок, и тот потух.

Опустившись на четвереньки, он стал шарить во внезапно обступившей его тьме, задыхаясь от вонючего свечного дыма, и, когда на минутку поднял голову, чтобы вдохнуть свежего воздуха, прямо перед собой, впереди увидел далекие звезды.

Яркие крошечные точки, словно заглянувшие сюда сквозь какое-то отверстие, напомнившее ему крышу обсерватории с длинной черной щелью, заполненной звездами.

Он встал и, совсем забыв про потухшую свечку, бросился к звездам.

Они двигались, плясали, расплывались, как в трубке телескопа, когда что-то мешало настройке часового механизма или у самого Гуннара начинали от усталости слезиться глаза. Танцуя, звезды вспыхивали ярким светом.

Наконец он оказался прямо среди них, и они с ним заговорили.

Пламя свечей отбрасывало причудливые тени на их лица, почерневшие от пыли и копоти, в живых, любопытных глазах зажигались огоньки.

— Ага, вот он! Кто это, Ганно?

— Эй, приятель, что тебе-то тут понадобилось, в этой старой шахте, а?

— Уй, а это еще кто?

— Какого черта... остановите его...

— Эй, приятель, осторожней!

Ничего не видя перед собой, он бросился обратно, во тьму, туда, откуда пришел. Огни преследовали его, а перед ним вниз по туннелю бежала его собственная неясная огромная тень. И когда прежняя темнота проглотила тень и вновь стало тихо, он все еще продолжал неловко бежать, спотыкаясь и падая, порой двигаясь вперед на четвереньках или согнувшись и помогая себе одной рукой. В конце концов он бесформенной кучей рухнул у стены. В груди горело огнем.

Тишина, темнота...

Он отыскал в трутнице, которую носил в кармане, огарок свечи, зажег его огнивом и тут обнаружил, что находится не более чем в пятнадцати метрах от вертикального ствола шахты. Он побрел обратно в свое логово. Там поспал, потом, проснувшись, поел и выпил всю оставшуюся

воду — это означало, что необходимо будет встать и отправиться на поиски воды; потом, наверное, снова заснул или задремал, и во сне ему почудился голос, который разговаривал с ним.

— Вот ты где, оказывается. Ну хорошо, не бойся. Я тебе зла не причиню. Говорил ведь я, что никакой это не горный эльф. Разве видал кто горного эльфа ростом с человека? Да и кто их вообще видал-то? Нет, парни, видеть-то их как раз и невозможно, сказал я им. А это мы человека видели, точно вам говорю. «Так чего ему в шахте-то надо, — спросили они, — а вдруг это привидение, а может, один из тех, что утонули, когда в южной штольне прорвалась плотина, тут бродит?» Ну ладно, сказал я тогда, пойду и сам все разузнаю. Я еще ни разу в жизни привидения не видел, правда, слыхал о них. Вообще-то меня не больно тянет глядеть на то, чего видеть нельзя, — на горный народец, например, — но разве плохо еще разок Тимона повидать или старого Трипа, все равно во сне-то я их частенько вижу, а это почти что одно и то же; глядишь, работают себе в забое, а лица от пота так и блестят — как в жизни. Чего ж не посмотреть на них? Я и пошел. Но ты вроде и не привидение, и не шахтер. Может, ты дезертир или вор? А может, сумасшедший? Эх ты, бедняга. Не бойсь. Прячься себе, коли нравится. Мне-то что. Тут нам с тобой места хватит. Но почему ты от солнышка-то прячешься?

— Солдаты...

— Вон оно что. Так я и думал.

Старик понимающе закивал, и пламя свечи, укрепленной у него надо лбом, запрыгало по сводам шахты. Он сидел на корточках, метрах в трех от Гуннара, свесив руки между коленями. С пояса свисали пучок свечей и кирка с короткой рукоятью — отлично сработанный инструмент. Лицо его и вся фигура в беспокойном свете свечи казались сотканными из резких теней и были того же цвета, что и стены шахты.

— Позвольте мне остаться здесь.

— Да ради Бога, оставайся! Разве эта шахта моя? Ты вошел-то где, небось в старой штольне над рекой? Повезло тебе, ничего не скажешь, твое счастье, что повернул в эту сторону, а не на восток. На востоке — пещеры! Большие пещеры, слыхал? Да никто о них и не знает, кроме шахтеров. Пещеры эти нашли еще до того, как я родился, старую

жилу разрабатывали, которая шла точнехонько по солнцу. Я эти пещеры один раз видел: отец меня с собой брал, говорил, надо и тебе разок посмотреть. Надо, говорил, поглядеть на чудо это — еще один мир под нашим миром. А громадные они — сил нет! До дна, как до неба, не достанешь, и черная река водопадом вниз все падает и падает, и, сколько свечой ни свети, не увидишь куда. И звук от этого водопада из темноты наверх выходит тихий, как шепот, и бесконечный. А за одной пещерой другая, третья и множество их — вверх и вниз, кто его знает, где они кончаются. Пещера над пещерой, а кругом все сверкает — сплошной кварц. Правда, одна пустая порода. А здесь кругом все выработано давным-давно. Так что, парень, ты тут надежно спрятался, да вот на нас наткнулся. Ты чего искал-то? Поесть? А может, человеческое лицо увидеть захотелось?

— Воду.

— Да ее тут полно. Пойдем покажу. В нижней штольне сколько хочешь ключей. Ты просто не туда свернул. Когда-то я тут в ледяной воде по колено вдоволь настоялся, пока жила не иссякла. Давно это было. Ну пошли.

Старый рудокоп, показав источник, проводил Гуннара обратно и предупредил, что дальше по течению ручья идти опасно, потому что крепления наверняка сгнили и могут рухнуть даже от звука шагов, тогда жди обвала. Все деревянные столбы на берегу источника обросли сверкающими белыми кристаллами, мохнатыми, словно шерсть, — может, селитра, а может, какая-то разновидность плесени. Над маслянистой поверхностью черной воды выглядело это довольно жутко. Вновь оставшись в одиночестве, Гуннар подумал, что ему, должно быть, приснился этот странный белый туннель, заполненный черной водой, а также и рудокоп, приходивший сюда. Увидев далеко внизу в туннеле мелькнувший огонек, он скрючился за кварцевым выступом, зажав в руке увесистый кусок гранита: внезапно страх, гнев, горечь слились здесь, в этой темноте, воедино, породив четкое решение — он никому больше не позволит поднять на него руку. Решимость эта была слепой, тяжелой и мрачной, как камень, зажатый в его руке, и давила на душу.

Но это оказался всего-навсего старый рудокоп, и он принес Гуннару толстый кусок сухого сыра.

Они сидели рядом и разговаривали. Гуннар с аппетитом ел сыр, потому что еды у него уже совсем не осталось, и слушал старика. И чувствовал, что от этого на душе становится чуточку легче и даже будто бы легче становится видеть в темноте.

— А ведь сам-то ты не из солдат, — сказал старик, и Гуннар ответил, что когда-то был студентом, но больше объяснять ничего не стал, не смея сказать, кто он на самом деле. Старик знал все, что происходит в округе; он рассказывал и о том, как сожгли Круглый Дом на холме, и о графе Борде.

— Эти, в черных рясах, увезли его в город; говорят, там он предстанет перед советом Святой Церкви и его будут судить и пытаться. А за что пытаться-то? Что он такого сделал? Охотился себе на кабанов, оленей да лисиц. Тогда уж пусть его лисицы и судят. И вообще, кругом что-то непотребное делается: черные эти всюду вынюхивают, солдат понагнали, жгут дома, людей пытаются... Оставили бы честных людей в покое. Граф этот тоже хороший был человек, очень даже. Хоть и богатый. Справедливый господин, ничего не скажешь. Вот только верить-то никому нельзя, никому. Это только в шахте людям верить можно, тем, кто каждый день под землю спускается. На что человеку тут надеяться — разве что на собственные руки да руки товарищей. Чем тут от смерти спасешься, если обвал случится, крепей не выдержит, если засыпет тебя, — только товарищи и помогут, их кирки да воля железная. Там, наверху, под солнцем никакого серебра и в помине бы не было, если бы здесь, внизу, в темноте не было между нами доверия. Здесь у тебя друзья надежные. Да сюда только такие и спускаются, других тут нет. Виданное ли дело, чтобы владелец рудника в своих кружевных манжетах полез по лестнице в шахту или те же солдаты — все вниз да вниз, в темноту как в колодец? Ну уж нет! Эти не полезут! По траве-то они все бегать горазды, а что толку от их мечей да крика здесь, в темноте? Поглядел бы я, как они тут побегают...

В следующий раз старик привел с собой еще одного человека, и они принесли Гуннару масляную лампу и глиняный кувшин с маслом, а еще — сыру, хлеба и несколько яблок.

— Это Ганно в голову пришло — лампу-то захватить, — сказал старик. — Фитиль у нее из пеньки, ежели гаснуть

начнет, дунь как следует, она и разгорится. Вот тут еще дюжина свечей. Пер-младший постарался, порядком натащил их из раздаточной.

— И все они знают, что я здесь?

— Мы знаем, — коротко ответил старик, — мы, а не они.

Несколько дней спустя Гуннар вновь прошел по нижнему коридору шахты на запад, до того места, где впервые встретил шахтеров с пляшущими как звезды огоньками свечей на касках, и подошел к ним. Рудокопы пригласили его разделить с ними нехитрую трапезу; провели по туннелям, показали насосы и основной ствол с лесенками и корзинами, висящими на подъемных блоках. Ветер, проникавший в ствол шахты, пахнул, как ему показалось, дымом пожарища, и он отшатнулся. Они вместе вернулись в штольню. Рудокопы позволили ему поработать вместе с ними и обращались с ним как с гостем или с ребенком. Он стал их приемышем, их тайной.

Что ж хорошего — по двенадцать часов в день копать в черной норе под землей и знать, что ничего своего у тебя там нет: ни тайны, ни клада, ничего.

Разумеется, они добывали под землей серебро. Но жила истощилась, и там, где когда-то трудилось одновременно десять команд по пятнадцать человек в каждой и не смолкал грохот, скрип и стук нагруженных корзин, влекомых вверх скрипучей лебедкой, и шлепки падающих вниз пустых, теперь работали всего восемь рудокопов. Всем за сорок — считай, пожилые. Это были те, кто не знал другого ремесла, кроме шахтерского. Здесь, в твердых гранитах материнской породы, в разбегающихся тоненьких жилочках оставалось еще немного серебра. Иногда за две недели работы им удавалось продвинуться вперед едва ли на фут.

— Большой был рудник! — говорили они с гордостью.

Они показали астроному, как прилаживать клин и наносить удар молотом, как потом продвигаться с помощью прекрасно сбалансированной и острой кирки вдоль жилы, проходящей в граните, как выбирать и дробить руду, что в ней искать, как найти редкие светлые жилочки чистого серебра, хрупкого драгоценного металла. Теперь он помогал им каждый день. Он уже с утра поджидал их в забое и потом был на подхвате то у одного, то у другого — копал, точил инструмент, таскал тележки с рудой вниз к главному стволу

или работал в забое. Но в забой они не очень-то его пускали — не позволяли гордость и многолетняя привычка. «Эй, а ну кончай стучать тут, как дровосек! Смотри, вот как надо, понял?» Но в тот же миг кто-то другой подзывал его: «Браток, вдарь-ка вот здесь, по клину, ага, в самый раз будет».

Они кормили его той же грубой непритязательной пищей, что ели сами.

Ночью, когда все остальные поднимались по длинным лестницам наверх, «на травку», как они это называли, он оставался в пустых штольнях один, лежал и думал о них, вспоминал их лица, голоса, их тяжелые, покрытые шрамами, пахнущие землей руки, — руки стариков с толстыми ногтями, почерневшими от гранитной пыли и железа; он вспоминал эти руки, умные и чуткие, что сумели открыть земные недра и извлечь светоносное серебро из несокрушимой каменной породы. То самое серебро, которого потом и в руках не держали и уж тем более никогда не тратили на себя самих. То самое серебро, которое им не принадлежало.

— А если вы обнаружите новую жилу, что делать станете?

— Вскроем да хозяевам скажем.

— А зачем им говорить?

— Ну, парень! Нам платят-то ведь за то, что мы выдаем на-гора! Ты что, думаешь, мы этой треклятой работенкой занимаемся потому, что она нам так уж нравится?

— Да.

Они смеялись над его словами громко, беззлобно, как дети. На перепачканных грязью и потом лицах светились живые глаза.

— Да, вот бы нам с новой жилой подвезло! Жена моя тогда б снова поросенка завела, мы уж как-то держали одного. А я, клянусь Господом, в пиве бы купался! Но если здесь когда и было серебро, то его все уже давно выбрали; они потому так далеко к востоку и продвинулись. Но там одна только пустая порода, да и здесь уж куда как не густо.

Время расстиралось вокруг него подобно бесконечным темным туннелям шахты, которые порой, когда он останавливался на каком-то их перекрестке с крошечным огарком свечи в руках, вдруг становились видны все сразу. Теперь,

оставаясь один, астроном часто бродил по старым штольням и штрекам, хорошо зная все их опасные места — заполненные водой нижние коридоры, шаткие лестницы, тесные проходы. Он бродил и любовался игрой света на стенах и выступах, блеском слюдяных вкраплений, которые казались огоньками, мерцающими в толще каменных глыб. Почему иногда свет свечи отражается так странно, спрашивал он себя, будто находит там, в глубине какой-то дополнительный источник отражения, там, за неровной блестящей слюдяной поверхностью, где что-то словно светится, подмигивает и тут же снова прячется, нечаянно выскользнув, как из-за облака, из-за невидимого ядра планеты?..

«Под землей есть звезды, — думал он. — Нужно только суметь их разглядеть».

Неловкий при работе киркой, он прекрасно разбирался во всяких механизмах; рудокопы преклонялись перед его мастерством и тащили ему разные детали и инструменты. Он починил насосы и лебедки; подвесил на цепи специальную лампу с отражателем — для Пера-младшего, работавшего в длинном и узком штреке. Отражатель он изготовил из старого обруча для свечи, который сперва старательно расплющил, потом соответствующим образом согнул и до блеска отполировал клочком овечьей шерсти, выдранной все из той же куртки.

— Чудо какое! — говорил Пер. — Светло прямо-таки как днем, одно нехорошо: лампа-то позади меня светит, у выхода, и не гаснет, когда воздух в забое совсем уж никуда не годится и пора мне вылезти и отдышаться.

Дело в том, что свеча обычно гаснет от недостатка кислорода в узком забое раньше, чем человек почувствует удушье.

— Вам бы здесь надо воздуходувные мехи установить.

— Это как в кузне, что ли?

— Примерно. А почему бы и нет?..

— Ну а ночью, ночью неужели ты никогда так и не поднимаешься наверх, на травку? — спросил как-то Ганно, грустно глядя на Гуннара. Ганно был несколько меланхоличным, задумчивым и добрым парнем. — Ну просто поглядеть, а?

Гуннар не ответил. Пошел помогать Брану с крепежом; теперь артели самой приходилось делать все, что раньше

для нее делали крепежники, откатчики, сортировщики и многие другие.

— Он до смерти боится выйти из шахты, — сказал Пер, понизив голос.

— Ну просто чтобы на звезды посмотреть да на ветру постоять, — сказал Ганно, будто по-прежнему обращаясь к Гуннару.

Однажды ночью астроном вытащил и разложил перед собой все, что хранилось в его карманах с той ночи, когда сожгли обсерваторию; все это он подобрал за те часы, когда, спотыкаясь, бродил по пепелищу и искал... искал утраченное... О самой утрате он с тех пор не думал. На этом месте в его памяти образовался толстый, словно после глубокого ожога, шрам. В течение долгого времени шрам этот мешал ему понять, что за предметы лежат теперь перед ним в рядок на пыльном каменном полу шахты: пачка сильно обгоревших с одного края листов бумаги, круглая пластинка из стекла или прозрачного камня, металлическая трубка, искусно выточенное из дерева зубчатое колесо, кусок какой-то почерневшей и погнутой медной пластины с тонким рисунком и так далее и тому подобное — куски, обрывки, обломки... Он сунул бумаги обратно в карман, так и не попытавшись разобрать наполовину обгоревшие хрупкие листки и прочитать написанное на них изящным почерком. Он продолжал смотреть на остальные предметы и время от времени брал какой-нибудь в руки и изучал его, особенно часто — стеклянную пластинку.

Он узнал окуляр от своего десятидюймового телескопа. Он сам полировал для него линзы. Подняв окуляр с земли, астроном держал его бережно, за самые краешки, чтобы кислота с пальцев не испортила поверхности линз. Потом стал полировать их, доводя до блеска, кусочком все той же мягкой чудесной овечьей шерсти из куртки. Когда стекла стали почти невидимыми, он поднял окуляр и стал смотреть на него и сквозь него под разными углами. Выражение лица его было спокойным и сосредоточенным; взгляд светлых широко поставленных глаз неподвижен.

Поворачиваемый его пальцами окуляр отразил свет лампы и собрал его в одно яркое крошечное пятнышко у самого своего края — словно линзы когда-то, еще в те ночи,

когда телескоп был обращен к небесам, поймали одну из звезд и держали ее в своем плену.

Он осторожно завернул окуляр в клочок шерсти и спрятал рядом с трутницей в одной из каменных ниш в стене шахты. Потом стал брать и рассматривать один за другим остальные предметы, лежавшие перед ним.

В течение последующих недель шахтеры все реже видели таинственного своего знакомого. Он предпочитал одиночество; им говорил, что исследует заброшенные восточные туннели.

— Зачем это?

— Просто разведать хочу, — говорил он, и на губах его возникала короткая дрожащая улыбка, придававшая астроному несколько безумный вид.

— Эх, парень, ничего ты там путного не найдешь! Там одна пустая порода. Серебро все повыбрали; да там, на востоке, и жилы-то ни одной стоящей не было. Может, конечно, и попадется тебе немного руды или оловянный камень, да только копать там нечего.

— А как ты узнаешь, что у тебя под ногами, в толще камня, Пер?

— Приметы знаю, парень. Да и кому про это знать-то, как не мне?

— А если примет не находишь?

— Тогда и серебра не найду.

— И все-таки ты знаешь, что оно где-то здесь, раз чувствуешь, где копать, раз видишь вглубь, сквозь камень. А что там еще, в этой глубине? Ты находишь металл, потому что именно его ищешь и ради него долбишь камень. А разве нельзя в глубинах земных, куда больших, чем эта шахта, найти что-то еще? Если специально искать, если знать, где копать?

— Камень, — сказал Пер. — Камень, камень и еще раз камень.

— А дальше?

— Дальше? Адский огонь, наверно. Иначе почему же в штольнях, чем глубже они уходят вниз, становится все жарче и жарче? Во всяком случае, так говорят. Вроде как мы к аду ближе, чем другие.

— Нет, — сказал астроном громко и уверенно. — Нет. Там, под толщей камня, ада нет.

— Тогда что же там такое — под нами?

— Звезды.

— Ага... — смутился шахтер и почесал всклокоченную голову. Потом усмехнулся. — Ну и задачка!

Он уставился на Гуннара со странной смесью жалости и восхищения. Он знал, что Гуннар безумен, но не предполагал, что безумие это достигло такой силы, что невольно вызывает восхищение.

— Тогда, может, ты их отыщешь, звезды эти?

— Если сумею найти способ, — ответил Гуннар так спокойно, что Перу ничего не оставалось, как промолчать и снова взяться за заступ.

Однажды утром, спустившись вниз, рудокопы увидели, что Гуннар все еще спит, укутавшись в поношенный плащ, одолженный ему некогда графом Бордом, а рядом с астрономом лежит странный предмет — какая-то штуковина из серебряных трубочек, скрепленных проволочками и полосками жести, вырезанными из старых держалок для свечей с шахтерских касок; рамка выпиlena из отломанной ручки кирки и тщательно отделана; а еще там было зубчатое колесико и кусочек мерцающего стеклышка. Штуковина казалась ужасно хрупкой. какой-то невзаправдашной, загадочной.

— Что это за чертовщина такая?

Они стояли вокруг спящего и смотрели то на штуковину, дружно освещая ее своими фонарями, то на Гуннара, и тогда желтый огонек чьей-то свечи перескакивал на его лицо.

— Это уж, конечно, он сделал.

— Да кто ж еще.

— Зачем только?

— Не трогай!

— И не собирался.

Разбуженный их голосами, астроном сел. Желтоватый свет свечей сосредоточился на его лице, белевшем на темном фоне стены. Он протер глаза и поздоровался с шахтерами.

— Что это за штука такая, парень?

Он казался взволнованным или смущенным — понял, чем вызвано их любопытство. Он прикрыл загадочный инструмент рукой, словно желая защитить, а сам смотрел на него так, словно никак не мог узнать. Потом с трудом, едва слышно сказал:

— Это телескоп.

— А что это такое?

— Это такое устройство, которое позволяет ясно видеть далекие предметы.

— А как такое может быть? — озадаченно спросил один из рудокопов.

Астроном ответил уже более уверенно:

— Благодаря некоторым свойствам света и увеличительных стекол. Человеческий глаз — инструмент тоже тонкий, но по крайней мере половина Вселенной для него не видима, даже куда больше половины. Мы говорим, что ночью небо черное, ведь между звездами все кажется пустым и черным. Но направьте глаз телескопа на эту пустоту — и вот они, новые звезды! Далекие, светящиеся слишком слабо, чтобы невооруженный глаз мог разглядеть их, но бесчисленные, бесконечные созвездия, сказочное сияние — до самых недосягаемых границ Вселенной. Вопреки тому, что кажется вам, любая тьма всегда содержит в себе свет, великое торжество солнечных лучей. Я это видел. Я каждую ночь видел это, я составлял карты расположения звезд — маяков Господа нашего на берегах тьмы. И здесь тоже есть свет! Не существует уголка, вовсе лишенного света, страдания и вечного сияния души Всевышнего. Нет на земле такого места, что было бы отвергнуто Богом, покинуто им, позабыто, оставлено во тьме кромешной. Куда обращались очи Господни — там всюду свет. Мы должны идти дальше, видеть глубже! И непременно найдем свет, если захотим. Искать же надо не только глазами, но и при помощи умелых рук, знаний наших и сердечной веры; можно невидимое сделать видимым, сокрытое явным. И вся наша темная земля тоже наполнена светом, как уснувшая звезда.

Он говорил с той убежденностью, которая, как знали шахтеры, по праву принадлежит проповедникам, великим Проповедникам, чьи слова обычно звучат под гулками сводами соборов. Речи его как бы не имели отношения к той мерзкой дыре, где рудокопы добывали свой хлеб насущный: иная жизнь виделась в словах скрывающегося от мира безумца.

Позже, обсуждая это друг с другом, они лишь горестно качали головами. «Безумие его растет», — сказал Пер, а Ганно промолвил: «Добрая у него, бедняги, душа!» И все же не

нашлось среди них ни одного, кто хотя бы отчасти не поверил словам астронома.

— Покажи, как оно работает, — попросил как-то старый Бран, застав Гуннара в глубокой восточной штольне наедине со своим загадочным инструментом. Именно Бран тогда, в первый раз, пошел за Гуннаром, принес ему еды и отвел к остальным.

Астроном охотно подвинулся и показал Брану, как держать инструмент, нацеленный куда-то вниз, в пол шахты, и научил искать объект и настраивать фокус, и попытался объяснить принципы действия прибора, и рассказал, что Бран может увидеть; все это он делал неуверенно, так как не привык объяснять столь сложные вещи неграмотному человеку, но достаточно терпеливо, даже если Бран понимал не сразу.

Старик долго и торжественно разглядывал пол шахты и наконец сказал:

— Ничего не вижу, одна земля да пыль, да камушки.

— Может, лампа тебя слепит? — смиренно спросил астроном. — Лучше смотреть в полной темноте. Я-то и так могу, уже наловчился. В конце концов, и здесь все дело в привычке и умении. Вот у вас все в забое с одного раза получается, а у меня никогда.

— Да, пожалуй... Скажи, а что видишь ты?.. — Бран колебался. До него только недавно дошло, кто Гуннар на самом деле. Ему было все равно, еретик он или нет, но то, что Гуннар — человек образованный, мешало Брану называть его «приятель» или «парень». И все же здесь, в шахте, да еще после всего, что вместе пережито, «господином» он назвать его не мог. Да и астронома это испугало бы.

Гуннар положил руку на рамку своего устройства и тихим голосом ответил:

— Там... там созвездия.

— А что такое «созвездия»?

Астроном посмотрел на Брана словно откуда-то из далекого далека и, помолчав, сказал:

— Большая Медведица, Скорпион, серп Млечного Пути летом — вот, например, созвездия. Это группы звезд, их соединения, звездные семьи, где одна звезда подобна другой...

— И ты их видишь? Отсюда? При помощи этой штуки?

Все еще глядя на него задумчивым и ясным взглядом в неярком свете свечи, астроном кивнул, но ничего не ответил, только показал вниз, на те камни, что были у них под ногами, на вырубленный в скале коридор шахты.

— На что же они похожи? — Бран почему-то охрип.

— Я видел их лишь мгновение. Только миг один. Я еще не научился как следует, тут нужно иное мастерство... Но они там есть, Бран.

Теперь рудокопы часто не встречали его в забое, когда спускались туда по утрам, и даже поесть с ними он приходил не всегда, но они всегда оставляли ему его долю. Теперь он знал расположение штолен и штреков лучше любого из них, лучше даже Брана, причем не только «живую» часть шахты, но и «мертвую» ее зону — заброшенные выработки и пробные туннели, что вели на восток и дальше — к пещерам. Там он чаще всего и бывал теперь, но они за ним не ходили.

Когда же он вновь появлялся в их забое, то они разговаривали с ним как-то застенчиво и не смеялись.

Однажды вечером, когда рудокопы возвращались, таща последнюю вагонетку, к главному стволу, он внезапно выступил им навстречу откуда-то справа, из темноты пересекающихся туннелей. Как всегда, одет он был в свою затрепанную куртку из овчины, почерневшую от грязи и перепачканную глиной. Его светлые волосы тронула седина. Глаза были по-прежнему ясные.

— Бран, — сказал он, — пойдем, теперь я могу тебе показать.

— Что показать?

— Звезды. Звезды под нами, под скалами. На четвертом уровне старой шахты — огромное созвездие. Там, где белый гранит выступает полосой в черной породе.

— Знаю я это место.

— Вот там; прямо внизу, у той стены, где белый камень. Созвездие большое, яркое, его свет пробивается сквозь тьму. А звездочки — как сказочные феи, как ангельские очи. Пойдем посмотрим на них, Бран!

Пер и Ганно стояли рядом, упершись спинами в вагонетку, чтоб не катилась: задумчивые мужчины с усталыми, грязными лицами и большими руками, скрюченными и огрубевшими от заступа, кирки и салазок. Они были растеряны и одновременно полны сострадания и беспокойства.

— Да мы тут домой собрались. Ужинать. Лучше завтра сходим, — сказал Бран.

Астроном перевел взгляд с одного лица на другое и ничего не ответил.

Мягкий хриловатый голос Ганно произнес:

— Поднимайся-ка с нами, парень. Хотя бы сегодня. На улице темным-темно и, похоже, идет дождь. Ноябрь ведь. Сейчас тебя там ни одна живая душа не заметит, вот и пойдем ко мне, посидим у очага в кой-то веки вместе, горяченького поедим, потом под крышей выпсишься, а не под землей...

Гуннар отшатнулся. Лицо его словно вдруг погасло, скрылось в густой тени.

— Нет, — сказал он, — они выжгут мне глаза.

— Оставь его в покое, — сказал Пер и отпустил вагонетку; тяжело груженная вагонетка покатилась к выходу.

— Потом проверь, где я сказал, — повернулся Гуннар к Брану. — Шахта не мертва. Сам увидишь.

— Хорошо. Потом вместе сходим, посмотрим. Доброй ночи.

— Доброй ночи, — откликнулся астроном и свернул в боковой туннель, как только рудокопы тронулись в путь. У него с собой не было ни лампы, ни свечи, и через секунду его поглотила тьма.

Утром в забое его не оказалось. Не пришел.

Бран и Ганно пробовали его искать; сначала довольно лениво, потом как-то целый день. В конце концов они осмелились дойти даже до самых пещер и бродили там, время от времени окликая его. Впрочем, даже они, настоящие старые шахтеры, не осмеливались в этих бесконечных пещерах звать его по имени во весь голос — так ужасно было слышать в темноте гулкое несмолкающее эхо.

— Он ушел вниз, — сказал Бран, — еще дальше и вниз. Так он говорил: *иди вперед, нужно идти вперед, чтобы найти свет.*

— Нет здесь никакого света, — прошептал Ганно. — И никогда не было. С сотворения мира.

Но Бран был старик упрямый, с пытливым и доверчивым умом; и Пер его слушался. Однажды они вдвоем отправились к тому месту, о котором говорил астроном, туда, где крупная жила светлого твердого гранита пересекала более темный массив и была оставлена нетронутой лет пять-

десять назад как пустая порода. Они привели в порядок крепеж — в старой штольне несущие балки совершенно сгнили — и начали врубаться в гранит, но не прямо в белую жилу, а рядом и ниже, там, где астроном оставил знак — вычертил на каменном полу свечной копотью что-то вроде карты или схемы. На серебряную руду они наткнулись сантиметров через тридцать, под кварцевым слоем; а еще глубже — теперь здесь работали уже все восемь человек — кирки обнажили чистое серебро, бесчисленные жилы и прожилки, узлы и узелки, сверкающие в кварцевой породе подобно созвездиям, скоплениям звезд в беспредельности глубин, в бесконечности света.

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Я даже не знаю, что вам рассказать о «Поле зрения». Это мое выражение гнева. Возмущенное «Письмо к издателю». Презрительное «фи».

Шелли вышибли из Оксфорда за то, что он написал на стене тупиковой аллеи изумительную фразу: «Вот путь на небеса». Мне кажется, эта история — чистая выдумка. Но кому какое дело? Будь моя воля, я обновляла бы такую надпись каждый год.

«На следующую ночь я увидел вечность,
Похожую на огромное Кольцо
Чистого и бесконечного света...»

Генри Воган (1621—1695)

Отчеты, регулярно приходившие с «Психеи-XIV», были вполне обычными и рутинными до тех пор, пока перед самым отлетом не открылся канал ретрансляции. И вот тогда старший помощник Роджерс сообщил вдруг о том, что они покидают поверхность и улетают обратно — на 82 часа 18 минут раньше положенного срока. Хьюстон потребовал объяснений. Однако ответы с «Психеи» шли очень странные; 220-секундная пауза между сообщениями еще больше ухудшала прием. Однажды, видимо, устав от вопросов, Роджерс сказал: «Мы должны отправиться домой немедленно, иначе это нам вообще не

удастся сделать». Хьюстон тут же запросил медицинские показания всех членов экипажа и начал расспрашивать о дозировке стимуляторов. Но солнце шумело, и связь была очень плохой. Передача прервалась без предупреждения.

Автоматическая информация поступала с корабля нормально. Старт прошел успешно, и двадцать шесть дней астронавты провели в наркотическом сне — внутри капсул, которые обеспечивали их физиологические функции. Медицинский контроль и видеотрансляция в программах «Психеи» не предусматривались. Контакты с командой осуществлялись только через радиопередатчик. Когда они не вышли на связь за два дня до посадки, тревога Хьюстона переросла в отчаяние.

Бортовые автоматические устройства, управляемые наземными службами, начали выводить «Психею» на расчетную орбиту. Внезапно связь возобновилась, и из динамиков донесся голос Хьюза: «Хьюстон, вы не могли бы дать нам координаты? Моя видеосистема неисправна. Оптические помехи». Ему выдали курс, но его ручное управление оказалась настолько неверным, что наземным службам потребовалось пять часов на корректировку полета. Хьюза попросили не касаться никаких приборов, и корабль повели с Земли в режиме беспилотного судна. Почти сразу же после этого радиокontakt был снова утерян.

Огромный белый парашют раскрылся над Тихим океаном, и «Психея» начала спускаться с небес. Раскаленный корпус поднял облако пара, погрузился в воду, затем с плеском вынырнул и закачался на волнах в подгузнике из длинных воздушных подушек. Хьюстон сделал прекрасную работу. Корабль приводнился всего в полукилометре от «Калифорнии». Вертолеты и понтоны окружили его со всех сторон. «Психею» закрепили на транспортных платформах и открыли люк, но никто из членов экипажа на трапе не появился.

Тогда спасатели сами поднялись на борт.

Старший помощник Роджерс сидел в пилотском кресле, все еще пристегнутый ремнями и подсоединенный к системе жизнеобеспечения. Он умер десять дней назад, и спасательная команда даже не стала снимать с него скафандр.

Капитан Темский выглядел физически нормальным, но его лицо выражало неопишемое ошеломление. Он не

отвечал на вопросы и вообще ни на что не реагировал. Его пришлось выносить из корабля на руках. К счастью, он не оказывал активного сопротивления.

Доктор Хьюз находился в состоянии коллапса. Он был в полном сознании, но вел себя как слепой.

— Я хочу вас попросить...

— Вы что-нибудь видите?

— Да! Позвольте мне остаться с завязанными глазами.

— Вы видели свет, который я вам показал? Какого он был цвета, доктор Хьюз?

— В нем имелись все цвета. Он белый и слишком яркий.

— Пожалуйста, покажите мне, откуда приходит свет.

— Со всех сторон. Он слишком яркий.

— В комнате темно, доктор Хьюз. Прошу вас, откройте глаза.

— Нет, здесь не темно.

— Хм-м. Неужели случай сверхчувствительности? А теперь нормально? Как вам такое освещение?

— Сделайте еще темнее.

— Ладно, доктор, достаточно. Опустите руки и успокойтесь. Мы сейчас наложим вам повязку.

Когда Хьюзу закрыли глаза, он перестал сопротивляться и, с трудом переводя дыхание, постарался расслабиться. Узкое лицо, обрамленное темной щетиной, блесело от пота.

— Простите меня, — сказал он. — Но мне больно смотреть на яркий свет.

— Когда вы отдохнете, мы сделаем еще одну попытку.

— Откройте, пожалуйста, глаза. В комнате достаточно темно.

— Не понимаю, зачем вы обманываете меня.

— Доктор Хьюз, я с трудом различаю ваше лицо. На моем приборе горит лишь подсветка шкалы. Все остальные лампы отключены. Вы видите меня?

— Нет! Я не могу смотреть на такой яркий свет!

Окулист включил настольную лампу и направил ее прямо в лицо пациента. Увидев плотно сжатые челюсти и открытые ошеломленные глаза Хьюза, он покачал головой и с сарказмом спросил:

— Ну как? Вас устраивает такая темнота?

— Нет! — Смертельно побледнев, Хьюз закрыл глаза и прошептал: — У меня кружится голова. Сплошная карусель.

Он застонал, подавился дыханием, и его вырвало на пол.

У Хьюза не было ни жены, ни близких родственников. В центре управления знали, что он дружил с Бернардом-Дисилисом — они вместе проходили предполетную подготовку. Дисилис участвовал в экспедиции, которая обнаружила марсианский Город. Он летал на «Психее-ХII», а Хьюз — на «Психее-ХIV». Дисилиса вызвали в ЦУП и провели инструктаж. Он должен был войти в комнату Хьюза и поговорить со старым другом. Беседу, конечно, записали на пленку.

Д.: Привет, Джерри. Это я, Дисилис.

Х.: Барни?

Д.: Как дела?

Х.: Прекрасно. А у тебя?

Д.: Все путем. Не фонтан, конечно, но что поделаешь, верно?

Х.: Как Глория?

Д.: У нее все в порядке.

Х.: Она уже прошла «Тетю Роди»?

Д. (со смехом): О Иисус, да. Теперь она играет в «Зеленые рукава». По крайней мере, так она называет эту компьютерную игру.

Х.: Зачем они втянули тебя в это дерьмо?

Д.: Просто мне еще раз захотелось взглянуть на твое кислое лицо.

Х.: Хотел бы я иметь такую же свободу.

Д.: А в чем проблемы? Слушай, три разных окулиста — все эти оптамологаврики и гаврилоптики — заверяли меня, что с твоим зрением полный порядок. Вернее даже, три окулиста и один невролог. Они поют в один голос, понимаешь? И они действительно уверены в своем диагнозе.

Х.: То есть ты хочешь сказать, что у меня поехала крыша?

Д.: Нет. Немного сдвинулась, и все.

Х.: А как себя чувствует Джо Темский?

Д.: Не знаю. Я его не видел.

Х.: Они ничего не рассказывали тебе о нем?

Д.: В их окулистских песнях о Джо не было ни строчки. Они только намекнули, что он замкнулся в себе.

Х.: Замкнулся? О Иисус! Да он ничем не отличался от каменной статуи!

Д.: Кто? Темский? Ты шутишь?

Х.: Все с него и началось.

Д.: Что началось?

Х.: Ну там, на участке. Он перестал нам отвечать.

Д.: А что случилось?

Х.: Ничего. Просто он перестал отвечать на наши вопросы, говорить и замечать что-либо вокруг. Дуайт думал, что это кафард — марсианская лихорадка. Наверное, здесь тоже так считают, верно?

Д.: Да, врачи упоминали о такой возможности. Но что же случилось у вас на участке?

Х.: Мы нашли «комнату».

Д.: Да-да, «комнату»? Я читал об этом в ваших отчетах. И еще я видел гологнезда, которые вы привезли с собой. Просто фантастика! Слушай, Джерри, а для чего они предназначены?

Х.: Не знаю.

Д.: Это части какой-то конструкции?

Х.: Не знаю. Ты слышал, что говорят о Городе?

Д.: Да. Они признали его искусственное происхождение. Его кто-то построил... Вернее, сделал.

Х.: Откуда они это знают? Как вообще такое можно говорить, если неизвестно, кто его создал? Разве морская раковина «сделана»? Черт! У них даже нет никакого подобия для сравнения. Допустим, ты смотришь на раковину и керамическую пепельницу. Сможешь ли ты сказать, что эта вещь «сделана», а та нет? И если «сделана», то для чего? Например, зачем кому-то понадобилась керамическая раковина? Или старое осиное гнездо? Или обычный геод?

Д.: Ладно... А что ты скажешь о тех штуках, которые... которые вы называли в отчетах «голубиными гнездами»? Я видел эти гологнезда.

Х.: Что бы ты делал с ними, если бы они попали в твои руки?

Д.: Не знаю. Они такие странные, причудливые... Я бы пропустил их пространственные проекции через компьютер и искал осмысленный узор... Честно говоря, я не думал об этом.

Х.: А что? Нормально. Но какой фактор ты принял бы за критерий «смысла»?

Д.: Математические соотношения. Любой вид геометрических узоров, повторение отдельных элементов или кодовых символов. Послушай, Джерри, а на что похоже это место?

Х.: Не знаю.

Д.: Но ты же бывал там много раз.

Х.: Да, с тех пор как мы нашли «комнату», я проводил там почти все свое время.

Д.: И потом с твоими глазами стало твориться что-то неладное? Как это началось?

Х.: Предметы вышли из фокуса — как при повышенном глазном давлении. За пределами «комнаты» мое зрение ухудшалось почти до слепоты. Так продолжалось несколько дней. Какое-то время мне еще удавалось работать с приборами. Но потом, когда мы отвезли капитана на корабль, я почувствовал себя по-настоящему больным. Меня ослепляли постоянные вспышки света. Приходилось щуриться. Кружилась голова. Дуайт и я прокладывали курс — вернее, делали это по очереди, когда позволяло здоровье. Порою Дуайт становился странным: не хотел использовать радио, боялся прикасаться к бортовому компьютеру...

Д.: А почему? С ним тоже было что-то не так?

Х.: Определенно. Когда я сообщил ему о своих проблемах с глазами, он сказал, что тоже испытывает нечто странное, но только в мышцах тела. Его изводили конвульсии и дрожь. Я посоветовал ему ускорить старт и отправиться домой, пока мы еще могли управлять кораблем. Он согласился, потому что Джо к тому времени был уже недееспособен. Перед самым взлетом у Дуайта начались припадки — вроде эпилептических. Когда они кончались, он дрожал как лист на ветру, но казался вполне нормальным. Дуайт поднял судно, и с ним случился новый приступ. Его корчило и ломало целые сутки, а в перерывах между припадками он галлюцинировал и мешал как только мог. Когда он стал совершенно невыносим, мне пришлось дать ему транквилизаторы и привязать его ремнями к креслу. Засыпая, я даже не знал, был ли он жив в тот момент или уже скончался.

Д.: Нет, он умер в полете. За десять дней до посадки.

Х.: Мне об этом не сказали.

Д.: Ты не помог бы ему, Джерри.

Х.: Не знаю. Его приступы походили на перегрузку системы. Словно все предохранители сгорали и сквозь него шел ток огромного напряжения. Иногда он кричал во время конвульсий — будто лаял... Словно хотел сказать всю фразу за одну секунду. А эпилептики не говорят во время припадков, верно?

Д.: Я не в курсе. Эпилепсию лечат на все сто процентов, так что о ней почти ничего не известно. Врачи выявляют

тенденцию и ликвидируют причину болезни. Если бы Роджерс имел предрасположенность...

Х.: То его и близко не подпустили бы к полетам. О Иисус! В общей сложности он провел в космосе всего лишь шесть месяцев.

Д.: А ты? Шесть дней?

Х.: Столько же, сколько и ты. Один самостоятельный рейс до Луны и обратно.

Д.: Ладно, оставим эту тему. Так ты считаешь...

Х.: Что?

Д.: Что это какой-то вирус?

Х.: Космическая чума? Марсианская лихорадка? Таинственные древние споры, которые свели с ума астронавтов?

Д.: Да, звучит глупо. Но подумай сам — до вашего появления «комната» была опечатана. Почему ты исключаешь возможность, что вы все...

Х.: Дуайт умер от кровоизлияния в мозг. Его погубило корковое перенапряжение. Он стал кататоником. Я вижу ослепительный свет. Что здесь общего?

Д.: Нервная система.

Х.: А почему у каждого из нас разные симптомы?

Д.: Наркотики тоже действуют на людей по-разному...

Х.: Неужели ты думаешь, что мы нашли там какой-то марсианский психогенный мухомор? Ты же был на Марсе и прекрасно знаешь, что там нет ничего живого. Все мертво, как и сама планета. Ни микробов, ни Богом забытых вирусов. Ничего!

Д.: Но ведь могло случиться, что...

Х.: Почему ты цепляешься за эту идею?

Д.: Потому что существует «комната», которую вы нашли. Потому что есть Город, обнаруженный нами.

Х.: Город? Барни, ты говоришь как какой-то недоделанный журналист из бульварной газеты. Тебе чертовски хорошо известно, что там нет никакого города! Есть куча глиняных глыб — вот и все, о чем мы можем рассуждать. Старые глиняные глыбы на древней планете — тут даже спорить не о чем. Мы не знаем их происхождения. Мы не можем понять того, что находится за гранью человеческого разума. Город и «комната» — все это чушь. Мы просто проводим аналогии и с помощью слов пытаемся нащупать смысл. Но настоящая истина не поддается описанию. В ней нет никакого смысла. Я это понял. И это единственное, что я теперь понимаю.

Д.: И что же ты понимаешь, Джерри?

Х.: То, что вижу, когда открываю глаза!

Д.: А что ты видишь?

Х.: То, чего здесь нет, но говорить об этом не имеет смысла...

Д.: Ладно, кончай. Успокойся, Джерри. Все будет хорошо. Ты поправишься.

Х.: Я вижу (неразборчиво) свет и (неразборчиво) пытаюсь понять, чего касаюсь. Но я не могу! Я не понимаю этого и (неразборчиво)...

Д.: Хватит, Джерри. Хватит! Я рядом, старина! Успокойся!

Хьюз, пришедший в космическую программу из астрофизики, имел хорошие характеристики — можно даже сказать, великолепные. Это беспокоило руководителей проекта, многие из которых относили академическое образование и интеллигентность к числу причин, вызывавших нарушения субординации и нестабильное поведение человека. Отмечая его исполнительность и безупречное поведение, они теперь довольно часто вспоминали о том, что он был «мягкотелым интеллектуалом».

К Темскому такое объяснение не подходило. Он считался образцовым военным — капитан ВВС, отличный пилот, фанат бейсбола и хороший семьянин. Но в данный момент его поведение казалось еще более ненормальным, чем у Хьюза.

Он часами сидел на полу и лениво осматривал голые стены. Проголодавшись, Темский находил принесенную пищу и ел ее руками. Когда ему требовалось облегчиться, он отходил в угол и справлял нужду. Захотев спать, астронавт ложился на пол и засыпал. Все остальное время он сидел на полу. Темский находился в хорошей физической форме и сохранял непоколебимое спокойствие. Никакие слова не производили на него ни малейшего впечатления, и он совершенно не интересовался тем, что происходило вокруг. Однажды, надеясь вызвать какой-то отклик, к нему привезли жену, и через пять минут она, рыдая, выбежала из комнаты.

Поскольку Темский ни на что не реагировал, а Роджерс по причине смерти вышел из игры, было вполне естественным переключить все внимание на Хьюза.

Он казался вполне здоровым, не считая случая какой-то странной истерической слепоты, поэтому руководство ожидало от него разумных ответов и конкретных объяснений того, что произошло. Однако Хьюз еще больше запутал

ситуацию — он либо не мог, либо не желал говорить о причинах своего недуга.

К работе подключили доктора Шэпира — известного нью-йоркского психиатра-консультанта. Тот сразу же потребовал личной встречи с обоими астронавтами. ЦУПу не хотелось признавать, что полет на Марс прошел неудачно (слово «трагедия» даже не упоминалось). Однако, несмотря на все предпринятые меры, в прессу просочились нежелательные слухи. Безответственные журналисты, заявляя о «праве» американского народа «на истинную информацию», упорно интересовались, почему экипаж «Психеи-XIV» содержится в полной изоляции. Чтобы сохранить позитивное мнение публики, центр управления сообщил о тщательной медицинской проверке, которой якобы подвергались Темский и Хьюз. Эта проверка объяснялась внезапной смертью старшего помощника Роджерса, погибшего на обратном пути от сердечного приступа. В то же время серия заказных статей рассказывала о новых планах «Малой Америки» — куполообразном городе на Марсе. Понимая, что вся программа «Психеи» находится под угрозой, руководство центра приказало доктору Шэпиру не спеша и осмотрительно продиагностировать астронавтов и по возможности восстановить их психическое здоровье.

Шэпир провел с Хьюзом получасовую беседу о питании в госпитале «Кэл Тех» и о последних отчетах исследовательской экспедиции на альфу Центавра. Разговор проходил в спокойной и дружеской обстановке. Пользуясь этим, доктор Шэпир спросил:

— Что вы видите, открывая глаза?

Хьюз встал с кушетки, оделся и молча уселся в кресло. Светонепроницаемые стекла, закрывавшие его глаза, придавали ему немного надменный и загадочный вид, ради которого многие люди и носят темные очки.

— Меня еще никто не спрашивал об этом, — ответил он.

— Даже окулисты?

— Да. Я думал, что Крэй задаст мне такой вопрос. Но его интересовали другие проблемы. Не знаю, что он там такого наплел, но все решили, что я страдаю психическим недугом.

— А что вы ему рассказали?

— Мой опыт трудно описать. То, что я вижу, невозможно выразить словами. Предметы выходят из фокуса, становятся прозрачными и исчезают, а на смену им приходит

свет — ослепительно яркий и интенсивный. Это как образы на засвеченной пленке — все исчезает в белизне. Но вместе со светом приходит вращение. Места и взаимоотношения начинают изменяться. Перспективы чередуются, и на их фоне происходят постоянные преобразования предметов. От этого кружится голова. Я думаю, мои глаза посылают в мозг несоразмерные сигналы. Что-то похожее на ощущения при изменениях во внутреннем ухе, только в глазах. Разве это не сбilo бы вашу пространственную ориентацию?

— Нечто вроде синдрома Меньера. Да, верно. Подобные ощущения обычно возникают при спуске на лифте или на лестницах...

— Словно я смотрю с огромной высоты или поднимаюсь на огромную гору...

— Вы, случайно, не боитесь высоты?

— Нет, черт возьми. Она для меня ничего не значит. В космосе нет ни верха, ни низа. Но мне жаль, что я не дал вам необходимого представления. Наверное, это и невозможно описать. Я пытаюсь увидеть большее, пытаюсь научиться смотреть... Но пока у меня ничего не получается.

Наступила пауза.

— Это требует отваги, — наконец произнес психиатр.

— Что вы имеете в виду? — резко спросил астронавт.

— Ну... Когда чувство восприятия, пожалуй, самое важное для мыслящего разума — ваше зрение, сообщает о несуществующих непонятных явлениях и вступает в ужасающее противоречие с другими чувствами, такими, как осязание, слух и чувство равновесия... Когда это случается каждый раз, как только вы открываете глаза, то очень трудно смириться с подобным явлением и уж тем более подвергнуть его осмысленному изучению.

— Вот поэтому я и держу глаза закрытыми, — печально ответил Хьюз. — Как та мудрая мартишка с лозунгом «Ничего не вижу».

— А когда вы открываете глаза и смотрите на какой-то знакомый и вполне определенный предмет — например, на свою руку, что вы видите?

— Расплывчатое изображение, которое вызывает легкое головокружение.

— Это похоже на утверждение Уильяма Джемса, — удовлетворенно заметил Шэпир. — Помните, что он говорил о том, как ребенок воспринимает мир?

У него был приятный голос с мягким глянцевым лоском. Казалось, что этот человек просто не умеет ворчать или кричать. Он медленно кивнул, размышляя о том, что сказал ему Хьюз.

— Так вы говорите, что осваиваете новый способ зрения? То есть там есть что осваивать. Опишите мне свои переживания.

Хьюз смутился, но потом заговорил с заметно возросшим доверием:

— Да, осваиваю. А что мне еще делать? Хотя я вряд ли освою этот новый способ или вернусь к тому типу зрения, которым пользуются другие люди. Тем не менее я вижу — пусть не понимаю, что именно, но вижу. Эта информация пока бессмысленна для меня. Там нет очертаний и нет разграничений — даже между ближним и дальним. Однако я что-то вижу: не в виде форм и постоянных объектов, а как череду метаморфоз и необъяснимых превращений. Не знаю, имеет ли это вообще какой-то смысл.

— Думаю, имеет, — ответил Шэпир. — На данной стадии вам трудно описать свой опыт словами. Тем более что это переживание является для вас новым, уникальным и подавляющим...

— И восстающим против здравого рассудка. Вот оно какое. — В голосе Хьюза чувствовалась признательность. — Если бы я только мог показать вам этот причудливый свет, — добавил он с тоской.

Двух астронавтов держали на десятом этаже военного госпиталя в Мэриленде. Им не позволяли выходить из комнат, и любой, кто навещал их, проводил затем десять дней под строгим карантинном, прежде чем его вновь выпускали во внешний мир — теория о марсианской чуме по-прежнему возглавляла список всевозможных догадок. По настоянию Шэпира больному Хьюзу разрешили подняться в сад, расположенный на крыше госпиталя (хотя это предполагало полную стерилизацию лифта и его остановку на три дня).

Врачи потребовали, чтобы Хьюз надел хирургическую маску, а Шэпир, в свою очередь, уговорил его снять защитные очки. Астронавт послушно направился к лифту — с марлевой повязкой на лице и ничем не прикрытыми, но плотно сжатыми веками.

Выйдя из тускло освещенного лифта на крышу под горячий поток лучей июльского солнца, Шэпир пристально

вгляделся в лицо пациента. Но тот не зажмурился сильнее. Яркий свет дня не вызывал у него никакой реакции. Почувствовав на коже приятное тепло, Хьюз приподнял голову и сделал несколько жадных вдохов через плотную хирургическую повязку.

— После Марса меня еще ни разу не выпускали на свежий воздух, — сказал астронавт.

Он не лгал. Перебираясь из госпиталя в госпиталь, Хьюз надевал скафандр, а в больничных палатах дышал баллонным или кондиционированным воздухом.

— Скажите, вы можете ориентироваться в пространстве? — спросил его Шэпир.

— Нет. Ни малейшего чувства направления. За дверью комнаты я превращаюсь в слепого. Все время боюсь упасть.

На пути к лифту Хьюз отказался от помощи и прошел на ощупь два длинных пустых коридора. Теперь же, несмотря на шутку о падении, он начал исследовать сад, разбитый на крыше. Шэпир задумчиво наблюдал за ним. Хьюз вел себя как активный человек, освобожденный из длительного заточения. Первое время он спотыкался о низкие ограды клумб. Но врожденная чувствительность и пространственное воображение помогли ему справиться с этой проблемой. И хотя он двигался с осторожной неуклюжестью слепого, в его движениях чувствовалась удивительная грация.

— Почему бы вам не открыть глаза? — мягко спросил его Шэпир.

Хьюз остановился и повернулся к нему.

— Да, наверное, вы правы, — ответил он и поднял руку в поисках опоры.

Шэпир подошел и положил ладонь Хьюза на свое плечо. Астронавт открыл глаза и крепче вцепился в плечо врача. Потом вдруг вытянул обе руки вперед, сделал шаг и, дрожа, откинул голову назад. С уст сорвался крик. Его глаза широко открылись и уставились в пустое небо.

— О мой Бог! — прошептал он и упал на цветочную клумбу, словно сбитый с ног огромной кувалдой.

18 июля. Запись встречи психиатра Шэпира и Джерайнта Хьюза.

Ш.: Здравствуйте. Это я, Сидней... Мне хотелось бы поговорить с вами немного, если вы не против. Та идея оказалась не очень хорошей. Я имею в виду прогулку на крыше. Прошу

простить меня. Я даже подумать не мог, что дело кончится вашим обмороком. Конечно, мне не стоило просить вас об этом... Может быть, вы хотите, чтобы я ушел?

Х.: Нет. Все нормально.

Ш.: Ну и хорошо... Я чертовски волновался. Вышел сегодня на прогулку и забрел черт знает куда. Наверное, протопал не меньше двух миль от офиса, а на обратном пути сделал крюк по соседней улице. Что бы там ни говорили, Нью-Йорк — красивый город, если гуляешь по нему пешком. И если знаешь, как потом найти дорогу назад. Послушайте, я тут наткнулся на странную историю с Джо Темским. Вернее, на непонятный факт. Вам известно, что по результатам медицинского обследования он признан «функционально глухим»?

Х.: Глухим?

Ш.: Да, глухим. Это натолкнуло меня на интересную мысль. Я отправился к Джо и попытался наладить с ним какой-нибудь контакт: тряс за плечи, заглядывал в глаза и называл его по имени. Он не обращал на меня никакого внимания. В своей практике я встречал нескольких пациентов, которые говорили, что не могут расслышать мой голос. Вы думаете, это метафора? А что, если нет? Такое иногда случается с детьми. В результате они отстают в развитии и теряют тридцать, шестьдесят, а то и восемьдесят процентов слуха. Одним словом, я предположил, что Джо действительно не слышит мой голос. Так же, как вы не видите меня.

Х. (после сорокасекундной паузы): Вы хотите сказать, что он слушает другие звуки? Что его слух постоянно занят?

Ш.: Возможно.

Х. (после двадцатисекундной паузы): Но тогда надо заткнуть ему уши.

Ш.: Я тоже подумал об этом. Не такая уж и сложная процедура, верно? Мне захотелось посмотреть, а что получится, если вставить ему в уши затычки? И я вставил их.

Х.: Но с затычками он, наверное, не услышал вашего голоса.

Ш.: Да, однако перестал вести себя как безумный. Если бы вы непрерывно наблюдали за метаморфозами, которые демонстрирует вам свет, мне вряд ли удалось бы привлечь к себе ваше внимание, верно? Возможно, то же самое происходило и с Джо. Я думаю, шум в его ушах заглушал все остальные звуки.

Х. (после двадцатисекундной паузы): Мне кажется, он слышит нечто большее чем шум.

Ш.: Я хотел поговорить с вами о том, что случилось на крыше. Но, быть может, вы против... Нет, уверяю вас, это вполне естественно.

Х.: Вам хочется узнать, что я там увидел?

Ш.: Да, конечно. Но поступайте так, как вам нравится.

Х.: Если бы я мог поступать, как мне нравится, мы бы с вами тут не сидели. Сколько книг я мог бы прочитать! Сколько прекрасных женщин увидеть! Вам чертовски хорошо известно, что мне здесь не с кем общаться. И, конечно же, вы не сомневаетесь, что со временем я расскажу вам все, что вас интересует.

Ш.: О, черт! Вы меня поражаете, Джерайнт! (Десяти-секундная пауза.)

Х.: Да, что-то я сорвался. Простите, Сидней. Мне не следовало этого говорить. Я не прав. Вы очень терпеливы со мною.

Ш.: Там, на крыше, вам привиделось нечто такое, что смутило вас. Вот почему мне захотелось узнать подробности. Однако, если вы считаете, что справитесь с проблемой в одиночку, дерзайте. Мое любопытство — не порок, но и не причина, по которой вы должны идти против собственной воли. Давайте лучше забудем об этом разговоре. А чтобы сгладить неловкость, я прочитаю вам статью из журнала «Наука». Мне ее дал полковник Вуд. Он сказал, что вы когда-то интересовались такими материалами. В статье говорится о странном предмете, который обнаружили внутри аргентинского метеорита. Авторы утверждают, что, если прочесать метеоритный пояс, можно обнаружить останки межзвездного флота, который около шестисот миллионов лет назад попал в беду в нашей Солнечной системе. А астронавтам якобы пришлось обосноваться на Марсе. Какая богатая фантазия, верно?

Х.: Не знаю. Но прошу вас, читайте.

Темский спал крепко, и поэтому Шэпир безбоязненно вставлял ему в уши обычные восковые затычки. Психиатр взял их из собственной аптечки, поскольку изредка пользовался ими при бессоннице. Через пару часов астронавт проснулся. Поначалу его поведение ничем не отличалось от прежнего. Он сел и зевнул, потянулся, почесался, затем лениво осмотрелся вокруг, словно искал что-нибудь перекусить. Его безмятежность абсолютно не походила на какое-либо психотическое состояние, о котором знал бы доктор Шэпир. Но в этой безмятежности не было и ничего челове-

ческого. Темский напоминал здоровое спокойное животное — не шимпанзе, а какое-то более мягкое и созерцательное. Возможно, орангутанга.

И вдруг этот «орангутанг» почувствовал какое-то неудобство.

Темский нервно посмотрел направо и налево. Вернее, не смотрел, а двигал головой, пытаясь отыскать исчезнувшие звуки. Или потерянный аккорд, подумал психиатр. Темский смущался все больше и больше. Он встал, замотал головой, но это не помогло. Астронавт испуганно обернулся и впервые за семнадцать дней повседневных обходов и встреч увидел доктора Шэпира.

Его красивое лицо поморщилось от беспокойства, и он изумленно прошептал:

— Где я? Куда я попал?

Не понимая причины безмолвия, он потянулся руками к ушам, потом нащупал и вытащил затычки. Это вновь превратило его в орангутанга.

— Ах! — воскликнул он и затих.

Его глаза по-прежнему смотрели на Шэпира, но он не видел доктора. Лицо расслабилось и стало безмятежным.

Последующие попытки оказались более успешными. Поначалу Темский удивлялся своей искусственно созданной глухоте, но затем, освоившись с ней, охотно шел на контакт и общался с доктором Шэпиром с помощью жестов и записок. После пятой встречи он согласился принять лекарства, которые на пять часов снижали чувствительность слуховых нервов. Это позволило продлить периоды его осознанного поведения.

Во время второго такого периода он попросил разрешения повидаться с Хьюзом. А надо сказать, что Шэпира уже проинструктировали по этому вопросу. Ожидалось, что разговор двух астронавтов наедине даст новую информацию, которая поможет служебному расследованию. Учитывая искусственную глухоту Темского, Хьюзу пришлось напечатать свою половину диалога на пишущей машинке. К счастью, он неплохо знал клавиатуру и набирал текст вслепую. Несмотря на то что часть материала не была обнаружена в корзине для бумаг, записанная речь Темского вполне приемлемо поясняла суть разговора. Астронавты в основном обсуждали обратный полет, а также болезнь старшего помощника Роджерса, о которой Темский ничего не помнил. Хьюз описал ее теми же словами, что и раньше, не внеся

никаких дополнений. Они не упоминали о «комнате» (участке Д) и старательно умалчивали о своих недугах, но в конце беседы все же затронули и эту тему.

Т.: Значит, моя мелодия звучит не изнутри?

Х.: Если бы она существовала только в твоём уме, затычки лишь улучшили бы её звучание.

Т.: Но все это реально.

Х.: Чертовски реально!

Т.: Слушай, когда мне в первый раз вставили затычки, я подумал, что у меня поехала крыша. Просыпаюсь, а вокруг ни звука. Мне потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить, кто я такой. И клянусь, мне даже не хотелось вспоминать. Но потом Шэпир рассказал, как долго это происходит, и я понял, что нахожусь на Земле. Представляешь? Я думал, что все вокруг меня — какая-то жуткая галлюцинация. Во мне как бы существовали два человека! Но, несмотря на страх и удивление, я начал совмещать их друг с другом. Мне захотелось узнать, что получится, если между ними больше не будет этого ужасного раскола...

Х.: Изменение.

Т.: Да, это изменило меня. Это действительно изменило меня. Потому что я слышу реальные звуки. И когда ты открываешь глаза, перед тобой возникают необычные, но вполне определенные картины. Мы оба воспринимаем что-то реально существующее, а нас искусственно ослепляют и оглушают, чтобы втиснуть в людские ограниченные рамки. Разве не так?

(Напечатанный Хьюзом ответ не найден в мусорной корзине.)

Х.:

Т.: Нет, нормально. Однако мне потребовалось много времени, чтобы освоиться с этим, — по крайней мере, я теперь знаю, как долго нас держат в госпитале. Сначала я не мог уловить никакого смысла. О Иисус! Эта какофония перепугала меня до потери пульса. Ты и Дуайт что-то говорили мне, и вокруг ваших голосов появлялся целый хор, словно радуга вокруг призмы. Ты же знаешь, если свет слишком яркий, то призму даже не видно. Это как в твоём случае, верно? А у меня все тонуло в музыке — до тех пор, пока не осталась только она. Но... Я же говорил тебе, что не знал, как слушать эту мелодию. Сначала мне показалось, что сломался мой радиопередатчик в скафандре. О Иисус! (Смеется.) Я не

мог уследить за мотивами, гармониками и модуляциями. Они все время менялись. Но человек может научиться всему. Чем больше слушаешь, тем больше слышишь. Эх, жаль, что у нас все по-разному — у тебя зрение, у меня слух... Так ты говоришь, что мы покинули Марс два месяца назад? Два месяца я жил среди музыки, понимаешь? Но это неважно. Все в нашем мире неважно, правда, Джерри?

Х.:

Т.: Хотел бы я увидеть все то, что видишь ты. Представляю, насколько это прекрасно. В принципе я рад, что они каждый день вытаскивают меня из музыки. Наверное, так оно и должно было случиться. Мелодия затопляет меня и поглощает целиком. Ее слишком много. Наш разум не может вместить такого величия. Мы недостаточно сильны — во всяком случае, сначала. Мы не способны воспринимать эту истину целиком. И все же, понимая собственную слабость и ничтожество, я хотел бы описать хотя бы частичку ее безмерного бытия.

Х.:

Т.: Нет, не буду. Это не просто музыка! Мелодия — лишь способ описания, но мне кажется, я мог бы выразить какие-то аспекты и словами. И, возможно, получилось бы даже лучше и яснее. А главное, было бы понятно, что происходит.

Х.:

Т.: Боишься? Почему?

Астронавты по-прежнему находились в карантине, но Бернард Дисилис и его жена звонили Хьюзу почти через день. 27 июля между Хьюзом и Дисилисом состоялся важный разговор о так называемой комнате или, точнее, участке Д, который изучала «Психея-XIV».

— Если меня не зачислят в следующую экспедицию и я не увижу этого чертова места, — сказал Дисилис, — то не будет мне покоя до самой смерти.

— Увидеть — значит поверить, — заметил Хьюз.

От его бывшего возбуждения не осталось и следа. Он все больше склонялся к краткости и озлобленной печали.

— Послушай, Джерри. В тех «голубиных гнездах» что-нибудь лежало?

— Нет.

— Хм-м. Довольно точный ответ. Я думал, что, заговорив об участке Д, ты снова запоешь старую песню о его

непостижимости для человеческого разума. Ты изменил свое мнение?

— Нет. Просто кое-что начал понимать.

— И что же именно?

— Как видеть то, на что я смотрю.

Немного помолчав, Дисилис осторожно спросил:

— А что ты теперь видишь?

— Участок Д. Фактически только он и стоит у меня перед глазами.

— То есть ты видишь только его? И когда твои глаза открыты...

— Нет.

Хьюз отвечал неохотно — почти сквозь зубы.

— Все намного сложнее. На самом деле я не вижу участка Д. Я вижу наш повседневный мир с позиции участка Д... Новая перспектива. Но на эту тему тебе лучше поговорить с Джо Темским. Послушай, а ты пропускал гологнезда через алгосистему?

— Мне не удалось составить программу.

— Готов поспорить, что тебе это удалось, — усмехнувшись, сказал Хьюз. — Направь материал сюда. Я посмотрю его — с завязанными глазами.

Темский радостно вбежал в комнату Хьюза.

— Джерри! — воскликнул он. — До меня дошло!

— Что дошло?

— Я соединил два своих переживания. И я слышу тебя, понимаешь? Не читаю по губам, а слышу! Повернись и скажи мне что-нибудь. Ну давай, не ломайся!

— Трупным ядом можно отравиться.

— Трупным ядом можно отравиться! Ну как? Я слышу тебя и слышу музыку. Я объединил ощущения.

Голубоглазый и белокурый Темский всегда считался красавцем. Однако теперь он был величественно прекрасным. Хьюз не видел его (в отличие от тех, кто с помощью камеры, спрятанной в решетке вентилятора, следил за их встречей), но слышал незнакомые и пугающие вибрации в голосе друга.

— Сними очки, Джерри, — мягко сказал этот голос.

Хьюз покачал головой.

— Ты не можешь сидеть вечно в своей темноте. Выходи из нее, Джерри. Ты не должен выбирать слепоту.

— А почему бы и нет?

— Только не после того, как ты увидел свет.

— О каком свете ты говоришь?

— Я имею в виду не только свет, но и истину, и слово, — ответил Темский с той же мягкой и непоколебимой уверенностью. — Истину, которую мы научились воспринимать и познавать.

От его голоса веяло теплом полуденного солнца.

— Уходи, — сказал Хьюз. — Уходи отсюда, Темский!

С тех пор как «Психея-XIV» приводнилась в океан, прошло двенадцать недель. Тщательная проверка медицинского персонала госпиталя не выявила никаких тревожных симптомов, кроме повальной скуки. Состояние Хьюза не ухудшилось, а Темский полностью оправился. Всем стало ясно, что команда «Психеи-XIV» пострадала не от инфекции. Дискуссии о вирусах, спорах, бактериях и прочих физических переносчиках постепенно утасили и забылись. Несмотря на оговорки большинства экспертов, в том числе и доктора Шэпира, верх взяла гипотеза о том, что во время длительного и интенсивного изучения «комнаты» какие-то ее элементы вызвали срыв мозговой активности троих исследователей, аналогичный нарушениям, что происходят при использовании стробоскопического света определенной частоты. Никто не знал, какие именно элементы повинны в этом. На всякий случай голографические снимки «комнаты» разослали во все ведущие институты страны. Руководство НАСА приняло решение о старте «Психеи-XV», которой предстояло продолжить изучение участка Д. Помимо повышенных мер безопасности планировалось вести непрерывную съемку каждого из астронавтов.

Между тем подозрительных элементов на участке Д было предостаточно. Их взаимосвязь казалась настолько запутанной и сложной, что лучшие научные умы лишь разводили в бессилии руками. Некоторые марсианологи считали, что так называемый реквизит «комнаты» являлся результатом какого-то геологического катаклизма. По их мнению, «комната» предоставляла тот же вид информации, который так прекрасно и выразительно дают человеку пласты разрушенных скал, древесные кольца и линии спектра. Другие утверждали, что Город построили разумные существа. Настаивая на изучении космического наследия, эти люди мечтали выяснить природу и способ мышления древних пришельцев из другой галактики, прилетевших на Марс шесть-

сот миллионов лет назад (датировка участка проводилась по методу радиоактивного распада).

Однако полученные результаты вызывали лишь недоумение. Доктор Ньюмен из Смитсоновского института выразил это следующим образом: «Археологи привыкли извлекать основную часть информации из очень простых предметов — черепков, обломков кремня, остатков стены или могилы. Но что, если все доставшееся нам от древней цивилизации представляет собой одну очень сложную и своеобразную вещь? Причем сложную не в технологическом смысле. Допустим, что кто-то из пришельцев нашел бы копию шекспировского «Гамлета». Более того, представим, что археологи, обнаружившие эту копию, не являлись бы гуманоидами — не имели книг, театров, письменности и вообще не могли бы думать. Что они сделали бы с маленьким физическим артефактом, таким сложным и многозначным на вид, с его удивительными повторениями отдельных элементов и неповторением других, с очаровательными полукруглыми линиями и краткими прямыми штрихами? Какова вероятность того, что им удалось бы прочитать земного «Гамлета»?»

Те, кто приняли «теорию Гамлета», тут же приступили к первичной обработке данных. Тысячи компьютеров анализировали различные элементы участка Д. Учитывалось все: пространственное расположение, размеры, глубина, конфигурация «голубиных гнезд», пропорции первой, второй и третьей «нижних комнат», аномальные акустические свойства «комнаты» как комплексного целого, и так далее, и так далее.

Следует отметить, что ни одна из этих программ так и не дала очевидного доказательства осознанной планировки «комнаты». Ученые не обнаружили в расстановке ее элементов никаких рациональных соотношений. Одно из исследований, проведенное Дисилисом и Хьюзом на новом «Алгеброиде-V», продемонстрировало интересные результаты. Однако они, к сожалению, тоже не могли претендовать на рациональность. Вместо этого распечатки принтера приводили начальников НАСА в ярость и вызывали у ученых гомерический смех. В конце концов исследование было прекращено, поскольку руководство заподозрило обман и очевидную насмешку над высокими идеалами науки. Вот один из примеров таких распечаток:

ЗАПУСК.

ГОЛУБИНЫЕ ГНЕЗДА, УЧАСТОК Д, СЕКТОР ДЕ-
ВЯТЬ, МАРС.

ДИСИЛИС И ХЬЮЗ.

БОГ.

БОЖЕСТВЕННЫЙ БОГ БОГОПОДОБНЫЙ БОГ ТЫ
ЕСТЬ БОГ.

НОВАЯ УСТАНОВКА.

УСТАНОВКА ПОЛНОСТЬЮ ПОНЯТНОГО АБСУРДА.

ВОСПРИЯТИЕ АБСУРДА, НЕ ИМЕЮЩЕГО СМЫС-
ЛА, — ЭТО РЕАЛЬНЫЙ БОГОПОДОБНЫЙ БОГ.

ВОСПРИЯТИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЯЕТ НАПРАВ-
ЛЕНИЕМ.

ПРОДОЛЖАЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О НЕИМЕЮЩЕМ
ИНФОРМАЦИИ.

БОГ БОГ БОГ БОГ БОГ БОГ.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ.

Когда Шэпир вошел в комнату, Хьюз лежал на кровати. В последнее время он почти не вставал. Темные очки подчеркивали нездоровую белизну его лица.

— Я думаю, вы переусердствовали с вашей программой на «Алгеброиде». — Не дождавшись ответа, Шэпир опустил-ся в широкое кресло. — Меня уволили и отправляют обратно в Нью-Йорк.

Хьюз молчал.

— Темского выписали из госпиталя, и он уехал во Флори-ду с женой. Я пытался узнать, что намереваются делать с вами, но мне это не удалось. Я упросил их... — Он помолчал и со вздохом закончил: — Я упросил их оставить меня здесь еще на две недели. Но, может быть, вы хотите, чтобы я ушел?

— Нет, все в порядке, — бесстрастно ответил Хьюз.

— Я хотел бы продолжить наше знакомство, Джерайнт. Конечно, мы не можем писать друг другу писем, но есть телефон. Кроме того, есть автоответчик. Покидая дом, я всегда вставляю туда чистую кассету. Если вам захочется поговорить, пожалуйста, позвоните мне. И если меня не окажется дома, говорите на автоответчик — это не то же самое, но все-таки....

— Сидней, вы очень добрый человек, — тихо произнес астронавт. — Я хочу...

Помолчав минуту, Хьюз сел, затем поднял руки и снял очки. Они так пристали к коже, что отлепились не сразу.

Опустив руки, он взглянул на Шэпира. От долгого пребывания в темноте зрачки расширились. Глаза казались такими же черными, как защитные очки.

— Я вас вижу, доктор, — сказал он. — Да, мне все-таки удалось научиться этому. Но я по-прежнему ношу очки и скрываю свои способности. А знаете почему? Вам хочется знать, что я вижу, когда смотрю на вас?

— Да, — тихо ответил Шэпир.

— Жалкое пятно. Неясную тень. Незавершенность, рудимент, помеху для света! Что-то абсолютно неважное! И нет ничего хорошего в том, что вы добрый человек! Понимаете, доктор?

— А когда вы смотрите на себя?

— То же самое. Абсолютно то же самое. Никчемную банальность. Пятно в поле зрения.

— В поле зрения? В чем поле зрения?

— А вы как думаете? — устало и немного язвительно спросил Хьюз. — Что для вас является истинным видением? Наверное, реальность. Там, на Марсе, меня запрограммировали воспринимать реальность и видеть истину. Я видел Бога. — Закрыв глаза, он уткнулся лицом в ладони и тихо прошептал: — Всю жизнь я считал себя рассудительным человеком. И здесь тоже пытался сохранять свою рациональность. Но какой смысл в здравом рассудке, если ты можешь видеть истину? Увидеть — означает поверить...

Он снова посмотрел на Шэпира. Его темные глаза, казалось, заглядывали в душу собеседника.

— Если вы хотите получить настоящее объяснение, спросите у Джо. Он сейчас держится в тени. Но он ждет подходящего момента. Только Темский может рассказать вам обо всем. И расскажет, когда придет его время. Джо может излагать словами то, что слышит, — а это почти невозможно сделать с визуальным восприятием. Мистикам всегда было трудно передать свои видения словами. Пророками были лишь те, кто слышал Слово, или Голос. Приняв его, они начинали действовать. И Темский тоже будет нести свет истины через крошечную мглу. А я не буду. Все эти проповеди и учения не по мне. Я не хочу становиться миссионером.

— Миссионером?

— Неужели вы не понимаете? Неужели вы еще не поняли, чем является эта «комната»? Тренировочным центром — местом, где вам дается инструктаж...

— Вы хотите сказать, религиозным центром? То есть церковью?

— В некотором смысле, да. Местом, где вас учат видеть, слышать и познавать великого Бога. И любить Его. Это центр истинного обращения — место, где вас обращают в настоящую веру! А потом вам захочется идти и проповедовать это знание другим — язычникам и варварам. И тогда вам будет ясно, насколько они слепы и несчастны без света истины. Нет, это не церковь! Это великая миссия! Постигая ее, вы становитесь проводником. Те древние пришельцы не были воинами и исследователями. Они были миссионерами, которые сеяли Слово по всей Вселенной. Они несли его расам будущего — тем бедным и несчастным варварам, которые живут в духовной тьме. Узнав ответ, они захотели передать его нам. А когда вы знаете ответ, все уже не важно. Какая разница, хороший вы или плохой, мудрец или идиот? Главное то, что вы носитель великой истины, остальное — пустяки. Земля и звезды — лишь космическая пыль. И смерть, как листопад в круговороте вечности. Ничто не важно! Только Бог!

— Бог пришельцев?

— Нет, просто Бог — единый и истинный, который присутствует во всем. Везде и всегда. Я научился видеть Бога. И все, что я вижу, когда открываю глаза, — это Его светлый лик. Но почему я готов отдать жизнь, чтобы вновь увидеть человеческие лица и деревья — простые деревья? Или старое скрипучее кресло в моей квартире? Вас будет много! Вы поможете Богу и поддержите Свет! А я хочу вернуться в мир — домой, где много вопросов и мало ответов! Я хочу вернуться туда, где у меня была своя жизнь и могла бы быть собственная смерть!

По рекомендации армейского психиатра, который наблюдал за Хьюзом после отставки Шэпира, больного астронавта перевели в военный госпиталь для умалишенных. Поскольку он был тихим и послушным пациентом, его не держали под строгим наблюдением. Это привело к тому, что через одиннадцать месяцев заточения он покончил жизнь самоубийством, перерезав вены на запястьях отломанной рукояткой ложки, которую выкрал из столовой и заточил о раму кровати. По иронии судьбы он умер в тот день, когда «Психея-XV» стартовала с Марса на Землю, перевоза великие раритеты наших предшественников. Эти документы и

записи, переведенные Первым Апостолом, составляют теперь начальные главы «Откровений Древних» — священных текстов великой и универсальной Церкви Бога, принесшей свет несчастным варварам. Да славится этот единственный и нетленный сосуд Вечной Истины!

— О, глупцы, (сказал Я им,) избравшие мрак ночной и отвергшие величие истинного света... Но когда Я показал им их безумие, раздается шепот: «Это Кольцо Жених не отдаст никому, кроме своей невесты».

НАПРАВЛЕНИЕ ПУТИ

Дерево стоит чуть южнее поворота на шоссе номер 18 штата Орегон. В прошлом году оно утратило одну из самых крупных своих ветвей, но выглядит по-прежнему могучим. Несколько раз в год мы проезжаем мимо него, и каждый раз оно представляется нам в высшей степени достойным воплощением теории относительности.

Раньше они были менее требовательны. Разве что порой пустят лошадь галопом, да и то редко; чаще же их лошади шли шагом или неторопливо бежали трусцой. Но для меня истинным удовольствием было постепенно приблизиться к какому-нибудь пешеходу, когда достаточно времени, чтобы завершить это великолепное действие как следует. Человек идет, старается вовсю, быстро перебирая ногами, размахивая руками, и, как все люди, смотрит чаще всего на дорогу или вдаль, на окрестные поля, реже — прямо на меня. А я между тем приближаюсь к нему — неспешно, неуклонно, постепенно вырастая и безукоризненно синхронизируя скорость приближения и скорость роста — и вот наконец превращаюсь из крошечной черточке на горизонте в громадное дерево — шестьдесят футов в те дни — и неожиданно оказываюсь в двух шагах от него, возвышаюсь и нависаю над ним, мрачный, величественный, накрывая его своей густой тенью. И все же люди совершенно меня не боялись. Даже дети. Хотя дети глаз не могли отвести, когда

Direction of the Road
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
Направленис пути
© И. Тогосва, персвод, 1997

я проходил мимо них во всей своей красе, возвышался над ними, а потом начинал постепенно уменьшаться.

Порой жарким полуднем кто-нибудь из взрослых людей останавливал меня и ложился, прислонясь ко мне спиной, и лежал так час или больше. Я не возражал. У меня отличный холм, хорошо освещенный солнцем, свежий воздух, приятный ветерок, отсюда открывается прекрасный вид, так что я совсем не против постоять на месте часок-другой или даже весь день. В конце концов, состояние покоя лишь относительно. Достаточно взглянуть на солнце, чтобы понять, как быстро ты идешь; да к тому же еще и растешь постоянно, особенно летом. Но я всегда бывал тронут тем, как доверчиво люди прислонялись ко мне, позволяя мне опираться об их теплые спины, а порой и крепко засыпали у моих ног. Мне они нравились. Они, правда, редко делали для нас, деревьев, что-нибудь полезное, в отличие от птиц, но я безусловно предпочитал их белкам.

В те дни они обычно ездили на лошадях, что было, по моему, довольно весело. Особенно я любил легкий галоп и стал большим знатоком этого аллюра, в котором плавные и ритмичные движения сопровождаются попеременным уменьшением и увеличением в размерах и топотом копыт, похожим на плеск крыльев, что дает практически ощущение полета. Быстрый галоп менее приятен: слишком резкие движения, слишком громкий топот. Кажется, что тебя, точно сопливый саженец, гнет и ломает буря. К тому же теряется очарование постепенного приближения и вырастания — перед моментом максимального возвышения, — а потом неторопливого отступления и уменьшения. В быстрый галоп бросаешься, как в бурную реку — ду-думп, ду-думп, ду-думп! — и всадник слишком поглощен скачкой, а лошадь — аллюром, так что им даже по сторонам взглянуть некогда. Впрочем, тогда быстрым галопом скакали не так часто. В конце концов, лошадь — существо смертное и, как все эти слишком вольные существа, быстро устает; так что люди старались не утомлять своих коней без особой нужды, что в те дни, похоже, случалось редко.

Да, давненько не доводилось мне скакать галопом! Если честно, я не возражал бы пробежаться разок как следует! В конце концов, это весьма бодрит.

Я помню, как впервые увидел автомобиль. Я, как почти все деревья, сперва принял его за смертную тварь, за некую дикую их разновидность, до сих пор просто мне не

встречавшуюся. Что меня, однако, несколько озадачило: мне казалось, что за свои сто тридцать два года я изучил всю местную фауну. Однако новое всегда вызывает интерес, и я внимательно вглядывался в незнакомца. Я приближался к нему довольно быстро, однако это был не совсем галоп; аллюр нового «существа» был довольно неуклюжим. И не успел я вырасти на фут, как понял, что эта штука неживая; это было не животное, дикое или домашнее, и не дерево. Больше всего оно было похоже на повозку, в которую запрягают лошадей, однако, на мой взгляд, сделанную довольно неудачно. Когда эта повозка скрылась за холмами на западе, я от всего сердца надеялся, что она никогда больше не вернется, ибо мне ее неровный, какой-то дергающийся аллюр совершенно не понравился.

Однако автомобиль стал появляться на дороге регулярно, и мне невольно пришлось с ним встречаться. Каждый день в четыре часа я приближался к нему с запада, некрасиво дергаясь при этом, быстро увеличивался до максимальных размеров и уменьшался снова. А в пять часов мне снова приходилось все это проделывать, двигаясь к нему уже со стороны востока — точно марионетка, точно какой-то жалкий кролик на обочине! — и все мои шестьдесят футов при этом дергались и извивались, пока наконец отвратительный маленький монстр не исчезал вдаль. Лишь тогда я наконец мог вздохнуть с облегчением, расслабиться и вытянуть ветви навстречу вечернему ветерку. В автомобиле всегда сидели двое: молодой мужчина за рулем и, на заднем сиденье, старушка, вся закутанная и смотревшая сердито. Может, они что-то и говорили друг другу, да только я ничего ни разу не слышал. А ведь в те времена мне доводилось слышать на дороге немало всяких разговоров. Но эти, в машине, всегда молчали, по-моему. Верх у нее был открыт, но она сама производила столько шума, что не слышно было даже звонкого голоса воробья, что жил у меня в тот год. И звуки эти были почти такими же отвратительными, как и дергающийся аллюр.

Всем в нашем семействе свойственны твердые принципы и чувство самоуважения. Как известно, девиз дубов — «Лучше сломаться, чем согнуться!», и я всегда старался придерживаться этого принципа. Вы должны понять, что не только я лично, но и наша фамильная гордость бывали уязвлены, когда мне приходилось столь безобразно дергаться и извиваться.

Яблони в саду у подножия холма, похоже, не испытывали подобных негативных чувств; но ведь яблони — деревья ручные. Веками люди вносили самовольные изменения в их генетический код. Кроме того, яблони — существа стадные; ни одно садовое дерево не в состоянии даже самостоятельно выразить мнение по какому-либо вопросу.

Свое же личное мнение я держал при себе.

Но был очень доволен, когда автомобиль перестал нас терроризировать. За целый месяц он не появился ни разу, и целый месяц я спокойно и охотно шел навстречу людям, бежал навстречу лошадям и даже подпрыгнул разок ради малыша, которого мать несла на руках, очень стараясь, хотя и безуспешно, чтобы он обратил на меня внимание.

Однако уже в сентябре — да, ласточки улетели как раз незадолго до этого события — появился другой автомобиль, причем совершенно неожиданно, и заставил двигаться и меня, и дорогу, и мой холм, и сад, и поля, и крышу фермерского дома... Все кругом задергалось, закачалось и помчалось с востока на запад; быстрее чем галопом, я так никогда раньше не бегал. У меня едва хватило времени возвыситься над автомобилем, а уже буквально в следующее мгновение пришлось съезживаться снова.

Назавтра мы увидели новую машину.

А потом они стали делом обычным; и новые появлялись каждый год, каждую неделю, каждый день. Автомобили были теперь составляющей нашего Порядка Вещей. Дорогу перекопали, расширили, положили новое покрытие, и она стала ровной и скользкой, как след слизняка; на ее отвратительной поверхности не осталось ни одной колеи, ни одной лужицы, ни одного камня, ни одного цветочка. Обычно при дороге существовало немало диких тварей — кузнечики, муравьи, жабы, мыши, лисы и так далее; многие из них были слишком малы, чтобы совершать движение — они и увидеть-то толком вокруг себя ничего не могли. Теперь же все эти существа дороги избегали, а те, что не были достаточно мудры для этого, гибли, оказывались буквально *размазаны* по ее поверхности. Множество кроликов приняли такую смерть буквально у меня под ногами! Слава Богу, что я дуб; меня хоть и можно сломать или вывернуть из земли с корнями, срубить или распилить, но ни при каких обстоятельствах нельзя *размазать* по земле.

В связи с тем что по дороге теперь сновало туда-сюда столь много машин, мне пришлось овладеть новым мастер-

ством. Впрочем, еще ростком, едва проклюнувшимся из желудка, я выучился основному из этих трюков: умению двигаться в обе стороны одновременно. Причем выучился этому невольно, просто под давлением обстоятельств — это случилось, когда я впервые увидел пешехода, бредущего на восток, и всадника, едущего ему навстречу, так что мне пришлось двигаться в обоих направлениях сразу. Да, некоторые искусства даются нам, деревьям, без малейших усилий. Я, правда, немного понервничал, но мне успешно удалось миновать всадника и уменьшиться, хотя в то же самое время я шел навстречу пешеходу и подрастал (в те дни возвышаться над ним я еще не мог!), а всадник меня видеть уже не мог. Я был очень горд собой — ведь я, совсем еще младенец, впервые с честью справился со столь сложной задачей! Однако сложно это оказалось скорее на словах. С тех пор я не задумываясь проделывал подобные трюки бесчисленное множество раз; я мог бы сделать это даже во сне. Но приходило ли вам когда-либо в голову, сколько требуется мастерства, когда нужно одновременно увеличиться — причем с различной скоростью! — для каждого из водителей, предположим, сорока автомобилей, и уменьшиться для сорока других, движущихся в другую сторону, и при этом помнить, что нужно еще возвыситься над каждым в точно определенный момент? И все это приходится делать каждую минуту, часами, с рассвета до заката, а то и после наступления темноты?

Ибо теперь моя дорога стала чересчур оживленной; она трудилась день и ночь, и движение на ней отнюдь не уменьшалось. Приходилось трудиться и мне. Правда, теперь уже не так дергаясь и извиваясь. Однако возросла скорость; я вынужден был бежать все быстрее и быстрее, мгновенно вырастать, возвышаться в течение доли секунды и столь же поспешно уменьшаться. Не имея даже времени, чтобы насладиться этим! И так без передышки.

Очень мало кто из водителей хотя бы мельком смотрел на меня. Они, похоже, вообще больше ничего не замечали вокруг: сидели, тупо уставившись вперед, на дорогу, и, похоже, считали, что «куда-то едут». К передней дверце автомобилей было приделано маленькое зеркальце, в которое они поглядывали, чтобы понять, где находятся, и снова смотрели прямо перед собой. Я раньше полагал, что только у жуков существуют подобные заблуждения относительно понятий «движение» и «прогресс». Жуки всегда носятся до-

вольно бестолково и вверх никогда не смотрят. Мне их интеллектуальные способности казались близкими к нулю. Но жуки, по крайней мере, оставляли меня в покое.

Честно признаюсь: порой, в благословенной ночной темноте, когда луна не серебрила светом своим мою вершину и звезды не выглядывали из-под ветвей, когда я наконец мог немного отдохнуть, я всерьез подумывал о снятии обязательств, возложенных на меня общим Порядком Вещей: я больше не мог двигаться. Нет, разумеется, это было всерьез лишь наполовину. Просто я очень устал. Но уж если даже пушистая трехлетняя глупышка-ива у подножия холма понимала свою ответственность перед Порядком Вещей и ради каждой машины дергалась, подпрыгивала, мгновенно вырастала или съеживалась, тот как же я, могучий дуб, мог уклониться от своих обязанностей? Как говорится, *poblesse oblige*. Я абсолютно уверен: ни один желудь, оброненный мною на землю, никогда не нарушил бы своего обещания.

В течение пятидесяти или шестидесяти лет я старался поддерживать Порядок Вещей, сознательно создавая у людей иллюзию того, что это они «куда-то движутся». Я не прочь делать это и впредь. Однако случилось нечто ужасное, и теперь я протестую.

Это ничего, что мне вечно приходится двигаться в противоположных направлениях одновременно; я не против весьма неприятной для меня скорости — 60—70 миль в час. Я готов продолжать жить так до своего смертного часа, пока сам не рухну на землю или меня выкорчуют с помощью бульдозера. Это моя работа, в конце концов. Однако я решительно возражаю против того, чтобы меня делали вечным!

Я не имею к Вечности ни малейшего отношения. Я дуб, не более того, но и не менее. У меня есть определенные обязанности, и я их выполняю. У меня есть и свои маленькие радости, хотя я их получаю все реже и реже, поскольку птиц становится все меньше и меньше, а ветер превратился в зловонное дыхание. Но я — хоть я, возможно, и долгожитель — имею, черт побери, право на непостоянство! Я смертен — и в этом моя привилегия. Которую у меня отняли!

Отняли год назад, мартовским дождливым вечером.

В тот вечер стаи машин как всегда с грохотом дергались на дороге, мчавшейся в обоих направлениях, а я был так занят бесконечными увеличениями и уменьшениями, к тому же так быстро темнело, что я заметил непорядок, лишь

когда это уже произошло. В одной из машин водитель явно решил, что его желание «куда-то ехать» важнее, чем у всех прочих, и попытался обогнать автомобиль, ехавший перед ним. Этот маневр предполагает временное искажение Направления Пути и перемещение предмета на ту сторону дороги, которая обычно движется в обратном направлении (могу отметить, что высоко ценю Дорогу и восхищаюсь ее мастерством в осуществлении подобных маневров, которые, должно быть, чрезвычайно сложны для неживого существа, созданного руками человека). Однако, когда первая машина выехала на полосу встречного движения, ей навстречу двигалась другая машина, оказавшаяся от нее чересчур близко, чтобы что-то предпринять. Дорога тоже ничего не могла с этим поделать — она, как всегда, была чрезвычайно загружена. Пытаясь избежать лобового столкновения, машина, и без того нарушившая Направление Пути, полностью его изменила, заставив дорогу изогнуться петлей с севера на юг, а меня — прыгнуть прямо на середину шоссе. Выбора у меня не оставалось: вынужденный двигаться со скоростью восемьдесят пять миль в час, я после прыжка необычайно быстро вырос до угрожающих размеров и... ударил эту машину.

Я потерял значительную часть коры и, что более существенно, немало камбия; но поскольку во мне семьдесят два фута в высоту и не менее девяти футов в поперечнике, я, в общем-то, пострадал не так уж сильно. Хотя ветви мои содрогнулись так, что с них слетело прошлогоднее гнездо малиновки; да и морально я был просто потрясен, я даже застонал — единственный раз в жизни я проявил свои эмоции вслух!

А машина кричала страшно. Задняя ее часть не слишком пострадала от моего удара, но передняя вся была искорежена и перекручена, точно старый корень; блестящие куски металла разлетелись во все стороны, усыпав землю ледяной изморозью.

Водитель даже пикнуть не успел: я убил его мгновенно.

Но протест мой связан не с этим вынужденным убийством. У меня не было выбора, а потому нет и сожалений. Я протестую... нет, мне этого больше не вынести! Дело в том, что, когда я прыгнул на машину, водитель меня *увидел*. Он наконец-то поднял глаза! И увидел меня таким, каким меня никогда никто больше не видел, даже дети. Даже в те дни, когда люди еще смотрели на мир вокруг них. Он уви-

дел меня *целиком*, и больше не успел увидеть ничего — ни в тот момент, ни потом. Я заслонил для него все остальное в мире.

Он увидел меня в свете Вечности, чем и смутил мне душу. А поскольку именно в момент этого ложного видения мира он умер и теперь ничего уже не изменишь, я оказался в ловушке, навечно застряв в том единственном мгновении.

Это совершенно невыносимо! Я не могу поддерживать подобную иллюзию. Если эти люди не способны понять теорию относительности, Бог с ними; но должны же они понимать, насколько все в мире взаимосвязано?

Если это так уж необходимо для поддержания Порядка Вещей, я готов убивать водителей автомобилей, хотя убийство обычно не вменяется дубам в обязанность. Однако несправедливо требовать от меня еще и играть роль самой Смерти. Ибо я не смерть. Я жизнь: я смертен.

Если люди хотят воочию видеть смерть в нашем мире, это их дело. Но изображать для них Вечность я не стану. И пусть они не обращаются к деревьям в поисках смерти. Если хотят ее видеть, пусть лучше смотрят друг другу в глаза: она там.

УХОДЯЩИЕ ИЗ ОМЕЛАСА

(вариации на тему из сочинений
Уильяма Джемса)

Центральная идея публикуемого ниже психомифа — тема козла отпущения — отсылает нас прямоком к «Братьям Карамазовым» Достоевского, и несколько человек уже спрашивали меня с легким подозрением, как бы ожидая подвоха, почему я одалживаюсь именно у Уильяма Джемса. Ответ весьма банален — с тех самых пор как мне минуло двадцать пять лет, я была совершенно не в силах перечитывать любимого некогда классика и попросту запомнила о бесспорном его приоритете. Лишь наткнувшись на подобный же пассаж в «Нравственном философе и нравственной жизни» Джемса, я пережила подлинный шок узнавания. Вот как он звучит:

Если допустить гипотетически, что нам предложено существовать в мире утопий досточтимых Фурье, Беллами и Морриса, где благополучие и счастье миллионов зиждутся единственно на том простейшем условии, что некая пропащая душа где-то на самом краю мироздания должна влачить одинокое существование в ужасных мучениях, о которых, невзирая на их удаленность и уникальность, тут же становится известно каждому, то, хотя от предоставленной нам утопии мы и не в силах отказаться, каким же звериным оскалом оборачивается к нам все наше блаженство, наше осознанное приятие подобной сделки с собственной совестью!

The Ones Who Walk Away from Omelas
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
Уходящие из Омеласа
© Издательство «Полярис», перевод, 1997

Вряд ли вообще возможно лучше сформулировать дилемму американского самосознания. Достоевский был величайшим из художников и к тому же проповедником самых радикальных взглядов, но его преждевременный социальный порыв обернулся против него же самого, ввергнув в пучину реакционного насилия. Тогда как типичный американский джентльмен Джемс, кажущийся сегодня столь мягким, столь наивно интеллигентным, — взгляните, как часто употребляет он уничижительное местоимение «мы» («нас», «наше»), как бы скромно предполагая несомненное равенство с собой любого из своих читателей — был, есть и навсегда останется носителем истинного философского радикализма. Сразу же вслед за пассажем о «пропащей душе» Джемс продолжает:

Все высочайшие, все самые пронзительные идеалы — насквозь революционны. Они редко преподносятся нам в одежках из прошлого — куда как чаще под видом якобы убедительных воспоминаний о вероятном будущем, из которых обществу предстоит извлечь лишь очередной урок повиновения...

Связь двух приведенных сентенций с публикуемым здесь рассказом, с фантастикой вообще, со всеми размышлениями о будущем — самая что ни на есть непосредственная. Идеалы как «воспоминания о будущем» — до чего же деликатное и в то же время весьма отрезвляющее замечание!

Естественно, я отнюдь не сидела перед открытым томом Джемса, когда у меня родилось намерение изложить историю об этой самой «пропащей душе». Прямые замыкания в жизни сочинителя — крайняя редкость. Я уселась писать, потому что сама переживала тогда нечто подобное, не имея в голове ничего, кроме одного лишь слова «Омелас», которое позаимствовала с обычного дорожного указателя «Салем (Орегон)» — справа налево. А вам не доводилось разве читать таким образом дорожные указатели? ПОТС. ОНЖОРОТСО, ИТЕД. ОКСИЦНАРФ НАС... Салем это шалом, это саям, это — мир. Мелас. О мелас. Омелас. Нотте helas *. «Откуда вы черпаете свои сюжеты, миссис Ле Гуин?» Из полузабытого Достоевского да еще из прочитанных задом наперед дорожных указателей, разумеется. Откуда же еще?!

* Чсловск, увы (фр.). Произношение созвучно слову «омелас'с».

С гулкой перекличкой колоколов, взметнувшей ласточек в поднебесье, в город Омелас, высящий светлые башни свои у самого моря, приходит Праздник Лета. Такелаж бесчисленных судов в гавани радостно расцветает пестрыми гирляндами флагов. По улицам меж бесконечных рядов красных черепичных крыш и выбеленных стен домов, мимо древних, поросших мхом садов, под тенистыми купами могучих деревьев, мимо больших парков и гигантских общественных зданий движутся процессии. Одни торжественные — старики в длинных одеяниях из лилового и серого грубого полотна, степенные мастеровые, матроны с младенцами на руках, тихонько сплетничающие между собой на ходу. На иных же улицах музыка звучит быстрее, там сверкают тамбурины и гонги, люди идут вприпляску, само шествие — сплошной непрерывный танец. Неугомонные детишки шныряют под ногами у взрослых, звонкие их голоса взмывают над ликующей толпой, пересекаясь с молниеносными росчерками обезумевших ласточек. Все процессии движутся к северной окраине, где на большом заливом лугу, именуемом Зеленым долом, тонконогие юноши и девушки, облаченные лишь в просвеченный солнцем воздух, с заляпанными грязью лодыжками, уже разогревают норовистых коней перед скачками. На скакунах, кроме простейшей уздечки без удила, никакой лишней сбруи. Зато пышные гривы изукрашены блестящими лентами всех цветов радуги. Жеребцы раздувают ноздри, фыркают и, бахвалясь друг перед другом, встают на дыбы; они возбуждены, ведь лошадь — единственное домашнее животное, принимающее человеческие празднества за свои собственные. С севера и запада город вместе с уютной бухтой охватывает гигантской подковой горная гряда. Утренний воздух столь прозрачен, что все восемнадцать вершин Великого кряжа слепят своими обледелеными пиками. Едва ощутимый бриз нежно полощет флаги, которыми размечен большой беговой круг. Тишину просторного луга нарушает лишь музыка, доносящаяся с улиц; она звучит то тише, то громче, но определенно приближается, принося с собой упоительное чувство праздника. Звуки музыки время от времени заглушаются звонкими и радостными переливами благовеста.

И еще какими радостными! Как выразить эту радость словами? Как описать вам жителей Омеласа?

Они отнюдь не простаки, доложу я вам, хоть и счастливы постоянно. Это мы, в отличие от них, разучились выражать свою радость словами и даже искреннюю улыбку толкуем порой как нечто сродни атавизму. К описанию, вроде приведенного выше, как бы само собой напрашивается определенное продолжение. Хочется изобразить некую августейшую особу, монарха верхом на благородном скакуне в окружении блистательной свиты или — как вариант — его же в сверкающем чистым золотом паланкине, покоящемся на могучих плечах темнокожих невольников. Но — нет, не будет вам никакого монарха! В Омеласе не ведают рабства, не пользуются мечами. Жители Омеласа отнюдь не варвары. Мне не знаком свод законов их общественного устройства, но мнится — он краток до чрезвычайности. Как обходятся они без монархии и без рабства, так ни к чему им и наши биржи с банками, рекламные агентства, тайная полиция, ядерное оружие. И все же — повторюсь! — они отнюдь не простаки, не сладкогласные аркадские пастушки, не благородные дикари, не кроткие обитатели утопии. Они ничуть не примитивнее нас. Увы, все мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам, — привычке считать любое проявление счастья признаком безнадежного кретинизма. Мол, лишь в страдании истинная мудрость, лишь зло и боль интересны. Эдакое чисто эстетское предательство — отказ признать грех банальным, а страдание невыносимо скучным. Мол, не можешь предотвратить страдание — стань сам воплощением этого страдания. Будет больно — повтори еще разок. Но ведь, превознося отчаяние и боль, мы порицаем радость, подставляя щеку насилию, раскрывая ему свои объятия, утрачиваем остальные ценности. И уже практически все растеряли — мы больше не в силах описать даже простое человеческое счастье, не в силах ощутить радость без причины, саму по себе.

Как же рассказать вам все-таки о жителях Омеласа? Они вовсе не дети, наивные и безмятежные, — хотя их чада и в самом деле безмятежно счастливы. Они зрелые, страстные, интеллигентные люди, просто в их жизни нет места унынию. Чудо? Вовсе нет, но где же сыскать верные слова, чтобы убедить вас в этом? Омелас выходит у меня каким-то сусальным, точно пряничный домик из старинной сказки —

помните: «в тридевятom царстве, в тридесятom государстве жили-были...» et cetera. Быть может, чем пытаться угодить на все вкусы, лучше оставить кое-что и на долю вашего собственного воображения? Как, к примеру, обстоит в Омеласе дело с техникой? Полагаю, машин на улицах и вертолетов над головой там быть не должно — это проистекает из того неперемennого условия, что жители Омеласа счастливы. Счастье же всегда основано на умении различать необходимое, не столь уж необходимое (но безвредное) и избыточное (то есть разрушительное). В среднюю категорию — без чего можно обойтись, но что делает жизнь человека значительно комфортнее — мы могли бы включить (для них, жителей Омеласа) центральное отопление, поезда подземки, стиральные машины, а также все те удивительные устройства, чудеса технологии, что пока нам неизвестны, вроде свободно парящих над головой светильников, источников энергии, практически не требующих горючего и не загрязняющих среду, лекарств против насморка — и прочее в том же роде. А может, ничего этого у жителей Омеласа нет и в помине — неважно. Как вам больше глянется. Что же до меня, то представляется, будто жители окрестных поселений съезжались на фестиваль в Омелас заблаговременно на небольших, но весьма быстроходных поездах и двухъярусных трамваях, а здание вокзала — одно из самых великолепных в городе, хотя и поскромнее величественных куполов Центрального рынка. И все же опасаясь, что нарисованная картинка, несмотря на включение в нее железной дороги, кое-кому из вас пока еще не представляется достоверной. Эдакие розовые сопли — вечные улыбки, малиновый перезвон, парады, гарцующие кони, цветы и прочее в том же духе.

Если вам кажется, что Омеласу недостает оргий — будьте так любезны! Если поможет, то не колеблясь прибавьте сюда оргию. Только, Бога ради, попытайтесь обойтись без святилищ, из врат коих высыпают прекрасные обнаженные жрецы и жрицы уже почти в экстазе, готовые разделить свой любовный пыл с первым встречным, знакомым и незнакомым, любим, кто возжаждет слияния с глубинным божеством, обитающим в его жилах, — хотя именно таков был изначальный мой замысел. Так оно лучше — Омелас без храмов или, во всяком случае, без жрецов в этих храмах. Религия — пожалуйста, духовенство же — нет. Пусть бродят себе окрест обнаженные красотки и красавчики, предлагая себя жаждущим неистовства плоти как некое божест-

венное суфле — пусть! Пусть вливаются они в процессии, пусть такт совокуплений во всеуслышание отбивают тамбурины, а гонги возвещают о триумфе страсти. И пусть те (и это немаловажно!), кто появится на свет как плод этих божественных ритуалов, станут предметом всеобщего обожания и поклонения. Одно я знаю точно: чувство вины жителям Омеласа неведомо. Чего же еще нам недостает? Сперва казалось, что наркотикам вроде бы не место в Омеласе, но это во мне говорил завзятый пурист. Пусть для тех, кому это требуется, улицы города вечно благоухают слабым, но стойким ароматом *друйза*, зелья, которое сперва вызывает величайшее просветление в голове и необыкновенную легкость в членах, а спустя часы — томление и сонливость, и удивительные видения, приоткрывающие завесу над сокровенными тайнами мироздания, — подобные тем, что доступны нам в краткий миг апофеоза любви; и пусть не возникает никакой зависимости от употребления *друйза*. Но в расчете на более изысканный вкус, для гурманов, я предлагаю завести в Омеласе также и обычай варить светлое пиво.

В чем же еще нуждается этот счастливый город, чего еще ему не хватает? Ощущения победы, разумеется, торжества мужества. Но уж если мы сумели обойтись без духовенства, попробуем обойтись и без солдат. Торжество после успешной резни — не то торжество, что нам нужно, оно сюда не подходит, ибо порождает один лишь ужас и слишком тривиально. Беспредельная, но сдержанная удовлетворенность, великодушный триумф, и не над каким-то там внешним противником, но через единение с наипрекраснейшим в людских душах, через приобщение к благодати летней природы — вот что переполняет сердца обитателей Омеласа, и виктория, которую они празднуют, суть торжество самой жизни. Не думаю, что многим из них всерьез надобен *друйз*.

Почти все процессии тем временем уже достигли Зеленого дола. Из-под алых и голубых навесов пекарей струятся умопомрачительные ароматы. Рожицы ребятишек уморительно перемазаны кремом; даже в пушистой седой бороде старца можно заметить крошки пирожного. Юноши и девушки, осадив своих взбудораженных коней неподалеку от стартовой линии, оглаживают им холки. Какая-то бойкая старушенция, жирная и коротконогая, заливаясь визгливым смехом, раздает всем вокруг охапки цветов из огромной корзины, и высокие юноши тут же венчают ими свои роскошные волосы. Чуть в стороне от толпы устроился на

травке мальчуган лет десяти с мечтательными темными глазами и наигрывает себе на флейте. Слушая, люди просветленно улыбаются, но не заговаривают с юным дарованием — все равно он, околдованный сладостной магией мелодии, ничего не услышит.

Вот он кончил играть, и руки, нежно сжимающие флейту, расслабленно опускаются.

И тут, словно наступившая вдруг тишина послужила своеобразным сигналом, из павильона у стартовой черты долетает пение трубы — звук властный, но вместе с тем пронзительный и щемящий. Кони взвиваются на дыбы и откликаются на призыв беспокойным ржанием. Юные всадники с разом посерьезневшими лицами похлопывают, поглаживают лошадей, приговаривая: «Ну-ну, тише, мой милый, тише, радость моя, моя надежда...» — и начинают выстраиваться на старте в шеренгу. Толпа вдоль всей линии забега теперь точно тростник на ветру. Праздник Лета начался.

Вы поверили? Убедило вас описание празднества, города, радости? Нет? Тогда позвольте мне прибавить еще кое-что.

В глубоком подвале какого-то из величественных общественных зданий Омеласа или, возможно, в погребе одного из просторных частных особняков находится каморка. Она без окон, а дверь всегда заперта на прочный засов. Тусклый свет едва пробивается сюда через щели в толстенных досках — не прямо снаружи, а просочившись сперва сквозь затянутое паутиной пыльное окошко где-то в самом дальнем конце погреба. В одном углу каморки стоят в ржавом ведре две ветхие швабры с вонючим окаменелым тряпьем на них. Пол сырой и грязный, как в обычном подвале. Вся каморка три шага в длину и два в ширину — типичный чулан для швабр или железного хлама.

И в ней, в свободном углу, ребенок — неважно, мальчик то или девочка. На вид лет шести, на самом же деле — около десяти. Он слабоумный. Возможно, таким уродился, а может, свихнулся позже от страха, голода, одиночества. Ребенок то ковыряет в носу, то теребит себе пальцы ног, то почесывает гениталии. Сидит он, съезжившись, как можно дальше от ведра с вонючими швабрами. Он панически боится их. Он видит в этих швабрах неких жутких страшилищ. Он изо всей мочи зажмуривается, слабо надеясь, что жуткие швабры исчезнут, но они всегда здесь, а дверь закрыта, и никто не придет. Дверь всегда на запоре, и никто

никогда не приходит к нему, разве что изредка — а ребенок не имеет совершенно никакого представления о времени, — изредка дверь, ужасающе скрежеща, распахивается, и на пороге оказывается человек или несколько. Обычно один из посетителей входит и, ни слова не говоря, грубым пинком поднимает ребенка на ноги, остальные смотрят из-за двери, и лица их искажены отвращением и страхом. Вошедший торопливо наполняет миску кашей, а кувшин водой, дверь захлопывается снова, и испуганные глаза исчезают. Люди эти не произносят ни слова, но ребенок не всегда жил здесь, в этом чулане, он помнит еще свет солнца и ласковые руки матери и порой пытается заговорить с ними сам. «Я больше не буду, — хнычет он. — Выпустите меня отсюда, ну пожалуйста! Я буду очень хорошим!» Но никто ему никогда не отвечает. Прежде ребенок подолгу кричал ночами, зовя кого-нибудь на помощь, захлебывался рыданиями, но теперь только скулит себе потихоньку и все реже и реже заговаривает с людьми. Он крайне изможден, ноги точно былинки, животик неимоверно вздут; кормят его раз в день, дают полмиски кукурузной каши, чуть приправленной тухловатым салом. Одежды он не знает; ножки сплошь в гнойниках и язвах от постоянного сидения в собственных экскрементах.

Все они, все до единого жители Омеласа, знают об этом ребенке. Но далеко не всякий приходит посмотреть на него, иным вполне достаточно знать, что он есть. Однако каждому известно, что так и должно быть, таков неизменный порядок вещей. Некоторые понимают, почему это так, другие — нет, но все как один знают, что общее их счастье, благополучие целого города, прочность дружбы и семейных уз, здоровье собственных детей, мудрость учителей, искусство мастеровых, даже урожайность полей и благосклонность небес — все, буквально все целиком и полностью зависит от нескончаемых страданий этого единственного ребенка.

Только малышня ничего не ведает о несчастном — детям рассказывают об этом, только когда они немного подрастут и рассудок их окажется в состоянии воспринять такое, в возрасте примерно от восьми до двенадцати, и большинство проходящих, чтобы взглянуть на него, именно молодые люди, но не только: достаточно часто появляются в подвале и взрослые, причем иные далеко не впервой. И независимо от того, как тщательно готовили юных

зрителей к предстоящему зрелищу, они всегда испытывают настоящее потрясение. Они чувствуют отвращение, какого еще никогда не испытывали. Испытывают, несмотря на длительную подготовку, боль, ярость, бессилие. Им так хочется хоть что-нибудь сделать для бедолаги. Но ничего сделать нельзя. Нельзя вывести ребенка из грязной дыры на свет божий, нельзя отмыть и накормить, нельзя приласкать. Все это было бы замечательно, но если сделать так, в тот же день и час рухнет благополучие Омеласа, исчезнут бесследно блеск, процветание, счастье всех его обитателей. Таково непеременимое условие. Променять счастье всех и каждого в городе на единственное крохотное улучшение в жизни отверженного, разрушить благополучие тысяч и тысяч ради сомнительного шанса принести благо одному-единственному — вот когда в стенах Омеласа воистину воцарилось бы чувство вины.

Условия же просты и непререкаемы — ребенку нельзя сказать даже одного ласкового слова.

Зачастую, увидев ребенка и осознав жуткий парадокс, подростки возвращаются домой в слезах и бессильной ярости. Нередко страшное зрелище не стирается из памяти, стоит перед их мысленным взором недели, месяцы, а то и долгие годы. Но со временем они все же свыкаются с неизбежным, осознают, что, если даже ребенка освободить, большого блага тому это уже не принесет. Какое-то смутное удовольствие от тепла и перемены пищи он, возможно, еще испытает, но и только. Слишком уж слабоумен он, чтобы познать подлинную радость. Слишком долго коснел в страхе, чтобы разом от него освободиться. Слишком неотесан и туп, чтобы правильно реагировать на гуманное к себе отношение. Пожалуй, теперь, после столь долгого затворничества, он уже не сможет жить вне своих тесных стен, без тьмы, без смрада экскрементов под собой. Слезы, вызванные вопиющей бесчеловечностью, высыхают сами собой, когда подростки постигают, что такова суровая справедливость жизни, такова грубая реальность, и они принимают ее, пусть даже и вопреки чувству. И, пожалуй, именно эти слезы, именно эти попытки проявить великодушие и последующее осознание собственного бессилия — именно это, как ничто иное, обогащает юные души. Их счастье более уже не назовешь безмятежным. Они понимают, что несвободны, что сами в чем-то подобны этому существу из подвала. Они извели, что такое подлинное сопереживание.

И поняли, что именно благодаря несчастью этого заморыша и знанию о его существовании так величественна архитектура Омеласа, так мятежна и нежна музыка его композиторов, так основательна наука. Именно поэтому в будущем они столь ласковы и заботливы с собственными чадами. Они знают: если бы не бедолага, жалобно скулящий в потемках подвала, то тот другой, что так виртуозно играет на флейте, не мог бы улаживать их слух музыкой, пока юные всадники во всей своей красе выстраиваются в стартовый порядок в первый солнечный день Праздника Лета.

Ну а теперь-то — поверили вы в них, в жителей Омеласа? Разве теперь они не кажутся вам более правдоподобными? Однако осталось поведать вам кое о чем еще, совсем уж невероятном.

Время от времени случается так, что кто-то из этих юношей или девушек, лицезревших ребенка, не идет домой, чтобы выплакать свою бессильную ярость, вообще не возвращается под отчий кров. Изредка и иной взрослый впадает в странную задумчивость на день-другой, а затем вдруг покидает родные пенаты. Эти люди тихо бредут себе по улицам города в полном одиночестве. Они идут все прямо и прямо и выходят из ворот Омеласа, за пределы его величественных стен. Затем бредут мимо богатых предместий, вдоль колосющихся нив. И каждый из них уходит в одиночку. Наступает ночь, а они все бредут — мимо деревень, мимо светящихся окон, в бесконечную череду полей. По одному уходят они на запад или на север, куда-то в горы. Они уходят. Они покидают Омелас, идут все дальше и дальше, они уходят во тьму и никогда более не возвращаются. Представить себе цель, к которой они стремятся, вообразить место, куда все они направляются, потруднее, пожалуй, чем город счастья Омелас. Мне такое определенно не по плечу. Возможно, что и вовсе не существует его, такого странного места. Но, похоже, они все-таки знают, куда идти — эти люди, уходящие из Омеласа.

ЗА ДЕНЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Посвящается Полу Гудмену, 1911—1972.

Мой роман «Обделенные» — о небольшой планете, где живут те, что называют себя одонийцами по имени основательницы своего общества Одо, жившей за два века до описанной в романе эпохи. Она, таким образом, не является действующим лицом данного произведения — хотя все в нем так или иначе связано с нею.

Одонизм — это анархизм. Но не тот, что связан с террористами и бомбами за пазухой, какими бы иными именами он ни пытался прикрыться. Одонизму не свойственны социально-дарвинистский подход к экономике и доктрина свободы воли, столь характерные для ультраправых. Это анархизм в «чистом» виде, анархизм древних даосов и работ Шелли, Кропоткина, Голдмена и Гудмена. Основной целью критики одонистов является авторитарное государство (все равно — капиталистическое или социалистическое); основу их морали и практической теории составляет сотрудничество (солидарность, взаимопомощь). С моей точки зрения, анархизм — вообще самая идеалистическая и самая интересная из всех политических теорий.

Однако воплотить подобную идею в романе оказалось чрезвычайно трудно; это отняло у меня огромное количество времени, поглотив всю меня целиком. Когда же задача была наконец выполнена, я почувствовала себя потерянной, выброшенной из окружающего мира. Я была там не к месту. А потому испытала глубокую благодарность, когда Одо вышла вдруг из

The Day Before the Revolution
Copyright © 1974 by Ursula K. Le Guin
За день до революции
© И. Тогосва, перевод, 1997

мрака небытия, пересекла пропасть Возможного и захотела, чтобы был написан рассказ — но не о том обществе, которое она создала, а о ней самой.

Эта история — об одной из тех, что уходят из Омеласа.

Голос в громкоговорителе гремел, как грузовик, груженный пустыми пивными бутылками по булыжной мостовой, да и сами участники митинга, сбитые в тесную толпу, над которой звучал этот громоподобный голос, были похожи на булыжники. Тавири находился где-то далеко, на той стороне зала. Ей необходимо было добраться до него, и она, извиваясь и толкаясь, полезла в густую толпу. Слов-она не различала, на лица не смотрела. Слышала лишь какой-то рев над головой да пыталась раздвинуть тела в темной одежде, спрессованные буквально в монолит. Увидеть Тавири она тоже не могла — рост не позволял. Перед ней вдруг выросли чьи-то необъятные живот и грудь. Человек в черной куртке не давал ей пройти. Нет уж, она должна пробиться к Тавири! Вся покрывшись испариной, она замолотила по черной громаде кулаками. Все равно что по камню стучать — он даже не пошевелился, однако его могучие легкие исторгли прямо у нее над головой чудовищный рев. Она струсила. Но вскоре поняла, что не она причина этого рева. Рев разносился по всему залу. Выступавший что-то такое сказал — о налогах или о «теневом кабинете». Охваченная общим порывом, она тоже закричала — «Да! Верно!» — и, снова ввинтившись в толпу, довольно легко выбралась наконец на свободу, оказавшись на полковом плацу в Парео. Над головой простиралось вечернее небо, бездонное и бесцветное, вокруг кивали белыми головками соцветий какие-то травы. Она никогда не знала, как называются эти цветы. Высокие, они покачивались у нее над головой на ветру, что всегда дует над полями по вечерам. Она побежала, и стебли цветов гибко склонялись и снова выпрямлялись в полной тишине. И Тавири стоял среди густых трав в лучшем своем костюме, темно-сером; в нем он всегда выглядел ужасно элегантным, точно знаменитый профессор или артист. Счастливым он ей, правда, не показался, но засмеялся и что-то сказал. При звуке его голоса глаза ее наполнились слезами, она потяну-

лась, хотела взять его за руку, но почему-то не остановилась. Не могла остановиться. «Ах, Тавири! — сказала она ему, — это дальше, вон там!» Станный сладковатый запах белых цветов показался ей удушающим, и она пошла дальше, но под ногами были колючие спутанные травы, какие-то выбоины, ямы... Она боялась упасть... и остановилась.

Солнце, ясный утренний свет безжалостно ударил ей прямо в глаза. Вчера вечером она забыла опустить шторы. Она повернулась к солнцу спиной, но на правом боку лежать было неудобно. Да ладно. Все равно уже день. Она раза два вздохнула и села, спустив ноги с кровати, сгорбившись и разглядывая собственные ступни.

Пальцы ног, всю их долгую жизнь закованные в дешевую неудобную обувь, расплющились на концах и бугрились мозолями; ногти были бесцветными и бесформенными. Узловатая лодыжка обтянута сухой и тонкой морщинистой кожей. Высокий подъем, правда, по-прежнему красив, но кожа серая, а на внутренней стороне стопы узлы вен. Отвратительно. Грустно. Печально. Противно. Достоин жалости. Она пробовала самые различные слова, и все они подходили — будто примеряешь ужасные маленькие шляпки. Ужасно. Да, и это слово тоже подходит. Господи, как противно вот так рассматривать себя! А раньше, когда она еще не была такой ужасно старой, разве она когда-нибудь сидела вот так, любуясь собой? Крайне редко! Она тогда не считала собственное красивое тело объектом для восхищения, удобным инструментом или какой-то драгоценностью, которой следует особенно дорожить; это просто была она сама. Лишь когда твое тело перестает быть тобой, когда начинаешь воспринимать его как свою собственность, начинаешь о нем беспокоиться: в хорошей ли оно форме? Послужит ли еще? И сколько послужит?

— Да какая разница! — сердито сказала Лайя и встала.

От резкого движения закружилась голова. Пришлось схватиться за край столика, чтобы не упасть — упасть она всегда ужасно боялась. Об этом она думала даже во сне, когда тянулась к Тавири.

Но что же все-таки он тогда сказал? Никак не вспомнить. Она не была уверена даже, смогла ли коснуться его руки, и нахмурилась, пытаясь вспомнить. Тавири так давно уже ей не снился! А теперь наконец приснился, и она не помнит даже, что он ей сказал!

Все прошло, все. Она стояла, сгорбившись, в длинной ночной рубашке, и держалась одной рукой за край столика. Когда она в последний раз думала о нем — ладно уж, Бог с ними, со снами! — нет, просто думала о нем, как о «Тавири»? Когда в последний раз произносила его первое имя?

Асьео — да, второе его имя, родовое, она произносила часто. Когда мы с Асьео сидели в тюрьме на севере... Еще до того, как я встретила с Асьео... Асьео и его Теория Обратимости... О да, она говорила об Асьео, даже слишком много говорила! Поминала его кстати и некстати. Но только как «Асьео», только как общественного деятеля. А частная его жизнь, сам он как человек куда-то исчезли. И осталось совсем мало людей, которые хотя бы просто были с ним знакомы. Все их поколение немалую часть своей жизни провело в тюрьмах. У них даже шутка была такая: мол, у меня все друзья «сидят» спокойно, найти легко. А теперь их нигде не найдешь, даже в тюрьмах. В лучшем случае — на тюремных кладбищах. Или в общей могиле.

— Ах, дорогой мой! — вырвалось у Лайи вдруг, и она снова рухнула на постель: просто ноги не держали — нелегко было вспоминать первые недели долгих девяти лет, проведенных в застенках крепости Дрио, когда ей сообщили, что Асьео убит на площади Капитолия и вместе с полутора тысячами других убитых сброшен в карьер за Оринг-гейт. А она все это время была в темнице... Руки ее сами привычно легли на колени — правая крепко сжимает левую, поглаживая большим пальцем ее запястье. Часами, сутками напролет она сидела тогда вот так, думая обо всех этих людях вместе и о каждом в отдельности — о том, как они лежат там, как негашеная известь действует на человеческую плоть, как соприкасаются их кости в обжигающей темноте карьера. Чьи кости рядом с Асьео? Как легли теперь его длинные тонкие пальцы? Часы, годы...

— Я никогда тебя не забывала, Тавири! — прошептала она, и глупость, бессмысленность этих слов вернула ее к утреннему свету и смятой постели. Разумеется, она его не забыла. Разве могут забыть друг друга муж и жена? Ну вот и снова ее безобразные старые ноги ступили на пол. Они так никуда и не привели ее; она все время ходила по кругу. Лайя встала, недовольно ворча по поводу собственной слабости, и подошла к шкафу, чтобы одеться.

Молодые обитатели Дома часто ходили по утрам чуть ли не голыми, но она была для этого слишком стара. Не хотелось

портить какому-нибудь юнцу аппетит, явившись к завтраку неодетой. И потом молодняк рос в соответствии с принципами полной свободы как в одежде и сексе, так и во всем остальном, а она — нет. Она только изобрела их, эти принципы. Что далеко не одно и то же.

Они, например, всегда переглядываются и подмигивают, когда она называет Асьео «мой муж». Разумеется, как примерная одонийка она должна была бы употреблять слово «партнер». Но, черт возьми, с какой стати ей-то быть примерной одонийкой?

Лайя прошаркала через холл к ванной комнате и застала там Майро, которая мыла свои длинные волосы прямо в раковине, под краном. Лайя с восхищением смотрела на влажные, блестящие пряди. Теперь она так редко покидала Дом, что даже не помнила, когда в последний раз видела должным образом выбритую голову, и все же густые длинные волосы обитателей Дома по-прежнему доставляли ей удовольствие. Ах, как ее дразнили — «Длинноволосая!», «Волосатая!»; как таскали ее за волосы полицейские или эти оголтелые юнцы из «высшего света»; как в каждой новой тюрьме какой-нибудь ухмыляющийся солдат брил ее наголо!.. А потом волосы отрастали снова — сперва пушок, потом короткая щетинка, потом кудряшки; потом грива... Теперь все это в прошлом. Господи, неужели она сегодня ни о чем другом, кроме прошлого, думать не в состоянии?

Она оделась, застелила постель и спустилась в столовую. Завтрак был вкусный, однако у нее совершенно пропал аппетит после того проклятого инсульта. Она выпила две чашки чая из трав, но даже персик доест не смогла. Как же она любила персики в детстве! Украсть готова была! А в крепости... О Господи, это наконец прекратится или нет! Лайя улыбалась, отвечала на приветствия и заботливые вопросы друзей, ласково смотрела на громадного Аэви, который сегодня дежурил в столовой. Именно он соблазнил ее персиком: «Посмотри-ка, что я для тебя приберег!» — и разве она могла отказаться? Это правда, фрукты она всегда любила, и ей всегда их не хватало. Однажды, когда ей было лет шесть, она стащила персик с тележки зеленщика на Речной улице. А сейчас ей просто кусок в горло не шел, и к тому же все вокруг говорили без умолку. Новости из Тху! Там настоящая революция! Лайя хотела было несколько охладить пыл своих более молодых собеседников — она устала от этих вспышек чрезмерного энтузиазма, — однако, прочи-

тав материал в газете и уловив нечто особенное между строк, подумала со странным чувством глубокой, но холодной уверенности: «А почему бы, собственно, и нет? Что ж, вот и произошел взрыв. И именно в Тху. И Революция достигнет цели сперва там, а не здесь». Словно имеет значение, где она победит в первую очередь! Все равно скоро все государства исчезнут. Однако значение, видимо, это все-таки имело — она вся похолодела и опечалилась, завидуя жителям Тху. Господи, вот еще глупости! Лайя довольно мало участвовала в общих возбужденных разговорах и вскоре встала из-за стола. Оказавшись у себя в комнате, она пожалела о проявленном равнодушии, однако разделить с ними их восторг не могла. Честно говоря, она была уже как бы вне всего этого. Не так-то легко, оправдываясь она перед собой, с трудом карабкаясь по лестнице, признать, что ты выпал из революционного процесса, если находился в самом его центре в течение полувека! Так, теперь она еще и хнычет!

Проблему лестницы и жалость к себе она оставила за дверями собственной комнаты. Комната у нее была хорошая, и хорошо было побыть одной. Ей сразу стало значительно легче. Несмотря на то, что не совсем справедливо ей одной жить в большой комнате. Ребятишки на чердаке живут в таких комнатах впятером. Желających жить в Доме Одонийцев всегда значительно больше, чем там можно как следует поселить. Она пользуется такими удобствами только потому, что стара и перенесла инсульт. Ну и еще, возможно, потому, что она — Одо. Если бы она была простой старухой, пусть даже перенесшей инсульт, вряд ли она бы получила такую комнату, верно? Скорее всего так. А впрочем, кому, черт возьми, приятно жить вместе с выжившей из ума старухой? Трудно сказать, что тут главная причина. Фаворитизм, элитарность, поклонение вождям — все это потихоньку возвращается, выползает из каждой щели. Впрочем, она и не надеялась увидеть на своем веку, как это будет вырвано с корнем; даже через поколение — вряд ли. Лишь Время способно принести столь великие перемены. А пока что... у нее хорошая, большая, солнечная комната, и ей, выжившей из ума старухе, которая начала Всемирную Революцию, здесь хорошо и удобно.

Через час должен прийти ее секретарь; он поможет справиться с сегодняшними делами. Лайя прошаркала через всю комнату к письменному столу; красивый, большой стол

был подарком ей от синдиката столяров-краснодеревщиков Нио. Кто-то из них однажды услышал ее замечание о том, что она всю жизнь мечтала только об одном предмете мебели — хорошем письменном столе со множеством ящиков и просторной столешницей... Вот безобразие! Весь стол буквально завален бумагами! И к каждой прикреплена записочка, написанная мелким четким почерком Нои: «Срочно»; «Северные провинции»; «Проконсультироваться по радиотелеграфу».

У нее-то почерк совершенно переменялся после гибели Асьео. Странно, если подумать. В конце концов, уже через пять лет после этого она закончила «Аналогию». И написала невероятное количество писем, которые два года тайком переправлял для нее тот высокий охранник с серыми водянистыми глазами — как его звали? а впрочем, неважно! «Письма из тюрьмы» — так они теперь называются; эта книга переиздавалась более десяти раз. Чушь! Ее и до сих пор уверяют, что письма эти «исполнены духовной силы» — что, на самом деле, свидетельствует о том, что она без зазрения совести лгала себе самой, когда их писала, лишь бы не пасть духом! Однако и письма, и «Аналогия», безусловно самая солидная и умная из ее книг, — все это написано в крепости Дрио, в одиночной камере, уже после смерти Асьео. Ей же нужно было что-то делать, а в крепости позволялось иметь бумагу и ручку... И все это написано торопливым дрожащим почерком, который всегда казался ей чужим — ведь когда-то почерк у нее был округлый, аккуратный, таким в сорок пять лет ею была написана работа «Общество без правительства». В тот карьер Асьео унес с собой не только жажду и томление ее тела и духа, но и ее ясный, четкий, красивый почерк.

Зато он оставил ей Революцию.

Как это мужественно с вашей стороны — продолжать жить, продолжать работать в тюрьме, когда Движение потерпело такую неудачу и ваш партнер погиб!.. Так ей обычно говорили с сочувствием. Кретины чертовы! А что еще оставалось ей делать?! Мужество, смелость... А что такое смелость? Она никогда не могла определить это достаточно четко. «Не бояться» — так утверждают одни. «Бояться, но все же продолжать действовать» — так говорят другие. Но разве можно совсем перестать действовать? Разве есть какой-то выбор?

Умереть — это всего лишь пойти в другом направлении.

А если хочешь вернуться домой, нужно продолжать идти вперед — вот что она имела в виду, когда писала: «Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение». Тогда это всегда было не более чем интуитивное откровение, да и теперь она, пожалуй, весьма далека от того, чтобы дать своему высказыванию рационалистическое объяснение. Она быстро нагнулась — охнув, так болезненно хрустнули суставы, — и стала рыться в нижнем ящике стола, пока не нащупала папку, ставшую от старости мягкой. Пальцы узнали ее еще до того, как глаза подтвердили: да, это та самая рукопись, «Организация синдикатов в переходный период Революции». Он тогда еще написал на папке печатными буквами название работы, а под ним — свое имя: Тавири Одо Асьео, IX 741. Вот это почерк! Элегантный, каждая буковка совершенна, четко прописана и плавно вливается в слово! Впрочем, Тавири всегда предпочитал пользоваться диктофоном. И эта рукопись тоже представляла собой перепечатку с диктофона, попутно отредактированную: все сомнительные места выправлены, все погрешности и особенности устной речи конкретного человека сглажены. И совершенно невозможно представить, как Тавири произносил звук «о» — глубокий, закрытый; так говорят на Северном Побережье. Здесь ничего не осталось от него самого, только его ум, его мысли. А для нее — лишь имя его, написанное на папке от руки. Она не хранила его писем — слишком это было бы сентиментально. И вряд ли она хоть чем-то, хотя бы одной какой-нибудь вещью владела более нескольких лет, разве что этим ветхим, состарившимся телом? Ну да от него ей не отвязаться...

Вот и еще один пример дуализма. «Она» и «оно». Возраст и болезнь запросто превращают человека в дуалиста или эскейписта, хотя разум настаивает: «Это не я, не я!» Увы, это ты. Возможно, мистики действительно умели отделять разум от тела; она всегда завидовала этой их сомнительной способности, но никогда не пыталась им подражать. И никогда не любила играть в эскейпизм. Она всегда стремилась к свободе — к свободе немедленно, к свободе для тела и для души.

Сперва пожалеешь себя, потом похвалишь... Ну вот что она сидит, черт возьми, с папкой в руках, на которой написано имя Асьео? Неужели она не вспомнит его имени, не поглядев на слово, написанное его почерком? Что с ней такое? Она поднесла папку к губам и поцеловала четкие

буквы, потом решительно сунула папку в нижний ящик стола и выпрямилась в кресле. Правая рука ее дрожала, будто затекла. Лайя почесала руку, потом потрясла ею в воздухе. Безрезультатно. После того инсульта она теперь всегда чувствовала эту дрожь в правой руке. И в правой ноге тоже. И в правом глазу. И правый уголок рта у нее подергивался. Тело ослабело, перестало ее слушаться. Из-за этой дрожи она порой чувствовала себя роботом, у которого из-за короткого замыкания что-то перегорело внутри.

А время-то идет! Вот-вот явится Нои, а она столько времени занимается черт знает чем!

Она вскочила так поспешно, что споткнулась и вынуждена была ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Потом прошла в ванную и посмотрелась в большое зеркало. Седой узел волос еле держался: она явно плохо причесалась с утра. Некоторое время она боролась с волосами — трудно было долгое время держать руки поднятыми. Амаи, забежавшая в туалет, остановилась, предложила: «Давайте, я сделаю!», и мгновенно уложила волосы как надо у нее на затылке, ловко действуя своими красивыми сильными пальцами и молча улыбаясь. Амаи было двадцать лет, почти в четыре раза меньше, чем ей, Лайе. Родители девушки были участниками Движения; один погиб во время стычки с полицией в 60-м, вторая по-прежнему активно занималась пропагандой в южных провинциях. Амаи выросла среди одонийцев, в их Домах, и была поистине дочерью их Революции, дочерью анархии. Эта девочка казалась Лайе такой спокойной, свободной и красивой, что слезы гордости выступали на глазах при мысли: вот ради чего мы трудились, вот что мы имели в виду, вот оно, живое воплощение прекрасного будущего!

Из правого глаза Лайи Асьео Одо действительно упало несколько слезинок, словно сейчас, среди унитазов и раковин, ее причесывала собственная дочь, которой она так никогда и не родила. Но ее левый глаз, здоровый, не плакал; и не знал того, что делает правый глаз.

Она поблагодарила Амаи и поспешила к себе. В зеркало она успела заметить у себя на воротничке пятно. Наверное, сок персика. Слюнтяйка чертова! Неприятно, если Нои заметит, что у нее изо рта капает на воротник.

Продевая голову в воротник чистой блузки, она подумала: «А что такого особенного в этом Нои?»

И продолжала думать об этом, медленно застегивая ворот блузки.

Нои было лет тридцать. Мускулистый молодой мужчина с мягким голосом и живыми темными глазами. Вот и все, собственно. Но именно это ей всегда и нравилось в мужчинах. Светловолосые или толстые мужчины для нее попросту не существовали; как и великаны с огромными бицепсами. Нет, никогда! Даже в четырнадцать лет, когда она влюблялась в каждого встречного бездельника. Темноволосый, худощавый, с пламенным взором — только такой! Тавири, разумеется. Этот мальчик — ничто по сравнению с умницей Тавири; даже внешне он Тавири в подметки не годится, а все ж таки не желает она, чтобы Нои видел пятнышко у нее на воротничке или растрепанные волосы.

Ее редкие, седые волосы.

Нои вошел, чуть помедлив в дверях. Господи, оказывается, она даже дверь не закрыла, когда переодевалась! Она посмотрела на него и увидела себя. Старуху.

Можешь без конца менять блузки и причесываться, или носить одну и ту же блузку по две недели и по два дня не переплестать косу, или вырядиться в золоченую парчу и напудрить выбритый череп алмазным порошком — все едино. Старуха старухой и останется! Со всеми своими нелепостями.

Ну что ж, постараемся быть опрятной хотя бы из соображений приличий, из уважения к окружающим.

А потом, наверно, и это желание пропадет, и можно будет без стеснения капать слюной на воротник.

— Доброе утро, — ласково поздоровался молодой человек.

— Здравствуй, Нои.

Нет, Господи, нет, не только из соображений приличий! К черту приличия! Это из-за того, кого она любила, для кого ее возраст не имел бы значения! Неужели она, только потому, что Тавири мертв, должна притворяться бесполом существом? Зачем ей скрывать правду — она ведь не из тех проклятых пуритан, что находятся у власти? Еще полгода назад, до инсульта, она заставляла мужчин глядеть на нее, немолодую женщину, с удовольствием! Ну а теперь, когда доставить кому-то удовольствие своим видом она уже не способна, можно же, черт возьми, доставить удовольствие хотя бы самой себе?

Когда Лайе было лет шесть, один из друзей отца, Гадео, часто заходил к нему, и они после обеда разговаривали о

политике, а она непременно наряжалась в золотистое ожерелье, которое мама подобрала где-то и отдала ей. Цепочка была такой короткой, что ожерелья почти не было видно под воротничком. Но Лайе это даже нравилось. Она-то знала, что ожерелье на ней! Присев на ступеньку, она слушала, о чем говорят мужчины, и понимала, что постаралась хорошо выглядеть ради Гадео. Он был темноволосый, белоснежные зубы так и сверкали, когда он улыбался. Иногда он называл ее «красотка Лайя». «А вот и моя красотка Лайя!» И было это шестьдесят шесть лет назад.

— Что ты сказал? Башка сегодня совсем тупая! Ужасно спала. — Это была правда. Сегодня она спала даже меньше, чем обычно.

— Я спросил, видели ли вы сегодняшние газеты?

Она кивнула.

— Как вам понравились события в Сойнехе?

Сойнехе была той самой провинцией Тху, которая вчера объявила о своем отделении от государства.

Нои был явно доволен. Его белые зубы сверкали на смуглом живом лице. «Красотка Лайя...»

— Это хорошо. Но и тревожно, — промолвила она.

— Да, конечно. Но на этот раз все-таки что-то настоящее! Зашаталось государство Тху! Их правительство даже не предприняло попытки ввести туда войска. Видимо, они справедливо опасались, что армия восстанет.

Она была с ним полностью согласна. Но радости его разделить не могла. Целую жизнь прожив одной лишь надеждой и не перестав надеяться, человек утрачивает вкус к победе. Настоящему ощущению победы должно предшествовать полное отчаяние. А отчаиваться она давным-давно разучилась. И побед больше не одерживала. Просто продолжала жить.

— Может быть, мы сегодня займемся письмами?

— Хорошо. Какими именно?

— Ну, на север, — нетерпеливо пояснил Нои.

— На север?

— В Парео, в Оайдун.

Она сама родилась в Парео, грязном городе на берегу грязной реки. А сюда, в столицу приехала лишь в двадцать два года, горя революционными идеями. Хотя тогда все эти идеи были еще весьма зелены и осуществлять их было бы просто опасно. Забастовки с требованиями повысить зарплату, утвердить право женщин на участие в выборах... Вы-

боры, зарплата... Власть и деньги! Господи! Ну ничего, в конце концов, за пятьдесят лет она все-таки кое-чему научилась.

А теперь нужно обо всем этом позабыть.

— Начнем с Оайдуна, — сказала Лайя, поудобнее усаживаясь в кресло. Нои уже сидел за столом, готовый к работе. Он прочитал ей отрывки из писем, на которые предстояло ответить, и она постаралась слушать внимательно, и даже продиктовала одно письмо целиком и начала диктовать второе. — «Помните: на данном этапе ваше революционное братство весьма уязвимо перед лицом... нет, перед угрозой... перед лицом опасности...» — Фраза не получалась, и она бормотала что-то себе под нос, пока Нои не предложил:

— Перед лицом такой опасности, как вождизм?

— Да, хорошо. Пойдем дальше. «И что легче всего жаждет власти совращает именно альтруистов...» Нет. «И что ничто не может совратить альтруистов...» Нет, нет! О, черт возьми, ты же понимаешь, Нои, что я хочу сказать, ну так и пиши сам! Они тоже прекрасно понимают, что все это перепевы старого, вот пусть и почитают лучше мои книги!

— Они жаждут общения, — мягко, с улыбкой заметил Нои, напоминая ей об одной из главных заповедей одонийцев.

— Общение — это прекрасно. Но я что-то устала от общения. Если ты напишешь это письмо сам, я его с удовольствием подпишу, но сегодня я, право, ни на что не способна, все это меня раздражает. — Нои смотрел на нее то ли вопросительно, то ли озабоченно. И она совсем рассердилась: — В конце концов, у меня есть и другие дела!

Когда Нои ушел, она уселась за письменный стол и стала переключать с места на место бумаги, делая вид, что чем-то занята; она была поражена, даже немного испугана тем, что сказала. Никаких других дел у нее, разумеется, не было. Никогда не было. Это ее работа; дело всей ее жизни. Поездки, выступления, собрания, уличные митинги — все это сейчас не для нее, но писать-то она еще может! И даже если б «другие дела» у нее были, Нои, конечно же, знал бы об этом; ведь это он составляет для нее расписание на каждый день и тактично напоминает ей о таких мелочах, как, скажем, сегодняшней визит студентов-иностранцев, о котором она совсем забыла. Ах, проклятье! Ведь она так любит

молодежь, к тому же у иностранцев всегда есть чему поучиться, но она безумно устала от новых лиц, устала быть на виду! Сейчас скорее она у них учится, а не они — у нее; они давным-давно усвоили все, чему она могла и должна была их научить — по ее же книгам, по истории Движения. Они приходят просто посмотреть, словно она Великая Башня Родарреда или знаменитый каньон Тулаивеи. Этаким феномен, памятник. Они смотрят на нее с восторгом, с обожанием, а она рычит на них: «Думайте своей головой!.. Это же не анархизм, а обскурантизм какой-то!.. Надеюсь, вы не считаете, что свобода и дисциплина — вещи несовместные?». Они соглашались и примолкали, точно дети перед Великой Матерью всех народов, перед дурацким идолом, перед вечным символом Материнского Чрева. Это она-то символ! Террористка, заминировавшая верфи Сейссеро, хулиганка, выкрикивавшая брань в лицо премьеру Инойлту перед семитысячной толпой, кричавшая, что ему бы следовало отрезать собственные яйца, покрыть их бронзовой краской и продать в качестве сувениров, если ему кажется, что и из этого можно извлечь какую-то выгоду... Она, которая так пронзительно кричала и ругалась, была полицейских ногами, оплевывала священников, прилюдно мочилась на вделанную в мостовую на площади Капитолия бронзовую доску с надписью: «Здесь было основано суверенное государство А-Йо...». Ах, да ей тогда на все было плевать! А теперь она стала Всеобщей Бабушкой, милой дорогой старушкой, прелестным старинным памятником — приходите, поклонитесь выносившему вас чреву! Огонь потух, мальчики, подходите ближе, не бойтесь!

— Нет, ни за что! — воскликнула Лайя, не замечая, что говорит сама с собой. — Ни за что! — Она и раньше часто бормотала что-то себе под нос, «обращаясь к невидимой аудитории», как это называл Тавири, когда она ходила взад-вперед по комнате, не замечая его. — Жаль, что вы приехали, ведь меня-то не будет! — сказала она «невидимой аудитории» и решила, что ей непременно следует уйти. Выйти на улицу.

Но быстро опомнилась. Решение было принято опрометчиво. Зачем же так разочаровывать студентов, да еще иностранцев. Нет, это несправедливо, прямо-таки попахивает маразмом. И уж совсем не по-одонийски. Ну и плевать на одонизм и его принципы! Зачем, собственно, она жизнь

положила во имя свободы? Чтобы под конец совсем ее не иметь? Она непременно пойдет и прогуляется!

«Что такое анархист? Тот, кто, выбирая, берет на себя ответственность за собственный выбор».

Уже спускаясь по лестнице, она остановилась, нахмурилась и решила остаться и все же принять этих студентов. А на прогулку пойти потом.

Они оказались очень юными и чересчур серьезными: кроткие оленьи глаза, лохматые головы — очаровательные ребятишки из Западного полушария, из Бенбили и Королевства Мэнд. Девочки в белых брючках, мальчики в длинных юбках, воинственные и страшно архаичные. Исполненные великих надежд.

— Мы в Мэнде так далеки от Революции, что, возможно, она совсем рядом, — сказала одна из девочек, улыбаясь. — Это же «Круг Жизни»! — И она показала, как сходятся в кольце противоположные концы, подняв тонкую темнокожую руку с длинными пальцами. Амаи и Аэви угостили студентов белым вином и ржаным хлебом — такова была традиция Дома. Однако эти чрезвычайно скромные гости уже через полчаса все разом поднялись и решили, что им пора.

— Нет, нет, нет, — уговаривала их Лайя, — не уходите, посидите еще, поговорите с Аэви и Амаи. А мне теперь трудно подолгу сидеть в одной позе, вы уж меня простите. Очень приятно было с вами познакомиться! Вы ведь придете еще, мои младшие братья и сестры? — Да, сердце ее стремилось к ним, а их сердца — она это чувствовала — к ее сердцу; и она, смеясь, расцеловала их по очереди; ей было приятно прикосновение этих смуглых юных лиц к ее лицу, взгляд влюбленных глаз, аромат надушенных волос. А потом она шаркающей походкой потащилась прочь. Она действительно немного устала, однако подняться к себе и немного вздремнуть сочла бы поражением. Она же хотела пойти прогуляться! Вот и пойдет. Она не была на улице одна — с каких же это пор?.. Интересно... С зимы! В последний раз — еще до инсульта. Ничего удивительного, что у нее такое мрачное настроение. Это же самое настоящее тюремное заключение! Не дома, а на улицах — вот где она всегда жила по-настоящему!

Лайя тихонько выбралась из Дома через боковую дверь и прошла мимо грядок с овощами на улицу. На узенькой полоске грязной городской земли был отлично возделанный

обитателями Дома огород, и они получали неплохой урожай фасоли и сои, однако Лайя не слишком интересовалась земледелием. Хотя, разумеется, понимала, что анархическим коммунам — даже в переходный период — следует стремиться к максимальному самообеспечению. А уж как добиться этого в реальной действительности, в смысле возни с землей и растениями — не ее дело. Для этого есть фермеры и агрономы. Ее работа — на улицах, на шумных вонючих, одетых камнем улицах, где она выросла, где прожила всю свою жизнь, за исключением тех пятнадцати лет, что прошли в тюрьмах.

Она с любовью посмотрела на фасад Дома. То, что это здание было построено под банк, вызывало у его теперешних обитателей странное чувство удовлетворения. Они хранили продовольствие в бронированных сейфах, которым не страшны даже бомбы, и выдерживали яблочное вино в подвалах, предназначенных для хранения драгоценностей и ценных бумаг. На причудливо украшенном колоннами фронте все еще можно было прочесть: «Банковская ассоциация государственных инвесторов». Одонийцы никогда не умели давать новые названия. И флага никакого у них не было. Лозунги тоже возникали и исчезали — в зависимости от потребностей. Всегда присутствовал, правда, символ Круга Жизни — его рисовали на стенах, на тротуарах, где представители властей непременно увидели бы его. Однако давать новые названия старому им было не интересно, они равнодушно принимали или отвергали любое, что ни предложи — боялись привязаться, попасть в клетку. А вот нелепыми быть не боялись. И этот, самый известный и один из самых старых кооперативных Домов одонийцев тоже нового имени не имел, а назывался по-старому: «Банк».

Он выходил на широкую и тихую улицу, однако буквально в квартале от него начиналась Темеда — открытый рынок, некогда знаменитый как центр подпольной торговли наркотиками. Теперь здесь торговали овощами да поношенной одеждой; в жалких балаганах шли представления. Жизненная сила, свойственная пороку, покинула рынок, оставив лишь полупарализованных алкоголиков, наркоманов, калек, мелочных торговцев да шлюх пятого сорта; остались, правда, ломбарды, притоны с картежниками, заведения предсказателей судьбы, массажистов и боди-скульпторов да дешевые гостиницы. Лайя решительно повернула

в сторону Темеды, точно ручеек, стремящийся к основному руслу реки.

Лайя никогда не боялась большого города, никогда не испытывала к нему отвращения. Это была ее стихия. Разумеется, если Революция победит, таких трущоб в городах не будет. Но ведь страдания-то человеческие останутся. Страдания, утраты, жестокость — это будет существовать всегда. Она никогда не претендовала на то, чтобы изменить человеческую природу, стать «мамочкой», пытающейся уберечь своих деток от трагедий, чтобы им не было больно. Нет уж, только не это! Пока люди свободны выбирать, пусть сами решают, пить ли им флибан, жить ли в канализационных трубах; это их личное дело. Пока их личными делами не заинтересуется Большой Бизнес, источник богатства и власти совсем для других людей. Это она поняла задолго до того, как написала свой первый памфлет, задолго до того, как уехала из Парео, задолго до того, как узнала, что такое «капитал», и оказалась куда дальше от дома, чем отсюда до Речной улицы, где она когда-то играла, ползая на исцарапанных коленках по тротуару вместе с другими шестилетками. Уже тогда она понимала, что и сама она, и другие дети, и их родители, и все пьяницы и шлюхи с Речной улицы — все, все они находятся на самом дне чего-то большого, у самого его основания, и, одновременно, сами являются этим основанием, фундаментом реального мира, источником жизни в нем. «Как? Неужели вы потащите цивилизацию туда, в грязь?» — крикливо вопрошали шокированные ее высказываниями приличные господа, и она долгие годы все пыталась объяснить им, что если у вас ничего нет, кроме грязи, то вы, будучи Богом, постарались бы сделать из нее людей, а став людьми, превратили бы ее в дома, где люди могли бы жить... Но никто из тех, что считали себя лучше этой «грязи», понять ее не желал. Что ж, ручей всегда стремится к основному руслу, грязь к грязи, вот и Лайя шаркала ногами по тротуару вонючей шумной улицы и, несмотря на всю свою безобразную старость и слабость, чувствовала себя как дома. Сонные шлюхи с покрытыми лаком бритыми головами, одноглазая торговка, визгливо предлагавшая овощи, полусумасшедшая нищенка, надеявшаяся перебить всех мух на улице — все они ее соотечественницы, все они так на нее похожи, все одинаково печальны, одинаково отвратительны, а порой и злобны... Жалкие, ужасные, все они ее сестры, ее народ!

Чувствовала она себя неважно и давно уже не ходила так далеко — она прошла уже четыре или пять кварталов совершенно одна по шумной улице, где ее постоянно толкали, где царил летний зной. Вообще-то ей хотелось попасть в парк Коли, на тот треугольник, покрытый пыльной травой, что расположен в конце Темеды, и посидеть там немного с другими стариками и старухами, поглядеть, на что это похоже: сидеть целыми днями в парке и чувствовать себя старой. Но до парка было слишком далеко. Если она немедленно не повернет назад, головокружение может стать настолько сильным, что она упадет — а упасть она очень боялась — и будет бессильно лежать посреди улицы и смотреть на тех, кто подошел посмотреть на упавшую старуху. Только второго удара ей и не хватало! Она повернула домой, хмурясь от усталости и отвращения к самой себе. Лицо пылало, уши то и дело закладывало, точно она ныряла на большую глубину. Потом шум в ушах настолько усилился, что она действительно испугалась и, увидев какой-то порожек в тени, осторожно присела на него и с облегчением вздохнула.

Рядом, у запыленной кривой тележки, молча сидел торговец фруктами. Люди шли мимо, никто у него не покупал. И на Лайю тоже никто не смотрел. Одо? А кто такая Одо? Ну как же, известная революционерка, автор «Коммуны», «Аналогии» и так далее... А действительно, кто она такая? Старуха с седыми волосами и красным лицом, сидящая на грязном крыльце какой-то лачуги и что-то бормочущая себе под нос.

Неужели это она? Конечно. Именно такой ее видят прохожие. Ну а сама-то она? Узнает ли она себя? Видит ли в себе ту знаменитую революционерку? Нет. Не видит. Но кто же она тогда?

Та, которая любила Тавири.

Да. Это, пожалуй, правда. Но не вся. Былое ушло; Тавири так давно умер.

«Кто же я?» — пробормотала Лайя, обращаясь к «невидимой аудитории», и аудитория, зная ответ, ответила ей единодушно: она — та маленькая девочка с исцарапанными коленками, что сидела когда-то жарким летним днем на крылечке и глядела на грязно-золотистую дымку, окутавшую Речную улицу; она сидела так и в шесть лет, и в шестнадцать, неистовая, упрямая, вся во власти своих мечтаний, недоступная недоτροга. Она старалась хранить верность себе

и действительно всегда умела без усталости работать и думать — но какой-то жалкий тромб, оторвавшись, унес ту женщину прочь. Умела она и любить, была пылкой любовницей, радовалась жизни — но Тавири, погибнув, взял с собой и ту женщину. И от нее ничего не осталось, совсем ничего, один фундамент, основа. Вот она и вернулась домой; оказывается, она никогда дома и не покидала. «Настоящее путешествие всегда включает в себя возвращение»... Пыль, грязь, жалкое крыльцо лачуги. А дальше, где кончается улица, — поле, и в нем высокая сухая трава, клонящаяся под ветром, когда спускается ночь.

— Лайя! Что ты здесь делаешь? Тебе нездоровится?

А, это, разумеется, кто-то из Дома. Милая женщина, только, пожалуй, чересчур фанатичная и разговорчивая. Лайя никак не могла вспомнить, как ее зовут, хотя они были давно знакомы. Она позволила женщине увести себя домой, и та всю дорогу не закрывала рта. В просторной прохладной гостиной (когда-то здесь размещались кассиры банка под охраной вооруженных полицейских) Лайя рухнула в кресло, не в силах даже представить, как сможет подняться по лестнице, хотя больше всего ей хотелось сейчас остаться в одиночестве. Та женщина все говорила и говорила, гостиная постепенно заполнялась людьми. Оказалось, обитатели Дома планируют провести демонстрацию. События в Тху развивались так быстро, что и здесь мятежные настроения вспыхнули, точно от искры. Необходимо было что-то предпринять. Послезавтра, нет, завтра, решено было устроить пеший марш от Старого Города до площади Капитолия — все по тому же старому маршруту.

— Еще одно Восстание Девятого Месяца! — воскликнул молодой человек с огненным взглядом и, смеясь, посмотрел на Лайю. Его еще и на свете не было во время Восстания Девятого Месяца — все это глубокое прошлое для таких, как он. И теперь ему самому хочется делать Историю. Хотя бы немного поучаствовать. Людей вокруг стало еще больше. Завтра, в восемь утра здесь состоится общее собрание.

— Ты обязательно должна выступить, Лайя!

— Завтра? О, завтра меня здесь уже не будет, — ответила она. Спросивший — кто бы это мог быть? — улыбнулся, а кто-то рядом с ним даже засмеялся. Хотя у Амаи вид был растерянный. Вокруг продолжали говорить, кричать... Революция, революция! Почему, черт возьми, она сказала,

что ее завтра не будет? Что за ерунду она несет в преддверии Революции? Даже если ее слова — правда...

Она выждала сколько нужно и постаралась незаметно ускользнуть, несмотря на всю свою теперешнюю неуклюжесть. Все были слишком возбуждены и заняты обсуждением грядущих дел, чтобы помешать ей. Она вышла в холл, к лестнице и стала медленно подниматься, отдыхая на каждой ступеньке. «Общий удар...» — услышала она чей-то голос, потом в гостиной заговорили сразу двое, трое, десять человек. «Ну да, общий удар», — пробормотала Лайя, отдыхая на площадке. Еще один пролет — и что ждет ее? Скорее всего частный удар. Даже смешно немного. Она посмотрела вверх, смирив взглядом ступеньки. Она двигалась с трудом, точно едва научившийся ходить ребенок. Голова ужасно кружилась, но упасть она больше не боялась. Там, впереди, вдали, в вечернем широком поле качаются и что-то шепчут сухие головки белых цветов. Семьдесят два года прожила, но так и не хватило времени узнать, как они называются.

Содержание

От издательства	5
Слово для «леса» и «мира» одно , повесть, <i>перевод с английского И. Гуровой</i>	7
Двенадцать румбов ветра , рассказы	
Апрель в Париже, <i>перевод Норы Галь</i>	127
Мастера, <i>перевод А. Думеш</i>	143
Шкатулка, в которой была Тьма, <i>перевод И. Тогоевой</i>	162
Освобождающее Закрытие, <i>перевод И. Тогоевой</i>	174
Правило имен, <i>перевод И. Тогоевой</i>	183
Вдогонку, <i>перевод И. Тогоевой</i>	196
Девять жизней, <i>перевод И. Можейко</i>	207
Одержавший победу, <i>перевод И. Тогоевой</i>	237
Вымышленное путешествие, <i>перевод И. Тогоевой</i>	250
Обширней и медлительней империй..., <i>перевод О. Васант</i>	258
Выше звезд, <i>перевод И. Тогоевой</i>	298
Поле зрения, <i>перевод С. Трофимова</i>	322
Направление пути, <i>перевод И. Тогоевой</i>	346
Уходящие из Омеласа, <i>перевод В. Старожилца</i>	354
За день до революции, <i>перевод И. Тогоевой</i>	364

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН
Собрание фантастических произведений

ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ ВЕТРА

Составитель *Д. Смушкович*
Ответственный за выпуск *Е. Чутов*
Технический редактор *К. Козаченко*
Корректоры *Ж. Голубева, Н. Дундина, И. Лаздина*
Операторы компьютерной верстки *Н. Амосова, М. Воробьева*
Оформление шмуцтитолов: *В. Ковалев*

ЛР № 065224 от 17.06.97.

Подписано в печать 1.12.97. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура Таймс. Печать высокая.

Усл. печ. л. 20,16. Тираж 8 000 экз. Заказ № 1801.

ООО издательство «Полярис»
101000, Москва, Главпочтамт а/я 900

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.





МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН



СЛОВО ДЛЯ «ЛЕСА» И «МИРА» ОДНО

На планете деревьев Атши, где слово «лес» означает «мир», пришельцы-земляне бездумно вырубают джунгли и безжалостно эксплуатируют безобидных аборигенов. Но когда сны омрачены смертью, на Атши приходит Селвер-бог, обучающий соплеменников убийству...

ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ ВЕТРА

Лучшие рассказы одной из самых поэтичных писательниц в современной научной фантастике, как румбы на картушке компаса, указывают направление дороги нам, уходящим из Омеласа.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1998



ДВЕНАДЦАТЬ РУМБОВ ВЕТРА

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН